

## Нора Георгиевна Адамян

### Трое под одной крышей

#### Елена Карповна

Гога в субботу дежурил до пяти часов. Это тяжело — дежурить в хирургическом отделении, если даже не случится срочной операции. Нервы все равно в напряжении. После такого дежурства необходим отдых. Но его жена Лиля с трех часов начала готовиться к очередному визиту в семью своей старшей сестры, которая жила на другом конце города.

Елена Карповна терпеливо наблюдала за тем, как она гладит Гогину полосатую рубашку, достает чистое белье и новые туфли.

«Лилечка, — хотела сказать Елена Карповна, — я так не готовилась, даже когда мне орден вручали».

Хотела — но смолчала. Как будто ничего не видела. Схитрила:

— Наверное, сегодня телевизор включать не будем. Гоге отдохнуть надо.

Лилия ответила твердо, как солдат:

— Мы едем к Тамаре. Вы можете смотреть любую передачу.

Не предложила поехать вместе. Хотя бы для приличия. Весь субботний вечер мать обречена провести одна в городской квартире, где ей не с кем и слова промолвить. А ее сын, усталый, измученный, должен ехать в метро, в автобусе, в троллейбусе и сидеть у чужих, вместо того чтобы уютно, спокойно, в собственном доме провести хороший вечер.

Елена Карповна знала, для чего это делается. Лилия всячески старается отдалить Гогу от матери и приблизить к своей семье. Напрасно Елена Карповна когда-то думала, что Лилия сирота и потому привяжется к ней, как к родной матери. Раз девушка не знала дочерней любви, ни к кому она не привяжется.

Многое могла бы сказать Елена Карповна, глядя, как готовится Лиля к предстоящей поездке, но на губах ее был замок. После того как Гога развелся с Надей, она дала себе слово не вмешиваться в его семейную жизнь. Не могла забыть, как после развода он сказал, когда приехал к ней в Заревшан:

— Ты довольна?

Это его первые слова после разлуки. В них не звучало упрека. Ему хотелось, чтобы хоть кто-нибудь был доволен.

А чем она могла быть довольна? Тем, что не удалась семейная жизнь ее единственного сына? Разве она этого хотела? Кто виноват, что он выбрал неумелую, ленивую, бесхозяйственную девушку, которая в день зарплаты покупала сразу два торта и потом выбрасывала несъеденные куски в мусоропровод. А к концу месяца, когда у нее не оставалось ни копейки, она варила черные сухари, поливала их подсолнечным маслом и уверяла, будто это французский суп.

Елена Карповна тогда приехала из Заревшана погостить. Ее ужаснула неустроенная жизнь сына, отсутствие чистого белья, беспорядок в двухкомнатной кооперативной квартире, за которую заплатила она из своих собственных сбережений. В то время у нее еще были силы выгрести грязь из углов, сделать большую стирку, приготовить обед. Молодые восприняли это как должное. Гога радовался.

— Видишь, маленькая! — кричал он жене. — Как хорошо жить с моей мамой.

Елена Карповна ответила ему, как и следовало:

— Не надейся, что мама будет у вас домработницей.

Надя сказала:

— Ну и напрасно вы так размахнулись. Я бы и сама в выходной убралась.

— Дом надо убирать каждый день.

— А я не могу каждый день. Я работаю.

— Как же я была главным педиатром округа и ребенка растила, а в доме у меня все блестело?

— Ну и для чего так надрываться? — передернула плечиками Надя. — Что в

этом хорошего? Так и жизнь пройдет, как Азорские острова. Я такую работу не люблю.

Елена Карповна усмехнулась:

— А что ты любишь?

— Я путешествовать мечтаю. Ездить, смотреть новые города и — еще лучше — чужие страны. Это мое главное хобби.

— Тогда тебе не за моего сына надо было замуж выходить. Он скромный хирург, у него оклад сто тридцать рублей.

— Ну и мало, — охотно согласилась Надя. — А моя зарплата и того меньше — восемьдесят пять. Конечно, не хватает. Я даже вещи в ломбард закладываю. Для Елены Карповны слово «ломбард» было олицетворением крайнего человеческого падения. Старые седые ростовщики, старухи-процентщицы и их затравленные нищетой убийцы вставали за этим словом.

— Как закладываешь? — спросила она с ужасом.

— Запросто, — сказала Надя. — Только очереди большие, долго ждать приходится. И дают, заразы, мало. К примеру, сколько стоит кольцо, что вы мне подарили? Оно же золотое и камень бирюзовый, ценный, а дали всего пятьдесят рублей.

Елена Карповна почувствовала перебой в сердце.

— Ты заложила кольцо?

— А что ему сделается? Вот Гога свои отпускные получит — выкупим.

Вечером Елена Карповна в присутствии Нади дала сыну пятьдесят рублей и велела немедленно взять из ломбарда кольцо.

— Я кольцо увезу в Заревшан, — сообщила она. — Только этого нам не доставало, чтобы артаровская семейная ценность по ломбардам валялась!

Надя вспыхнула:

— Вот интересное кино! Вы же мне его подарили. А раз подарили, могу делать с ним что хочу! Хоть в помойку выброшу!

Гога пытался вмешаться, но женщины не давали ему слова сказать.

— Драгоценности своей матери в помойку выбрось!

— У моей мамы нет драгоценностей. Она трудящийся человек.

— А я не трудящийся? Кто же я, по-твоему?

— Мама, мама, успокойся! — наконец прорвался Гога. — Надька, замолчи, ну прошу тебя...

— Нет, пусть твоя жена скажет, кто я, тридцать пять лет проработавшая в органах здравоохранения, заслуженный врач республики...

Надя отозвалась из другой комнаты:

— Мне говорили, что у вас тяжелый характер, но я раньше не верила...

— Никто тебе не мог это сказать.

— А вот говорили, говорили...

— Надька, замолчи сейчас же, — умолял Гога.

— Что ты мне в моем доме рот затыкаешь?

Елена Карповна подвела итог:

— В этом доме нитки твоей нет...

Вот чего не следовало говорить. Все остальное со временем загладилось бы. Но этих слов Надя свекрови не простила. Она ушла к своим родным, ночевать не вернулась.

Гога — молчаливый, сосредоточенный — бегал к ней по вечерам и каждое утро до работы. Он был не так воспитан, чтобы упрекнуть мать, но разве она не видела, как ее сын изводится? Все попытки поговорить о Наде Гога прерывал невнятной скороговоркой:

— Ничего, ничего, не волнуйся, образуется...

Дом был чистый, обед хороший. Елена Карповна напекла армянских печений, накрахмалила Гогины рубашки, погасила задолженность за квартиру, уплатила до конца года за телефон. Надеялась — молодой, забудет.

Но в один из вечеров Гога открыл дверь с радостным воплем:

— Мама, посмотри, кого я привел!

Елена Карповна не знала, как встретить невестку. Она не чувствовала ни капли теплоты, которая помогла бы ей обнять и поцеловать Надю — единственное, что нужно было сделать сейчас, потому что слова «милости просим» или

«добро пожаловать» были бы нелепыми и даже обидными.

— Ну что ж, — проговорила она через силу. — Это дело ваше.

Надя сидела за столом молчаливая и непреклонная.

— Надюха, знаешь, что это такое? Это кята, наше армянское печенье. Вкусно, да? Я в детстве мог сколько угодно съесть. Мама, ты объясни Наде, как кяту готовят. Надя способная, она замечательно пирожки с капустой жарит. Надюша, сделай пирожки, пусть мама попробует. Мама, посмотри, это платье Надя сама сшила! Правда, хорошо? Тебе нравится? Надька, встань, пройдишь, мама посмотрит!

Ему хотелось втянуть их в общий разговор. Он прямо разрывался, обращаясь то к одной, то к другой. Елена Карповна первая пошла на примиренье, потому что любила и жалела Гогу больше, чем его жена. Она похвалила ситцевое платье Нади, обшитое простыми прошвами, какими в дни ее молодости отделявали только дешевое грубое белье. Она обещала научить Надю готовить кяту и молочную кашу с корицей. Ради сына она готова была подавить свое самолюбие.

— Нет уж, спасибо, — сказала Надя, — мне все это ни к чему. А то научите, а потом попрекать будете. Я вас теперь раскусила.

Свекровь поняла, что ей надо уезжать в Заревшан, где она прожила сорок лет, где все ее знают и уважают. Пусть в заревшанской квартире нет ни газа, ни водопровода, но зато каждый проходящий по улице здоровается с ней низким поклоном. Соседка натаскает ей воды, лесничий, у которого она лечила детей, привезет ей на зиму дров, а дурачок, которого она спасла в детстве от менингита, будет каждое утро топить ей печку.

Бирюзовое кольцо она увезла с собой. И правильно сделала, что увезла. Не прошло и шести месяцев, как Гога написал ей, что они с Надей разводятся. Надя требует раздела имущества, и если ей не дать денег на однокомнатную кооперативную, то ему придется жить в коммунальной. Известие о разводе Елену Карповну не огорчило. Но она не могла себе представить, что квартиру, которая целиком оплачена ее деньгами, приходится теперь делить с Надей.

Она пошла к лучшему юристу Заревшана, который в детстве был золотушным, болезненным ребенком, а сейчас имел уже свою семью, машину и растолстел сверх всякой нормы. Юрист, конечно, сердцем и душой был на стороне Гоги, с которым учился в одной школе, но подтвердил, что в данном случае разведенная жена имеет по закону все права на половину жилплощади.

Тогда Елена Карповна сняла последние деньги со своей сберкнижки и послала их Гоге с письменным напутствием: «Заткни глотку этой змее, мой мальчик. Обо мне не беспокойся. Я имею такую пенсию, при которой могу даже откладывать».

Еще через год Гога приехал за матерью и увез ее в Москву — уже навсегда. Елена Карповна тяжело расставалась с Заревшаном. Своим друзьям она говорила:

— Мальчику трудно одному. Все-таки будет материнский глаз. Он теперь правая рука профессора, по три операции в день делает. За ним уход нужен.

Насчет возможной Гогиной женитьбы высказывалась осторожно:

— Обжегся мой сын. Очень обжегся. Трудно ему теперь будет. Конечно, молодой, перспективный, женщины на нем виснут. Вы знаете, у меня никаких предрассудков нет. Сколько детей я лечила, для меня роли не играло — армянин, русский, азербайджанец. За всех моя душа болела. Но одно скажу — москвички редко бывают хорошими женами. Здесь, в Заревшане, я бы ему чудную жену подыскала — скромную, хозяйственную, с образованием...

Провожали Елену Карповну торжественно. В Доме санпросвещения устроили банкет, на котором присутствовал весь облздрав и представители райисполкома. Говорили много восхваляющих Елену Карповну красивых слов. Плакали — кто искренно, кто за компанию. Но ведь она почти всех их помнила детьми, покрытыми сыпью от кори и скарлатины, с опухшими железами, с хрипами в бронхах. Она выхаживала их самих, потом их детей. И сейчас, взрослые, здоровые, они были оправданием ее жизни.

Главный врач заревшанской больницы прочел стихи собственного сочинения:

Вы охраняли нас с пеленок  
Зимой и летом, в стужу, в зной.  
Был каждый страждущий ребенок  
Для Вас бесценным, как родной.  
Вы Ваше звание высоко  
Сумели в жизни пронести.  
Пошел Ваш сын, любимый Гога,  
По материнскому пути.  
И вот шагают по планете  
Излеченные Вами дети —  
Бойцы, работники, творцы,  
Их матери и их отцы.  
Храните гордое призванье,  
Пишите чаще из Москвы!  
Мы горько плачем в день прощанья,  
Но неразлучны с нами Вы!

Из всех известных Елене Карповне стихов эти были самые лучшие! Она спрятала бумажку с текстом, украшенным виньетками, на дно чемодана, в папку с документами, почетными грамотами и другими бумагами, отражающими ее кристально чистую трудовую жизнь.

В поезде она сказала сыну:

— Теперь тебе надо быть очень осторожным. На меня больше не рассчитывай.

У меня на сберегательной книжке уже совсем ничего не осталось.

Гога промолчал.

## Лиля

Лиля видела, что Елена Карповна недовольна, и понимала причину раздражения. Но все равно к Тамаре они пойдут, а Елену Карповну туда

тащить нет никакого смысла. На метро ее не повезешь, такси на Ташкентскую в один конец стоит пять рублей да обратно столько же. Выкинуть десятку для того, чтобы испортить вечер, — какой смысл? Тамара сочтет своим долгом занимать Елену Карповну, общей темы для разговора у них нет. Тамара — закройщица в ателье, в модах и тряпках Елена Карповна не понимает ничего, ни та, ни другая за литературой не следят, в театры не ходят, общих знакомых нет. Даже о телевизоре беседа не получится. Обе быстро сойдутся на том, что по всем каналам одни разговоры, а фильмов мало. Если Вася — муж Тамары — и Гога сядут за шахматы, Елена Карповна еще раз выскажется против двух увлечений века — шахмат и футбола. В одном случае умные мужчины тратят драгоценное время и серое мозговое вещество на то, чтобы часами передвигать по доске деревянные чурки, в другом — здоровые молодые ребята гоняют ногами мяч и часто при этом наносят друг другу травмы, вместо того чтобы... И тут следовал длинный перечень того, чем они могли бы заняться на пользу общества.

За столом Елена Карповна откажется от Тамариных печений, нанеся хозяйке обиду, а в восемь вечера начнет поглядывать на часы, поясняя при этом:

— Мне лично все равно, я теперь пенсионерка. Но Гога очень рано встает. Утомляется. Ему лучше сегодня пораньше лечь.

Нет уж! Пусть мужчины спокойно поиграют в шахматы, посмотрят футбол, а Лиля поговорит со старшей сестрой о своей семейной жизни, которая идет совсем не так гладко, как мечталось.

А ведь год назад Тамара ее предупреждала. По неисповедимым родственным каналам, которые есть в каждой армянской семье, до сведения Тамары дошло, что заревшанский доктор Елена Карповна женщина властная, сухая, довела до могилы мужа, развела сына с женой и не хочет, чтобы он снова женился.

— Всему верить, безусловно, нельзя, — сказала Тамара. — Когда муж любит жену, его не разведешь. Попробуй развести, нас с Васей! Но, видимо, характер у нее еще тот. Так что, считаю, подумать надо.

— Я не за нее замуж выхожу, — Лиля поняла, что настала минута сказать

сестре правду. — Да и поздно уже мне раздумывать.

— Вай ме! — вырвалось у многолетней москвички народное горестное восклицание. — Неужели так далеко у вас зашло?

— Мне тридцать два года. Чего ждать? Чего бояться?

— Почему же вы не регистрируетесь?

— Заявление мы уже подали. Гога поехал за матерью. Не хочет сразу ставить ее перед фактом. Он уверен, что, когда мы познакомимся, она не будет против. Во-первых, я армянка. Это не мало для Елены Карповны. Во-вторых, я тоже врач. Она педиатр, я акушер, у нас много общего. В-третьих, я не плохая хозяйка. У тебя училась.

— Черт с ней совсем! — сказала Тамара. — Поговорим о нем.

— Что о нем говорить? Я его люблю.

Это было главное. Но Лиля иногда хотела, чтобы любовь закрывала ей глаза на Гогины недостатки. Она их видела, понимая, что они вытекают из его достоинств.

Ее не сердило, когда он брался за любую операцию, соглашался на невыгодные дежурства, ездил за тридевять земель на консультации. Но когда она видела, как он, отстранив санитарку, тащит из палаты в палату послеоперационную кровать, сам везет в кресле на рентген тучного старика или, вскочив на подоконник, перевешивает штору, чтобы больному солнце не било в глаза, — она возмущалась.

— Пойми, меня не вопросы престижа беспокоят, но ведь ты хирург! Хоть бы с этой точки зрения, прошу тебя, не лезь не в свое дело. А если у тебя от тяжести рука задрожит? А если ты молотком по пальцу тяпнешь?

Он оправдывался:

— У нас санитарки слабенькие, им не осилить.

— Может быть, ты за них полы вымоешь?

— Лапушка, ты права, не сердись...

— Мне противно на это смотреть! Ты делаешь перевязку, а сестра стоит сложа руки. Я больше не буду к тебе в корпус приходить!

Но он звонил:

— Лиля, появись! Тут наш соотечественник оперировался, так его родные лаваш притащили, армянский сыр, зелень. Вся ординаторская пирует!

Вообще-то Лиля знала, что с Гогой ей редкостно повезло.

На первых порах ее обидело рвение, с которым он, перед отъездом к матери, уничтожал все следы пребывания женщины в своей квартире.

— Ты должна понять, — оправдывался он, — мама травмирована моей первой неудачной женитьбой, ее надо подготовить...

Он расплескал кофейную гущу по раковине.

— А это для чего?

— Если будет слишком чисто, мама поймет, что тут хозяйничала женщина...

Лиля долго молчала.

— Говорят, что хорошие сыновья бывают плохими мужьями.

— Я не слишком хороший сын. Я часто ее огорчал.

— Нет, этого мы делать не будем, — сказала Лиля, — мы не будем ее огорчать.

Нелегко давалось счастье. Нелегко было прийти к будущей свекрови под видом случайной гостьи. Прийти будто бы впервые в квартиру, которую Лиля давно уже считала своим домом.

Гога представлял ее очень многословно:

— Мама, вот это Лиля Мадатова, между прочим, врач-акушер, работает в нашей больнице. Очень серьезный, положительный товарищ. У нее даже есть печатные труды.

— Хватит, хватит! — как можно естественнее рассмеялась Лиля, протягивая невысокой седой женщине три розы и коробку конфет.

По многочисленным фотографиям Лиля имела представление о Гогиной матери, но ее удивили длинные пушистые ресницы и молодые, живые глаза Елены Карповны.

— За цветы спасибо. Гога, принеси синюю вазу.

Она не обрезала колючек и листьев, не расщепила стеблей, не бросила в воду щепотки сахара. Завтра же розы увянут. Но ничего не поделаешь. Бестактно

лезть к хозяйке дома со своими советами в первую же минуту знакомства.

— Это что за новый обычай у вас в Москве? Кто ни приходит, обязательно что-нибудь приносит. Гогин товарищ торт принес. К чему? Мы раньше только в дни рождения или на новоселье подношения делали. А сейчас, оказывается, куда ни пойдешь, надо свои дары нести.

— Хочется сделать друзьям приятное, — сказала Лиля.

— Но это обязывает! Нет, мне больше нравится, когда хозяйка дома угощает гостей тем, что у нее есть. Хлеб с сыром так хлеб с сыром, пирожное так пирожное. А нынче приходят со своим угощением. Мы только в войну ходили в гости со своим хлебом, так это потому, что его тогда по карточкам давали.

Гога обнял мать за плечи:

— Э-э, мамочка, ты еще времена Навуходносора вспомни!

— Для тебя, милый, это история, а для меня вчерашний день. Вы давно в Москве живете? — обратилась она к Лиле. — Значит, учились здесь? А сестра у вас одна?

— Нет, нас много. Брат артист, работает в Тбилиси, младшая сестра преподает математику в Ленинграде, племянники учатся в Ереване.

— У меня в Заревшане были пациенты — тоже Мадатовы. До пяти лет у всех эксудативный диатез. Нездоровая кровь.

Лилия промолчала.

После чая она вызвалась перемыть посуду, но Елена Карповна не разрешила:

— В моем доме это не принято.

Гога за спиной матери сделал жалобную гримасу. Лилия ему улыбнулась. На секунду в голове промелькнуло: «Еще посмотрим, что у кого будет принято!» Мысль, конечно, недостойная. Старая женщина была побеждена, еще не зная этого.

Гога пошел проводить гостью до метро. Он натягивал в передней свою курточку, а Елена Карповна, стоя в дверях, нервно сжимала и разжимала края теплого платка.

— По-моему, Лилия не обидится, если ты не пойдешь ее провожать. Она

человек самостоятельный, а ты простужен, целый вечер чихал...

— Мамочка, мамочка, все в порядке, — бессмысленной скороговоркой отбивался Гога.

В лифте он прижал Лилю к себе.

— Надо что-то придумать. Я безумно по тебе соскучился. Готов был сегодня брякнуть все начистоту.

«Это хорошо, — подумала Лиля, — пусть он торопит события».

— Ни в коем случае! — сказала она. — Разве ты не видел, как она сегодня нервничала? Пусть потихонечку привыкает ко мне.

— Ты знаешь, она ведь прекрасный человек. Добрая, отзывчивая. В Заревшане ее просто обожают.

— Для чего ты это говоришь?

— Мне показалось, что ты сегодня немного обиделась. Но ведь она тебя еще совсем не знает.

— Я нисколько на нее не обиделась. Я всегда помню, что она твоя мать.

— Ох, Лилька, золото мое! — Он поцеловал ее прямо на улице, не обращая внимания на проходящих мимо людей.

Через три дня Елена Карповна заболела.

— Обыкновенная простуда, — сообщил по телефону Гога. — Белье на балконе развешивала. Но я сегодня, как на грех, не могу остаться дома.

— Я приду, — пообещала Лиля, — у меня ночное дежурство. А еда в доме есть?

— Не очень. Овощи есть, рис, масло.

— Понятно. Кое-что надо будет прихватить.

— Но учти, просто так мама ничего не примет. А тратиться на захочет. У нее сейчас мания, что мы на грани банкротства.

— Учту, — сказала Лиля.

Она купила в кулинарии половину солидной курицы, возведенной в звание цыпленка табака, постояла в очереди за апельсинами, взяла также несколько лимонов и килограмм яблок.

По дороге она скалькулировала: курица пойдет за рубль, апельсины никто не станет перевешивать, скажу — кило вместо полутора, яблоки и лимоны вместе — рубль. Словом, на четыре рубля. Вполне доступно.

Гогина мать встретила ее приветливо, но настороженно:

— Напрасно вы побеспокоились. С какой стати... У меня уже все прошло...

Глаза у нее слезились, нос покраснел и распух.

— Вы явно еще больны. Вам надо больше фруктов и все время пить чай с лимоном. Жидкости как можно больше.

— Что еще вы мне предпишете? — снисходительно усмехнулась Елена Карповна.

Лиля выложила продукты на стол. Елена Карповна внимательно осматривала каждую покупку.

— В Москве фрукты очень дорогие. Я сейчас не могу себе этого позволить.

— Ну почему же?

— По некоторым обстоятельствам.

— Елена Карповна, ваш сын, кроме зарплаты, получает еще за дежурства, за консультации плюс ваша пенсия. Хватит вам на фрукты.

— Я вижу, вы очень хорошо осведомлены о состоянии наших материальных дел.

«Ничего, ничего, я не обидчивая», — подумала Лиля.

— А как же? Мы с Гогой на одном положении, а пенсия у вас известная.

— Но у меня больше нет сбережений. Я один раз заплатила за эту квартиру, потом еще раз заплатила этой дряни, его бывшей жене. Отдала все, что отложила за свою трудовую жизнь. Теперь у меня ничего нет. В третий раз заплатить не смогу. А у вас есть в Москве квартира? — вдруг спросила Елена Карповна.

— У меня своя комната в квартире сестры. Мы жили отдельно, потом съехались.

— Неосторожно сделали. Теперь, если выйдете замуж и разведетесь, муж отберет комнату. Мой бедный сын на этом пострадал.

— Ну, не всегда же так нехорошо получается. Что вам на обед сварить — чихиртму или бульон?

— Обед я сама приготовлю, — строптиво сказала Елена Карповна. — Для чихиртмы, между прочим, киндза необходима, а где ее в Москве возьмешь?

— Киндзу сейчас на всех рынках продают. Я на всякий случай из дома захватила. Поставим курицу на плиту, пусть пока варится, а вы все-таки ложитесь.

Квартира была уже порядком запущена, но Лиля не стала проявлять хозяйственное рвение. Она принесла Елене Карповне в постель чай с лимоном.

— Сколько же я вам должна?

— Мы с Гогой сосчитаемся.

— Хозяйство веду я. Гога тут ни при чем.

— Пожалуйста. Курица — рубль, апельсины — рубль сорок, лимоны и яблоки — еще рубль. Всего — три сорок. — На всякий случай Лилия еще немного уменьшила счет.

— А киндза?

— Это такая чепуха, даже стыдно об этом говорить, Елена Карповна.

— Что значит стыдно? Благодарений мне не нужно! У нас в Заревшане на десять копеек дают огромный букет киндзы, а здесь три жалкие веточки. В один суп не хватит положить...

Сразу после чая у Елены Карповны поднялась температура, и она задремала на тахте, укрытая ярким пледом, который Лилия подарила Гогое ко дню его рождения.

Лилия перемыла грязную посуду, подтерла на кухне пол. Презрев запрет Елены Карповны, она поджарила лук, нарезала зелень. Для чихиртмы осталось только развести желток с лимонным соком. Лилия открыла холодильник, уложила фрукты и достала яйцо. В холодильнике стоял затхлый запах от пачки прокисшего творога. Выбросив творог в мусоропровод, Лилия взяла тряпку и на цыпочках прошла в Гогину комнату, чтобы вытереть там пыль и вообще навести порядок.

— Вы куда? — остановил ее у самой двери строгий голос Елены Карповны.

— Приберу немного, — покорно ответила Лиля.

— Ни в коем случае! Гога не разрешает посторонним входить в свою комнату!

Лилю утомила эта затянувшаяся игра. Но она знала, что Гога устал еще больше и ждет только выздоровления матери.

Суп удостоился похвалы.

— Да, чихиртму вы готовить умеете.

— Это у меня в генах, — улыбнулась Лиля.

Чувство юмора не было сильной стороной Елены Карповны.

— Теперь чуть что — гены, гены, — ворчливо сказала она, — все на гены сваливают. Среда — вот что главное.

В моей практике был русский ребенок, выросший в азербайджанской семье.

Так он до сих пор органически не переносит ни кусочка свинины.

Температура у нее еще повысилась.

— Не надо было мне есть жирную чихиртму.

В этих словах прозвучал как бы упрек Лиле.

— Вот Гога смеется над банками, а в Заревшане мне бы сейчас медсестра банки поставила, и сразу бы полегчало...

— Я могу, — сказала Лиля, — да ведь нет банок.

— Банки у меня есть, но я не хочу вас затруднять...

— Давайте, давайте...

Кряхтя и постанывая, Елена Карповна пошарила в тумбочке и вытащила коробку из-под обуви, стянутую резинкой.

— А вы меня не обожжете? — с беспокойством, но будто бы шутя спросила она, глядя, как Лиля наматывает вату на карандаш.

Потом, умиротворенная, довольная, вдруг сказала:

— Я бы вас поцеловала, да боюсь заразить...

— К врачам зараза не пристает.

Лиля наклонилась, поцеловала мягкую щеку и близко увидела удлинённые, в густых пушистых ресницах, глаза.

У Гоги были такие же прекрасные длинные ресницы. Прощаясь, Лиля предупредила:

— Творог в холодильнике совершенно прокис. Я его выбросила.

Елена Карповна приподнялась на локте. Прежнего радушия как не бывало.

— А по какому праву вы лазили в мой холодильник?

Единственно, что позволила себе Лиля, — это громко хлопнуть входной дверью.

Дня через два Гога сообщил, что Елене Карповне уже все известно.

Он был не слишком веселый. Лиля поняла, что объяснение с матерью далось ему трудно, и о подробностях не расспрашивала. Она купила бутылку шампанского, испекла «наполеон». После работы вместе с Гогой поехала на метро до станции «Речной вокзал».

— Гога, это ты? — окликнула Елена Карповна из своей комнаты слабым голосом.

— Это мы! — отозвался Гога и подтолкнул Лилю вперед. — Вот мамочка, моя жена, прошу ее любить.

Он волновался.

— От меня, конечно, ничего не зависит, — горько вздохнула Елена Карповна.

— Конечно, раз уж вы решили — живите. Я желаю вам счастья. А любить... Сперва одну, потом другую, потом, может быть, третью... У меня не такое любвеобильное сердце...

— Ты ничего более подходящего не нашла нам сказать? — вдруг рассердился Гога.

Лиля испугалась, что первое же ее появление в доме в качестве члена семьи начнется с ссоры. Она быстренько отстранила Гогу от матери.

— Иди разденься, Елена Карповна совершенно права. Вот мы с ней поживем, узнаем друг друга и станем родными. Это не сразу делается.

Свадьбу решено было не устраивать.

В выходной Лиля затеяла большую уборку. Елена Карповна, сидя на своей тахте, беззвучно плакала, на вопросы не отвечала, но, когда в комнату вошел

Гога, выкрикнула сквозь слезы:

— Это она нарочно делает! Хочет доказать, что у меня грязь, что я ничего не умею, что запустила квартиру...

Лиля пошла на кухню и бессильно опустилась на стул. Ей расхотелось убирать в шкафах, перемывать кафель, натирать полы. Работа, к которой она готовилась с удовольствием и которой предавалась с азартом, стала безрадостной.

Гога в чем-то убеждал мать. Лиля слышала его монотонный голос: «Бу-бу-бу...»

Он пришел в кухню.

— Не придавай значения. У нее нервы.

— Конечно! — вдруг вырвалось у Лили. — Надя не убирала — плохо, я убираю — плохо. Как ей угодить?

Но тут она увидела растерянное, несчастное лицо Гоги, поняла, что ему хуже всех и мучить его нельзя.

С тряпкой в руке она пошла к Елене Карповне.

— Мне жаль, что я с вами вчера не посоветовалась, — говорить она старалась очень спокойно. — Всю неделю у меня не будет ни минуты свободной. У нас идут занятия с выпускниками-акушерами. Я решила убрать квартиру заранее, на всю неделю. Еще я хотела вас попросить обед приготовить.

Елена Карповна предалась самоуничижению:

— Где уж мне... Разве я сумею...

Лиля будто и не слышала.

— Баранина есть, овощи есть. Вы лучше меня знаете, что Гога любит. А картошку, если надо, я почищу.

«Все можно, — думала она, орудуя пылесосом. — Все можно, только где взять терпение и выдержку...»

К вечеру квартира была чистая, полы сияли, муж сидел за столом веселый, свекровь спокойная, и Лиле было хорошо.

Но такие дни выпадали не часто. Никогда нельзя было знать, на что может

обидеться Елена Карповна.

По пятницам Лиля помогала ей купаться. «Помогала» — это так называлось из деликатности. На самом деле Лиля усаживала ее на табуретку и мыла с головы до ног, после чего волосы Елены Карповны блестели точно снежная шапочка.

В последний раз она согласилась мыться после долгих уговоров. В разгар купанья скорбно спросила:

— Сколько вы мне будете давать из моей пенсии на личные расходы?

Лиля совершенно растерялась, не знала, что сказать, но ответа Елена Карповна и не ждала.

— Я должна иметь какую-то сумму в своем распоряжении. Мало ли что может понадобиться. Например, нанять женщину, чтобы раз в неделю приходила меня купать.

— Разве мы с вами плохо справляемся?

— Я не имею права злоупотреблять вашим временем, — гордо отозвалась Елена Карповна. — Вы — занятые люди, а я отжившее существо.

Лиля вспомнила, что Гога звал ее в кино, а она ответила: «Времени не будет. Мне еще надо маму выкупать».

Приходилось следить за каждым своим словом.

Готовясь поехать к Тамаре, Лиля все время чувствовала волну недоброжелательности, исходящую от свекрови. Лучше всего объяснить впрямую.

— Тамара собирается кроить мне летнее платье, так что вам было бы скучно...

— Напрасно вы думаете, будто я стремлюсь поехать с вами. Как-нибудь просижу дома одна.

— А разве иногда не хочется остаться одной? — неосторожно спросила Лиля.

— Я всегда одна! — горько и страстно заговорила Елена Карповна. — Гогин отец всю жизнь оставлял меня одну. Я привыкла к одиночеству. Он играл в карты и изменял мне с кем попало. С женщинами, которые пальца моего не стоили. На вторую ночь после нашей свадьбы он до утра кутил с товарищами

в ресторане. Только перед смертью он покаялся и сказал: «Я виноват перед тобой, прости и спаси меня, ты все можешь!» Да, я многое могла, я всегда являлась ценным членом общества. Но дома я была одинока.

Что можно было ответить на эту горестную речь? Лиля обрадовалась тому, что в эту минуту зазвонил телефон. Ее вызывали из больницы.

— В чем дело? — спросила она, услышав в телефонной трубке голос Гоги. — Неправда. Я же слышу, что не все в порядке. Ты чем-то расстроен? Ну хорошо, сейчас не надо. Дома расскажешь. Только постарайся не задерживаться. Тамара уже звонила. Что мы делаем? Сидим, беседуем. Да, да, у нас все хорошо. Ждем тебя.

Мать смотрела на Лилю встревоженно.

— Огорчен чем-то наш Гога, — сказала Лиля. — Наверное, какому-нибудь больному хуже, Я тоже вчера чуть не плакала. Двойня была — и ни туда ни сюда. Кесарево пришлось делать. Только тогда поняли — один вклинился подбородком между плечом и горлом другого, так сразу двумя головами и шли. Мальчики крупные, хорошие. Одного спасли, другой погиб. Мать очнулась, я ей показываю ребенка, а она кричит: «Где второй?» Она слышала, что мы говорили о двоих. Ну и родовой психоз. Подай ей второго, и все! Невропатолога вызывали, психиатра...

— Вам легко. Вы можете кого угодно на подмогу вызвать. У вас и лаборатория, и сыворотки всякие — все под руками. А я одна за все отвечала. При необходимости даже операции приходилось делать. Чужих спасала, а своего ребенка потеряла. Поехала на бричке беременная в горное село, там было подозрение на скарлатину. Оказалась ветрянка. А у меня от тряски преждевременные роды. Если бы не этот случай, имела бы я теперь взрослую дочь. Разве такая у меня была бы жизнь?

— Елена Карповна! — не выдержала Лиля. — Ну чем вам сейчас плохо?

— Ах, что говорить! Вы дочерью не были и матерью не были. Значит, понять не можете.

## Гога

Он любил свое голубое полотняное одеяние — свободные брюки, куртку с круглым вырезом вокруг шеи и шапочку. В этих костюмах хирурги были похожи на инопланетян или граждан грядущих веков, какими их изображают рисунки в научно-фантастических романах.

Очень шла эта спецовка заведующему отделением профессору Вадиму Ивановичу Смирнову. Его ярко-голубые глаза красиво перекликались с цветом ткани. Сухощавый Сигизмунд Янович в голубом превращался в бесплотную тень, а про черноглазого черноволосого Гогу старшая хирургическая сестра умиленно говорила:

— Христос, ну настоящий молодой Христос...

— Христос, когда умер, был на четыре года моложе, чем я сейчас, — отшучивался Гога.

Но ему нравилось, когда, пробегая по утрам мимо своих палат, он слышал радостные возгласы женщин:

— Наш Георгий Степанович мчится...

— Словно солнышко красное...

Чей-то голос певуче выводил:

— Он пришел, наш ненаглядный...

А те, которых Георгий Степанович должен был в этот день оперировать, встречали его, как правило, в коридоре, делая вид, будто они спокойно здесь прогуливаются. Глаза у них были испуганные, лица помятые бессонницей, но все бодрились. И он делал вид, что не замечает дрожащих рук и просительно-тоскливых взглядов.

— Как спали? Ну и отлично! Сейчас обойду палаты — и приступим. Все подготовлены? Ирина Сергеевна, вы у нас первая.

— Георгий Степанович, а нельзя еще подождать? Вдруг он сам выскочит...

— Вот тебе раз! Не вы ли меня просили: «Скорей, скорей, сил нет больше терпеть!..» Этот камень не выйдет, Ирина Сергеевна! Только измучитесь да,

чего доброго, и почку потеряете. А так — через десять — двенадцать дней дома будете.

— Все ж таки под нож иду, — всхлипывала женщина.

— Успокойтесь! До истерики себя доведете — оперировать не смогу. Да и какой нож? Так, маленький скальпель...

Женщина согласно кивала головой:

— Ничего, ничего, я уже успокоилась...

— По палатам, по палатам! Все уже переговорено. В нужное время за вами приедут. И не волнуйтесь, все будет отлично.

Больные разбрелись по палатам, раздираемые тревогой, а ему хорошо было известно, что будет дальше. Их привезут из операционной глухо стонущими, одурманенными наркозом. На другой же день, преодолевая их сопротивление, он заставит их подняться на ноги, на третий они встанут сами, а там зашагают к перевязочной, придерживая руками шов на животе, и будут спрашивать, когда их выпишут...

Конечно, бывало всякое. Есть и такая непредвиденная пакость, как тромб, от которого у него в прошлом месяце на двенадцатый день после вполне благополучной и несложной операции умер молодой парень. Реаниматоры не успели даже к койке подойти.

Никакой вины за Георгием Степановичем не было, но объяснить родным причину смерти пришлось ему. А у покойного были мать и молодая жена.

Но оперировать он любил. В самом начале работы он с некоторым трепетом делал первый надрез по человеческому телу. Профессор Смирнов, все видящий и все понимающий, сказал ему:

— Ты можешь стать хорошим хирургом, если преодолеешь страх перед скальпелем.

И посоветовал:

— Всегда помни одно — тебе надо добраться до камня, до опухоли, до повреждения. Иди к главному.

Теперь Вадим Иванович говорил:

— Ювелирную работу лучше всех сделает Сигизмунд, а там, где нужны смелость и находчивость, — Гога.

А в общем, у каждого из хирургов были свои палаты и все они делали и обычные, и сложные, и ювелирные операции, а в наиболее тяжелых случаях профессор вставал к столу сам. Тогда его ученики не прочь были возроптать на старика, который при своей стенокардии и тромбофлебите забирает себе все самое интересное.

Лиля смеялась:

— Есть две ненасытные профессии — хирурги и артисты. Мой брат жаждет играть все роли, от Ромео до короля Лира. А каждый из вас хочет делать все операции.

— А ты?

— А я охотно отдам случай с поперечным положением плода любому опытному акушеру.

Но это были только слова. И Гога видел ее в работе — сосредоточенную и уверенную. Именно это качество — уверенность — казалось ему наиболее важным для того, кто избрал своей специальностью медицину.

Повезло ему с Лилей. Он познакомился с ней, когда его, как уролога, вызвали в гинекологическое отделение. Случай был тяжелый, и ему пришлось бегать в гинекологию каждый день, но больную они вытащили и даже ребенка сохранили. Тогда он заметил, что Лилю в отделении побаивались — и персонал, и больные. Но когда он сказал ей об этом, Лиля обиделась:

— Что я, зверь, что ли...

— Ты суровый ангел. Но почему ты так мало улыбаешься? Женщины проделывают такую трудную работу — рожают, а ты их не поощряешь.

— Они и без моего поощрения проделывают это по несколько раз.

Он не сдавался:

— Но улыбка и веселое слово помогают людям!

— Знаешь. Гога, я не такая, как ты. Мне надо сделать над собой усилие, чтобы улыбнуться. Говорят, это потому, что я росла без матери...

Она была сдержанная, необщительная. И совсем не тот тип женщин, который ему нравился. Надя — хрупкий, белокурый мотылек — вполне подходила к идеалу, а Лиля — плотная, смуглая, с армянскими смуглыми глазами — нравилась неизвестно почему.

Когда он впервые позвал ее к себе домой, она согласилась легко и удивила его тем, что без сопротивления пошла навстречу его домогательствам.

Потом он был удивлен еще больше — почти до испуга.

— Почему ты мне ничего не сказала?

— Это несовременно и смешно, не правда ли?

— Ну, прости... я же не знал...

— Какими словами я должна была тебя предупредить? Будь спокоен, на тебе нет никаких обязательств. Мне больше тридцати лет.

— Лилия, ты говоришь со мной, как с врагом!

Она заплакала. И тогда Гога понял, что ее боль — это его боль. И так будет всегда.

Суббота — день не операционный, если только «скорая» не доставит какой-нибудь сюрприз. Насчет ситуации в своем доме он спокоен. Там, скорее всего, течет мирная жизнь. Лилия ему сказала:

— Раз навсегда — не беспокойся. Я не поставлю тебя в положение зерна между двумя жерновами.

Так что настроение бодрое, и можно заняться обходом.

Все-таки одно дело, отложенное на сегодня, напоминает о себе как тяжкий долг.

Еще в четверг, после профессорского обхода палат, Вадим Иванович спросил:

— Что это у тебя Буликова третью неделю лежит? Это же совершенно бессмысленно.

Гога и сам знал, что бессмысленно. Зою Буликову надо было выписать еще на прошлой неделе. Все анализы произведены, снимок сделан, посев ничего не дал, и, лежа в больнице, она только теряла то небольшое время, которое еще

отпущено ей для нормальной жизни.

Он не мог приучить себя в первую очередь преодолевать самое тяжелое. Поэтому начал обход с более благополучных мужских палат.

Громадный красавец болгарин позавчера, в припадке послеоперационного шока, буйствовал так, что ему пришлось заново накладывать швы. Теперь он лежал тихий и грустно моргал сливовыми глазами. Георгий Степанович, осмотрев его, погрозил ему пальцем, хотя бедный болгарин ни в чем не был виноват. Он и попытался это доказать, мешая русские и болгарские слова, но Гога засмеялся и похлопал болгарина по богатырскому плечу.

Затем Гога обошел все койки и выслушал все многословные жалобы и однообразные просьбы, сводящиеся к двум вариантам: «Нельзя ли обойтись без операции?» и «Когда же наконец вы меня прооперируете?» Только один старик, желтый и бестелесный, молча проводил его всезнающим, уже потусторонним взглядом.

У дверей женской палаты прохаживалась Рая Артанова. Четыре дня назад ее доставила «скорая» с диагнозом «пиелонефрит». Со второй половины дня Раю сотрясал озноб, к вечеру температура поднималась до сорока. Несмотря на все принятые меры, температура не снижалась и состояние не улучшалось. Вся палата — и Георгий Степанович тоже — знала, что она с первого дня иступленно ждет своего мужа, а он все не идет.

— Ну что, Раечка, приходил? — с надеждой спросил Георгий Степанович.

— Да пусть он подохнет, на черта он мне нужен! — Она встряхнула головой с накрученными на бигуди прядками пегих волос. — Маленький, невидный... Если хотите знать, я с ним даже не расписанная! Вышвырну из дома — и окончена его роль в моей жизни.

— Гляди, пробросаешься, — предостерег Георгий Степанович. — Иди в палату, я тебя посмотрю. И не волнуйся, никуда он не денется. Что ты, мужчин не знаешь, что ли? Дела, наверное, задержали.

Рая охотно согласилась:

— Вообще-то у него рейс. Но все-таки свинство. Жена в больнице, а ему до

фени. Выгоню, будет знать.

В палате он прежде всего увидел глаза Зои Буликовой. Глаза эти напряженно следили за Георгием Степановичем, лишая его легкости общения с больными. В последние годы Зоя уже много раз лежала в стационарах и знала свое положение. Сам господь бог не мог бы извлечь из ее почек коралловые камни, разросшиеся, как оленьи рога, и разрушающие ткани.

Гога присел на край ее койки и, уже в который раз, подивился могучей сопротивляемостью человеческого организма. Ни желтизны, ни худобы. Цветущая, красивая, она могла быть эталоном зрелой женственности.

Один раз во время вечернего дежурства он слышал, как Зоя пела для женщин своей палаты:

Я ехала домой, я думала о вас,  
Тревожно мысль моя и путалась и рвалась.  
Дремота сладкая моих коснулась глаз,  
О, если б никогда я вновь не просыпалась!

Пела она негромко, безукоризненно чистым, звенящим голосом. «Еще, Зоенька, спой еще!» — просили женщины. А Гога тогда подумал: «Хоть бы она действительно заснула и больше не проснулась».

Георгий Степанович измерил Буликовой давление, выслушал сердце и сказал как можно естественнее:

— Ну что ж, сделано все, что можно, в понедельник мы вас выпишем...

Зоя заволновалась:

— Как же так, Георгий Степанович? Вы ведь хотели еще посев сделать, пробу на действие лекарства.

— Сделали. Очень слабая чувствительность, только на невиврамон. Попринимайте его. Это можно дома.

— Да я его уже тонны выпила! Вы прошлый раз обещали, что профессору Яблонскому меня покажете. Может быть, он что-нибудь назначит.

— Ничего нового Яблонский вам не скажет. Вадим Иванович смотрел ваши последние анализы.

— Вы мне о нем не говорите! Это он во всем виноват, — с ненавистью сказала Зоя. — Я шесть лет назад у него лежала. Тогда еще можно было операцию сделать, а он мне ничем не помог. Сейчас вы меня домой на смерть посылаете и не думаете, что мне еще сорока лет не исполнилось, я жить хочу...

Зоя смахивала слезы, они мешали ей говорить.

Георгий Степанович собрал все свое мужество:

— До смерти еще далеко. А оперировать вас нельзя было даже шесть лет назад. К сожалению, коралловые камни в поврежденных почках образуются заново и еще интенсивнее. Вы сами это отлично знаете.

— Я не врач. Я ничего не знаю. Только знаю, что вы меня отфутболиваете, потому что вам надоело со мной возиться. Например, сами же хотели показать меня Яблонскому. Вы мне это точно обещали. А сегодня, в субботу, говорите, чтобы я в понедельник уходила. Конечно, в воскресенье Яблонского не будет, да и сегодня его на работе нет. Значит, опять солгали! Мне ваши хитрости понятны! Ваш профессор жестокий, бездушный человек. Я думала, вы лучше, но и вы такой же бездушный.

Больные притихли на своих койках. Страх был в этом отчаянном крике.

С какой-то койки тихо донеслось:

— Не обижайтесь на нее, доктор...

Георгий Степанович распрямил плечи и встал.

— Я никогда не обижаюсь на своих больных. Но за тринадцать лет работы меня впервые обвинили в бездушии.

В ординаторской никого не было. Он сел за стол, внезапно обессиленный.

«Были у тебя, дурака, музыкальные способности. Ну и сидел бы сейчас в какой-нибудь уютной оркестровой яме, исполнял бы десять минут за вечер скрипичное соло. И денег наверняка больше, и никаких страданий...»

Зоя Буликова не знала, что в минувший вторник он носил историю ее болезни на шестой этаж к специалисту по нефритам профессору Яблонскому.

— Ну и зачем вы ко мне пришли, что вам не ясно? — спросил язвительный Евгений Григорьевич, едва взглянув на снимки и анализы.

— Это не я виноват. Это ваша популярность. Народ наслышан, народ требует.

— Дайте мне покой, — попросил Яблонский, — своих забот хватает. Тут я ничего не могу, и вы это отлично знаете.

Тогда Гога не стал настаивать. Сегодня суббота. Звонить совершенно безнадежно. Но он все-таки набрал номер кабинета Яблонского и поразился, услышав сухой, отрывистый голос профессора.

— Как хорошо, что я вас застал!

— Ну, — хмыкнул Евгений Григорьевич, — мне это начало ничего хорошего не предвещает.

— Огромная личная просьба. Спуститесь к нам на несколько минут. У меня очень тяжелая ситуация.

— Вам всегда везет. Я сегодня зашел сюда совершенно случайно.

В палате было непривычно тихо. Зоя лежала, уткнув голову в подушку.

Евгений Григорьевич сел на стул, торопливо подставленный ему Гогой, оглядел палату и негромко приказал:

— Всех ходячих прошу выйти.

Его великолепная вельможность восхищала Гого, но была недостижима.

Держа на коленях папку с историей болезни Зои Буликовой — скорбные листы анализов и разложенные по большим конвертам черные снимки, — он произнес вежливо и бесстрастно:

— Прошу, скажите мне, что вас беспокоит?

Гога не мог понять, почему приход Евгения Григорьевича Яблонского был для Зои такой необходимостью и даже радостью. Вряд ли она верила в возможность исцеления. Слишком много знала она о своей болезни. Но крупница надежды, которая умирает только вместе с человеком, оживила залитое слезами лицо милым лукавым светом. И Зоя торопливо начала повествование с первых лет своего горького пути.

Минуты через две Яблонский остановил ее:

— Я просил вас сказать о том, что беспокоит вас в данное время.

Этот рассказ он не прерывал. Только один раз открыл папку и мельком взглянул на листки с анализами.

— Ноги не отекают?

Какое счастье, когда хоть на один вопрос можно ответить в свою пользу!

— Никогда, никогда! Вот посмотрите...

Зоя высунула из-под одеяла голые ноги с маникюренными красными ноготками. Евгений Григорьевич едва взглянул и накрыл их одеялом.

— Теперь выслушайте, что я вам скажу. Вы работаете?

— Я инженер-конструктор.

— Работу оставьте. Отдыхайте, гуляйте. Если любите — слушайте музыку, ходите в кино. Словом, делайте то, что вам нравится. Сейчас вам в больнице лежать незачем. Организм у вас крепкий, недостаточность пока только наметилась. Это может протянуться еще долго. Надо постараться жить полной жизнью.

— Полной жизнью — без работы?

— Кроме работы у человека тоже есть радости. Сидеть по восемь часов за чертежной доской вам сейчас противопоказано. Оформите пенсию по инвалидности, возьмите путевку в дом отдыха...

— А какая диета?

— Никаких ограничений. Исключите только мясные консервы и все слишком острое.

— Доктор, а что пить? Я заметила, мне клюквенный морс помогает.

— Нет, это вам кажется. Пейте по потребности. Не больше.

— А травы? Люди травами лечатся. Петрушку настаивают, брусничный лист, толокнянку...

Он впервые улыбнулся.

— Ну, каждый употребляет то, что у него растет под окном. Не думайте об этом. Когда возникнет необходимость, мы вам назначим специальную диету и режим. А пока поступайте, как я вам советую. Не упускайте дорогого времени.

И все! Коротко, определенно, беспощадно. Но Зоя оживилась, точно Яблонский сообщил ей что-то новое.

Едва врачи вышли из палаты, она сказала своим звенящим, радостным голосом:

— Вот это доктор! Вот это человек! Как хорошо он все объяснил!

Конечно, потом она вспомнит, оценит и поймет каждое его слово. Но сейчас, во всяком случае, Георгий Степанович может выписать ее без осложнений.

Проводив Яблонского, Гога опять снял телефонную трубку.

— Лиля? Ну, как дела? Что у вас слышно? — Бессмысленные вопросы, чтобы только услышать ее спокойный голос.

— Что с тобой? — спросила она.

— Все в порядке.

— Неправда, я же слышу, что не все в порядке.

Услышала. И — умница! — не стала ни о чем расспрашивать. Сказала: «придешь, все расскажешь». Сказала: «сидим, беседуем». Значит, все благополучно, все мирно. Почему его все время тревожат отношения мамы и Лили? Господи, разве он когда-нибудь думал, что его жене будет трудно с мамой, с бесконечно доброй, справедливой и всесильной мамой его детства? Женщины-колхозницы смотрели на него с ласковым умилением: сын доктора! То, что у докторши был ребенок, как бы приближало эту строгую ученую женщину к их многострадальному полу. Они совали ему в карманы пригоршни обжаренной пшеницы и семян конопли — скудные лакомства высокогорных армянских селений.

В долинных деревнях к маминой бричке подносили корзины с виноградом и хурджины с вином, но она непреклонно заставляла все унести обратно. Тогда виноградари и садоводы одаривали ее сына изюмом, сушеными абрикосами, грецкими орехами. Подношения, сделанные ребенку, нельзя было отвергнуть. Это из-за мамы учителя прощали ему самые отчаянные шалости, а первые силачи школы всегда вставали на его защиту. «Сын Елены Карповны», «сын нашего доктора» — этот щит охранял его детство и юность. Но ведь это

уважение, этот авторитет, любовь, наконец, были заслужены, завоеваны ее качествами — знаниями, опытом, самоотверженным трудом, терпением. Почему же она не понимала и не прощала глупенькую, неопытную Надю? Ну да ладно. Надя — это дело прошлое. Почему тактичная, умная Лиля не встречает ни теплоты, ни понимания?

— Живу как на вулкане, — сказала недавно Лилия своей сестре.

Гога почувствовал в этой шутке большую дозу горечи. Он собрался всерьез поговорить с матерью, но вдруг, неожиданно для себя, увидел ее, сгорбленную, белоснежно-седую, совсем старенькую. Острая жалость не позволила ему произнести ни одного слова упрека.

«Все перетерплю!» — решил он, забыв, что терпеть больше приходится Лиле, у которой нет ни воспоминаний, ни добрых чувств, связывающих ее с Еленой Карповной...

Он услышал шум в коридоре, и это отвлекло его от мыслей о доме.

Санитарка Алла вела бой с каким-то неурочным посетителем.

— Вам человеческим языком говорят — сейчас обед, потом тихий час. Не положено. Есть приемные часы, тогда и приходите.

Кто-то негромко, но упорно бубнил свое и пробивался в отделение. Георгий Степанович вышел из ординаторской.

«Раечкин муж!» — осенило Георгия Степановича.

— К Артановой? Аллочка, пропустите в виде исключения. Что же вы, гражданин, четыре дня не появлялись? Мы у вашей жены температуру из-за вашего поведения согнать не можем. В рейсе, что ли, были?

— Сердечно виноват, — растерянно оправдывался Раечкин муж. — Два дня действительно в рейсе, а потом братан из Астрахани приехал, выпили по маленькой и загуляли...

Георгий Степанович нагнулся к уху посетителя:

— Лучше скажите, что в рейсе задержались. Поломка машины или завал на дороге. Спокойнее будет — и ей, и вам.

Посетитель обрадованно и понимающе закивал головой.

— А это что, воблу ей несете? — удивился Гога.

— Ага. Братан привез. Домашняя. Сам ловил, сам вялил.

— Соленое вашей жене категорически противопоказано. Я воблу у вас забираю для медицинских целей.

И Георгий Степанович перенял из рук растерянно улыбающегося человека кулек с воблой.

## Елена Карповна

Гога пришел с работы бледный, изнеможенный. Жена ему даже отдохнуть не дала. «Скорее, скорее, переодевайся, нас ждут!» Как на пожар. Закрыли двери в свою комнату и там до ухода шептались. Что это за манера закрывать дверь? Если не хотят, чтобы Елена Карповна слышала, значит, говорят про нее. Иначе какие могут быть секреты?

Вышли из комнаты уже готовые к поездке. От невестки пахнет французскими духами. Другие она не употребляет. Елена Карповна недавно узнала, что маленький флакон таких духов стоит тридцать рублей. Вот на что уходят деньги. Во времена ее молодости лучшими духами считалась «Красная Москва», и Елена Карповна не всегда имела возможность их покупать. Правда, позднее — и особенно в последние годы — она не знала, куда деваться от подношений благодарных пациентов. Откуда-то узнали, что доктор любит духи. Один раз подарили даже арабские — ничего особенного, несколько не лучше наших. Между прочим, ходили разговоры, что в Париже наши духи «Красная Москва» ценятся очень высоко. Но у нынешних молодых стремление покупать все самое дорогое. Заграничные сапожки за сто рублей, брюки из бумажной облезлой синей ткани за сто двадцать, а то и еще больше. Елена Карповна считала, что Лиле и по возрасту, и по положению неприлично выходить на улицу в таких брюках. Но ее мнения никто не спрашивал. И она молчала.

Впереди был длинный вечер, и Елена Карповна впервые в жизни не знала, чем

себя занять. Как-то она вознамерилась перештопать Гогины носки, но Лиля заявила, что штопаные носки теперь никто-никто не надевает. Раньше, у себя дома, — Елена Карповна разрезала протершиеся в середине простыни и сшивала их боковыми краями. Простыни служили вдвое дольше. Но Лиля безжалостно пускала все протершееся белье на тряпки.

Занять себя было нечем. По телевизору в двадцатый раз передавали фильм, известный Елене Карповне со времен ее молодости.

Хочешь не хочешь — пришлось пить чай. Она достала из холодильника сыр, треску в маринаде, поела, всю грязную посуду сложила в раковину. Если молодые гуляют, это еще не значит, что свекровь должна мыть тарелки. Это дело невестки.

Было еще светло, из открытой балконной двери тянуло теплом, и Елена Карповна решила пойти посидеть в парке при Речном вокзале, где ей очень нравились высокие темные ели.

Хорошо, что она предусмотрительно обеспечила себя всем необходимым. У нее есть и приличное летнее пальто, и югославский плащ, и удобная обувь для прогулок. Она ни в чем не нуждается, ни от кого не зависит. Перед выходом из дома хотела сменить чулки, но к чему? Кто ее здесь знает? Это не Заревшан. На улице ни разу «здравствуйте» не услышишь.

В парке была большая клумба роз, похожих на шиповник, но с плотными и очень яркими лепестками. Около этой клумбы на скамейке Елена Карповна обычно отдыхала в часы своих прогулок. Сейчас ходить не хотелось, ломило колени и ступни ног. Лучше посидеть, подумать, хотя мысли приходят невеселые.

Как исподтишка, как незаметно и немилосердно одолевает человека старость! У Елены Карповны рано начали сесть волосы. Она утешала себя: «Это у нас в роду, мы рано седеем». Старшая медсестра детской поликлиники знала секрет изготовления краски из сока молодых грецких орехов. Цвет получается очень натуральный. Но подкрашивать волосы приходилось каждую неделю. От корней быстро поднималась белая полоса. Елене Карповне надоело

возиться с краской. Все восторгались: «Маркиза, настоящая маркиза!» Белые волосы, черные глаза, молодое лицо!

Потом заболел зуб, на котором держался мост, сломался другой, заныл третий. Елена Карповна сама взмолилась — удалите все, пусть будут протезы! Техник очень старался, протезы сделал красивые, естественные, подогнал удобно. Но когда день начинается с того, что запихиваешь в провалившийся рот кучу пластмассы, то это, как ни сопротивляйся, уже старость. Конечно, не хочется в это верить, даже если сердце работает с перебоями, отекают ноги и приходится систематически менять очки. Сопротивляешься, пьешь витамины, принимаешь модные лекарства, которые появляются каждый год, но постепенно привыкаешь к мысли о пожизненном отдыхе. В течение часа — приятные хвалебные речи, цветы, улыбки, а по существу ты больше никому не нужна...

Когда она умрет, Гога искренно поплачет и быстро утешится.

В Заревшане ей устроили бы красивые похороны, с публикацией некролога в районной газете, с почетным караулом в Доме санпросвещения, с речами и стихами. А здесь похоронят как обыкновенную старушку, и только из уважения к Гоге, может быть, придут его товарищи — врачи...

А ведь она была главным педиатром целого округа! За двадцать лет ни разу не допустила развития эпидемий, год от года снижала детскую смертность. Была депутатом райсовета, к ее словам прислушивались и в райкоме, и даже в обкоме...

А какой у нее был дом, какая она была хозяйка...

Не забыть, как после республиканской конференции педиатров, которая проходила в Заревшане, председательствовавший доктор Мустафаев в конце заседания объявил:

— А сейчас все идем к Елене Карповне пить чай.

Она сперва испугалась — ведь не готовилась принять столько гостей. Но он успокоил — только чай, всем пить хочется. Только чай с сахаром.

В таких делах покойный муж был незаменимым помощником. В полчаса все

организовал. Вскипятили пять самоваров, составили столы. Скатерти у Елены Карповны были очень красивые, сервизной посуды хватило на тридцать человек. А варенья она выставила на стол пять сортов! Три белых — черешню, баклажаны, абрикосы и два красных — вишню и ежевику. Только разлили чай — принесли от соседей свежеспеченный лаваш. Все искренне веселились, пели, танцевали и благодарили ее за чудесно проведенное время.

Елена Карповна перенеслась душой в тот золотисто-медвяный вечер своего прошлого и не обращала внимания на высокую тоненькую женщину в брючном костюме, которая остановилась около скамейки.

— Вы меня не узнаете? — спросила женщина. — Или, может, не хотите узнавать? Тогда, конечно, извиняюсь...

Не так уж много лет прошло, чтобы Елена Карповна забыла свою первую невестку. Конечно, время за два года производит перемены даже в молодых лицах. Но Надя не изменилась. Та же легкая фигурка, те же распущенные по плечам волосы. Только рот потерял детскую припухлость и глаза стали настороженней. Хорошенькая женщина, из тех, кому можно носить узкие брюки.

— Почему же не узнаю? Здравствуй, Надя.

Два года назад Елена Карповна часто произносила про себя уничтожающие обвинительные речи, обращенные к Наде. Но этот гнев остыл, слова сейчас ничего не изменяют, ничего не вернут. Препрежней ненависти Елена Карповна к этой девочке не испытывала.

Надя бочком примостилась на краешке скамьи.

— Ну, как ты живешь? — спросила Елена Карповна.

— Нормально. Живу с мамой. В личной жизни у меня перемен нет. Намечается кое-что, но пока неопределенно.

Елена Карповна усмехнулась про себя. Бедная девочка, будь молодой и красивой хоть сто лет, все равно не найдешь ты такого мужа, как Гога! Упустила ты свое счастье!

— По-прежнему в библиотеке работаешь?

— Я в настоящее время, признаться, нигде не работаю. Один знакомый летчик обещал меня стюардессой устроить. Вы же, наверно, помните, как я всегда стремилась путешествовать?

— Стюардессам, кажется, надо иностранные языки знать?

— Это на международных линиях. Туда вообще труднее устроиться. Мне пока бы на местных линиях полетать. Но у меня большая неприятность оказалась. Я как раз хотела с врачами посоветоваться, а тут вас встретила. Может, вы мне что подскажете...

— Я детский врач.

— Это все равно. Мой организм, оказывается, самолета совершенно ни на дух не переносит. В момент укачиваюсь. Прямо наизнанку выворачивает. Какая уж тут работа, одна мечта поскорее приземлиться.

— Значит, у тебя вестибулярный аппарат не в порядке.

— А исправить никак нельзя? Хоть операцией?

— Вряд ли. Медикаменты разные есть, пипольфен, например, аэрон...

— Это мне не годится. От пипольфена спят, а мне в воздухе работать надо. Водичку минеральную разносить, конфетки мятные. Это надо же, чтобы у меня оказался такой дурацкий аппарат! В последнее время даже, как в небе заслышу самолет, так мне сразу тошно.

— Да, не повезло тебе, — сказала Елена Карповна почти с сочувствием.

— Я вообще в жизни невезучая. Правду говорят — не родись красивой, а родись счастливой.

Они помолчали.

— А как Гога живет?

Голос благоразумия продиктовал Елене Карповне сдержанный ответ:

— Ничего, хорошо, спасибо.

— Он теперь жену взял из вашей нации и с высшим. Теперь уж, наверное, ваша душенька довольна.

— Для меня важно — какой человек. Для меня ни национальность, ни образование роли не играют. Душа должна быть.

— Это только так говорится! — несогласно отозвалась Надя. — К примеру, с чего бы вам со мной не жить? Я вам не грубила, ни в чем не мешала. А вы меня сколько раз шпыняли: «Ты наших обычаев понять не можешь!» Новая невестка небось все понимает.

Елене Карповне вдруг показалось, что с наивной Надей действительно легче жилось. Надя вся нараспашку, с ней не надо было так считаться, как со скрытной, сдержанной Лилей.

— Моя невестка из тех, кто мягко стелет, да жестко спат, — вырвалось у Елены Карповны.

— Ай-ай-ай, значит, притесняет вас? У нее ведь характер еще тот! На работе ее никто не любит. Это не то что я. Ничего не требовала. Есть что поесть — мне и ладно. Нет — тоже обойдусь. А теперь Гога все дежурства подбирает. Конечно, ей не хватает, даром что сама врач, да и не сказать молоденькая, четвертый десяток пошел...

Елена Карповна как-то не осмыслила источника осведомленности Нади. Ее больно поразило, что Гога «подбирает» дежурства. В последние месяцы он не брал ни копейки из ее пенсии. Конечно, это делалось по наущению Лили, но Елена Карповна не огорчалась. Она решила откладывать деньги на выходной костюм и пальто для своего сына. А теперь оказалось, что ее бедный мальчик изнуряет себя работой.

— Она покупает французские духи. Конечно, на это никакой зарплаты не хватит, — сказала она с жестокой горечью. — Гога попал под каблук и пляшет под ее дудку.

— Я французских духов сроду не имела. Я вообще жила три года — тряпки приличной не купила. Даже шубу себе не справила.

Елена Карповна вела свое:

— Я человек самостоятельный. У меня все есть. Я ни в чем от них не завишу. Мне только внимание дорого. Я хочу, чтобы со мной считались. Вместо того чтобы отдыхать, она Гогу по субботам к своей сестре увозит. До поздней ночи там его держит, а мать тем временем одна в четырех стенах должна сидеть.

Она ни с чем не считается!

— Стерва какая-то, — сказала Надя.

А Елена Карповна уже не могла остановиться:

— У Гоги, ты сама знаешь, слишком мягкий характер. Он мне сказал — надо терпеть, мама, не разводиться же мне во второй раз.

В эту минуту Елена Карповна даже не осознавала, что выдает желаемое за правду.

— Ну, со мной он не был такой мягкий! — обиженно вспомнила Надя. — Чуть услышал какую-то сплетню, так сразу же на развод подал. Моя подруга специально приезжала, доказывала, что я у нее ночевала, а он поверил каким-то очевидцам, будто я в ресторане с каким-то военным была. Ну, а если и была, что тут такого? А ночевала у подруги. Я Гоге так и сказала на прощанье: «Больше ты не найдешь такую дуру, как я. Учти! Я у тебя ничего не требовала!»

— Правда, — подтвердила Елена Карповна, — ты была нетребовательная.

Она словно забыла о своих деньгах, которые Надя бессовестно взяла за квартиру. И когда, прощаясь, Надя подставила щеку, Елена Карповна поцеловала ее и даже прослезилась.

Домой она шла с неосознанным тревожным чувством. Что-то вышло не так. Это ощущение душевной неустроенности почему-то заставило ее перемыть оставленную с вечера посуду и даже подмести кухню, чего она никогда раньше не делала.

## **Семья Артаровых**

Женщина рожала красиво, как, по справедливости, должны бы рожать все женщины. Она не мучилась, не кричала. Когда потуги охватывали ее молодое тело, она впивалась руками в краешки стола и напрягалась изо всех сил, так что по животу пробегали сокращающиеся мышцы. В эти секунды она стискивала зубы, и из ее груди вырывался не болезненный стон, а мощное

трудовое кряхтенье. Потом, в короткое время перерыва, она откидывалась, расслаблялась и отдыхала, закрыв глаза.

Женщина рожала впервые. Лиля стояла рядом, давая советы: дышите, расслабьтесь, не дышите...

На миг роженица поворачивала к ней затуманенные серые глаза, легким движением век давала понять, что восприняла указание, и снова упорно принималась за свою неотвратимую работу.

Медсестра обтирала ей лоб и уговаривала:

— Ты покричи, покричи, легче будет...

Женщина только чуть усмехалась и снова углублялась в себя.

Рядом уже немолодая мамаша знакомо голосила:

— И что же меня заставило идти на такую муку... Ой, смерть моя пришла...

Ой, мамочка родная, пять лет не рожала, и с чего это я снова затеяла...

— Раньше надо было думать. Теперь уже поздно каяться, — ворчала акушерка.

— Ой, правду ты говоришь, сестричка, дура я несусветная! Еще хоть дочку бы, а то четвертого сорванца рожу... Ой, умираю, ой, держите меня, держите...

Но опытная сестра подскочила не к ней, а к столу, за которым стояла Лиля, подставила эмалированный таз, и туда вывалился сложенный в кокон малыш, который при ближайшем рассмотрении оказался мальчиком.

— С сыночком вас, — сказала Лиля. — Посмотрите на него! Отличный ребенок. Кило четыре потянет.

На дне таза, судорожно раскорячивая ручки и ножки, орал багровый человечек.

Едва взглянув, молодая мать дремотно закатила глаза. Ее сморил глубокий сон непомерно потрудившегося человека.

А с той, которая хотела дочку, пришлось повозиться. Хорошо еще обошлось без щипцов. Девочка родилась с примятой головкой, маленькая, полузадохшаяся. Едва раздался ее первый пискливый прерывистый крик, как мать счастливо заворковала:

— Золотце мое, куколка моя, — и все время волновалась: — Вы уж не спутайте моего ребенка, доченьку мою не спутайте...

Акушерка рассердилась:

— Тридцать лет работаю, случая такого не было, чтобы спутали. А твою доченьку и захочешь — не спутаешь. Такой востренький носик у новорожденных один на тысячу. Копию по себе слепила!

— А пальчики посчитали?

— Да отдыхайте вы! Все в порядке.

— Сыновья мои как обрадуются, — сказала роженица. — Это ж надо подумать — девочка! — удивлялась она извечному чуду, тут же забыв свои смертные муки.

Как все нервные женщины, она после родов долго не заснет. И Лиля дала ей успокоительное.

Вернувшись в свой маленький кабинет, Лиля поставила на электрическую плиту джезве — крохотную удлинненную кастрюльку с водой, засыпала в нее две ложки тонко размолотого кофе и прилегла на диван. Скоро конец ее суточному дежурству. Дома она уберет квартиру, приготовит обед на завтра, а вечером с Гогой пойдет в кино. Вот такая ей предстоит жизнь.

В дверь легонько постучали, и вошла Галина Борисовна, хирург отделения, председатель месткома, женщина, у которой одной из жизненных задач было опережать хоть на час моду сегодняшнего дня.

Под врачебным халатом на ней был балахон из небеленой бязи, отделанный у ворота и рукавов вологодским кружевом. Бязь стоила пятьдесят копеек метр, но за это платье Галине Борисовне уже безуспешно предлагали пятьдесят рублей.

— Ох! — восхитилась она. — Ничто не сравнится с запахом черного кофе! Только мне без сахара!

Она уселась в кресло у стола.

— Поговорить с тобой пришла, лапочка.

Лиля предвидела этот разговор. На прошлой неделе она, в присутствии других

сотрудников и даже посторонних посетителей, накричала на кастеляншу, которая не обеспечила отделение бельем. Кастелянша была виновата, но кричать на нее, а тем более употреблять слова «безответственность» и «распущенность» не следовало.

— Это твой восточный темперамент тебя подводит, — сказала Галина Борисовна. — Наживаешь себе врагов.

— В местком пожаловалась?

— Нет, она не жаловалась. Тут другой поворот. Слушай, какого черта тебе понадобилось выписывать из Грузии эту старуху?

— Какую старуху?

— Ну, мать твоего Артарова.

— Она из Армении. — Лиля была несколько ошеломлена переходом от конфликта с нерадивой кастеляншей к своей свекрови.

— Все равно. Выращивала бы там свои цитрусы.

— Она врач.

— Еще того не легче. Хуже нет образованных свекровок. Можешь мне поверить. Имела опыт.

— Да при чем тут она? Ты о ней пришла говорить?

— А при том, что по всему отделению сплетни идут. Будто ты свекровь со свету сживаешь, то и дело увозишь мужа к своей родне, бросаешь беспомощную старуху одну, а бедный доктор Гога Артаров вместе с матерью прямо в отчаяние от тебя пришел. Он бы и рад с тобой развестись, да неудобно второй раз жену из дома гнать.

— Откуда такие сведения? — спросила Лиля, чувствуя, как у нее каменеет сердце.

— Лично у меня — от нашей буфетчицы. А все идет от кастелянши. Она, оказывается, родственница первой жены Артарова. Поносила тебя в наше клубное обеденное время, в буфете. Нелестные характеристики, адресованные твоей внешности и твоему характеру, я опускаю, это непосредственно к делу не относится. Но свекровка твоя какова? Нашла кому жаловаться — первой

жене! Ты понимаешь, что у тебя дома враг? Вот тебе мой совет: сразу поставь вопрос ребром: «Или я — или она!» Прямо сейчас. Придешь домой — с порога так и заяви. Не бойся, я тебе гарантирую — соберет свои шмотки и укатит в солнечную Грузию. Ты только не расстраивайся и твердо стой на своем.

Галина еще долго давала бы свои полезные советы, но ее позвали в отделение. Пришла смена. Все делалось как обычно, только время будто шло мимо Лили и никакой уже жизни не было вообще.

Она стояла перед входом в метро, женщины протягивали ей розовые и лиловые астры. Гога никогда не приносил ей цветов. Цветы он не понимал, говорил: «Я не могу нести по улице эти веники!» Однажды он принес ей рыжего хомячка. Зверек жил у них больше месяца. Как-то они поехали за город и взяли его с собой, — «проветриться». Посаженный на траву, он моментально исчез на глазах. Это был какой-то непонятный фокус. Они обыскали всю лужайку. По дороге домой утешились тем, что, может быть, хомячку будет лучше на воле.

— Если он найдет себе подружку, — сказал Гога.

Цветы Лиля покупала сама. Она и сейчас взяла бы эти первые астры, они долго стоят в вазах. Но ни к чему. Сквозь каменное оупение уже пробивалось отчаяние. Она знала — теперь так и будет. Сперва будто бы ничего, но постепенно все больше нарастают гнев, обида, потребность доказать свою правоту. Мучительная потребность.

Сейчас ехать домой невозможно. Лилю внесло в вагон общим потоком и прижало к дверям. Поезд закружился по орбите. На остановках люди стремительно втискивались в вагон, как косяки рыб, захваченные сетью. И так же стремительно выталкивались. Через какое-то время вагон опустел. Лиля села, держа в руках хозяйственную сумку. По плану, разработанному с утра, она должна была купить хлеб, молоко, масло.

Невольно, неосознанно она разговаривала то сама с собой, то со старухой. «Как же после этого нам вместе жить?» Некуда ей уехать. Я ее ненавижу. «Гога не говорил вам, что хочет со мной развестись! Не мог он этого сказать!»

Войду и спрошу: «С кем вы сплетничали о жизни своего сына? Вы же сами эту Надю какими только словами не обзывали!» Нет, все бесполезно, бессмысленно. Никто не скажет правду, даже Гога, который мог крикнуть для утешения матери: «Не могу же я развестись во второй раз!» Эти слова ничего не значат. Мало ли что мы говорим в запальчивости.

А если просто спросить: «Ты действительно хочешь со мной развестись? Только честно. Я такая, как есть. Лучше стать не могу. Я старалась. И хватит. Больше стараться не буду. Предупреждаю тебя».

Поезд, кружась по кольцевой, перевез за это время тысячи пассажиров, и, когда Лиля вышла на улицу, был уже поздний вечер, может быть даже ночь. За эти часы утихло в ее душе бурление гнева. Трудно и скверно, но надо понять, что в ее жизни главное, что она может удержать и надо ли удерживать. И ничего не говорить сгоряча. С этим довольно неопределенным решением Лилия поднималась в лифте на свой этаж.

— Наконец-то, — закричал Гога, — наконец-то! Где ты была? Мы с мамой тут с ума сходим... Я всех знакомых обзвонил... Мама, Лилия пришла!

Он помог ей снять плащ, взял из рук кошелку, принес тапочки.

— Все-таки где ты была? В отделении тебя нет, у Тамары нет, неужели телефона под рукой не нашлось?

— Нет, — сказала Лилия.

— Мама одно твердит, что тебя на роды вызвали. Здесь, говорю, не деревня, какие роды! В очереди, говорю, за сапожками стоит. А после восьми и сам стал волноваться. Ну, пойдем обедать, мы тебя ждали, за столом все расскажешь.

— Дай мне опомниться. Я устала.

Она закрыла за собой дверь их общей комнаты и легла на тахту лицом к стене. Но тишины не было. Гога звонил Тамаре:

— Да, да, вернулась, все в порядке...

— Мама! — кричал он. — Разогревай обед, я голодный как собака...

Он вошел в комнату по праву мужа, по праву хозяина дома. Сел на краешек тахты, погладил ее ноги.

— Лиленька, ты что, и обедать не хочешь? Мама борщ сварила. Пойдем, миленький мой...

— Я не могу.

— Ты нездорова? Что с тобой?

— Здорова.

— Что-нибудь на работе?

— Нет.

— Ну, тогда нельзя так со мной поступать! Что я должен подумать? — И вдруг, озаренный прозрением любящего мужчины, тревожно спросил. — Мама? Она могла ответить — да! Твоя мать предала меня твоей первой жене, облила ложью и грязью. Сделала объектом сплетен всей больницы. Больше я терпеть не могу. Выбирай между нами.

Лиля представила себе, каким беспомощным он сразу станет, как будет выискивать слова для оправдания своей матери и наконец выкрикнет отчаянную фразу: «Ты хочешь, чтобы я выгнал свою мать из дома? Этого я не могу!»

А если бы он это сделал, во что превратилась бы их жизнь? Разве могла бы она по-прежнему любить и уважать своего мужа? Нет! Дело не в матери, а в силе и крепости их отношений. Но ведь это почти целиком зависит от самой Лили... Он положил голову на ее колени и, поджав длинные ноги, свернулся на кончике тахты.

— Ну и не говори, если не хочешь. Важно, что ты здорова, что ты пришла. Дом без тебя такой пустой, мы такие одинокие, а тебя все нет и нет...

Лиля заплакала — беззвучно, неслышно, про себя. Гога этого не заметил.

— Я-то думал, придет моя ласточка, поведу ее в кино, потом будем пить чай с пирожными, как в лучших домах Филадельфии. А тебя все нет и нет. И это было очень плохо. А пришла сердитая, молчаливая...

Лиля повернулась, увидела черные полоски густых, загнутых вверх ресниц и положила руку на его голову.

А Елена Карповна в это время сидела во второй комнате, которую называли

столовой, хотя ели на кухне. Она и спала тут на тахте, рядом с которой стояли ее стол и шкафчик. Весь ее большой мир — горы и долины Заревшана, городок, где она жила, окрестные села, ее собственный дом, — все сузилось теперь до этого крохотного пространства. Стол, шкаф, тахта.

Они опять ушли в свою комнату и закрыли дверь. Невестка и не думает, что ни свекровь, ни муж до сих пор не обедали. Куда хочет ходит, когда хочет возвращается. Отчета никому не дает. Гога во всем ей подчиняется.

Это были привычные мысли, но в последнее время они рождали не праведный гнев, а скорее грусть.

Не такая уж Елена Карповна дура, чтобы не знать — в Москве на роды врачей не вызывают, а везут женщин в роддом. Где же все-таки Лиля была до девяти часов? Об этом лучше не думать. Разве можно сейчас, на ночь, есть жирный борщ? Елене Карповне, во всяком случае, придется ограничиться чашечкой ряженки. Но кому до этого дело?

Она открыла ящик своего шкафа. Здесь все ее ценности. Зеленая папка с документами, грамоты, ордена. Пачка благодарственных писем от родителей ее пациентов и от них самих. Письма покойного мужа. Красивый, очаровательный был человек, а счастья никому не дал. Письма Гоги — от самого первого, выведенного печатными буквами. В коробочке — драгоценности. Золотые часы с браслетом, цепочка с медальоном и кольцо с бирюзой, окруженной бриллиантами.

— Мама! — крикнул Гога. — Обедать! Лилия есть хочет!

«Лилия хочет, — неприязненно подумала Елена Карповна, — мы уже и не люди».

Она продолжала сидеть над открытым ящиком.

Чего она испугалась сегодня, когда невестка так запоздала? Почему у нее стало беспокойно, нехорошо на сердце? Не стоит в это вдумываться...

Она вынула из ящика кольцо с голубым камнем — семейную ценность Артаровых, переходящую из поколения в поколение. Все равно кольцо должно перейти к молодой хозяйке дома.

В кухне застучали посудой.

— Правда вкусно? — спрашивал Гога. — Мама, если захочет, умеет!

Елена Карповна положила кольцо обратно в коробочку.

«Подождет! Надену ей на палец в тот день, когда она родит мне внука».

— Что у меня за женщины? То тебя ждешь, то маму...

В кухне отодвинули стул. Донесся голос Лили:

— Я ее приведу.

Никаких объяснений, никаких требований. Лишние разговоры, лишние обиды.

Выяснять ничего не нужно. Как из каменных глыб, из кирпичей, из бетонных блоков строили и строят дома, так внутренний мир семьи создается из мужества, терпения, а иногда и молчания.

Лиля не думала этого словами. Она это чувствовала.

Маленькая седая женщина нахохлившись сидела перед своим шкафчиком.

— Обедать, обедать будем, — сказала невестка. — В любом часу, хоть ночью, но за стол должна садиться вся семья...

## После развода

В пять Вера Петровна задержала Любу на работе. Часа два они провозились, а в начале августа дни уже заметно укорачиваются, и домой Люба пришла, когда в комнатах стемнело.

В кухне стояла немытая посуда, постель Володи с утра не прибрана, сам где-то во дворе. И без того на душе тошно, а уж если в квартире грязь, так впору удавиться. Люба принялась наводить порядок. Она любила работу и даже самую грязную умела делать быстро и красиво. Пока кипели щи да жарилась картошка, Люба перемыла полы в кухне и в ванной, убрала с дивана Володину одежду. В комнатах было чисто, но Люба каждый день протирала шкаф и сервант шерстяной тряпкой. Поэтому мебель у нее была как новая и книги в стеклянном шкафу так и блестели переплетами.

Раньше, когда Виктор жил дома, Люба заставляла его обертывать книгу

газетой, потому что читал он неаккуратно и даже мог засыпать страницы пеплом от сигарет. Сейчас книги стояли плотно в рядочек. И вдруг Люба увидела в верхнем ряду дыру! Первая мысль была, что без нее приходил Виктор. Потом пригляделась, разобралась, какой не хватает. Оказалось — первого тома сказок из «Тысячи и одной ночи». Второй том на месте, а первого нет. Издание академии, с цветными рисунками. Эту книгу сейчас ни за какие деньги не купишь.

Люба посмотрела у Володи на столике, посмотрела в ранце, накапала себе валериановых капель и немного полежала, чтобы успокоиться. Потом поднялась, оделась, вышла к подъезду и села на лавочке возле пенсионерок, которых считала бездельницами и сплетницами. Посидела она не больше пяти минут — появился ее Володечка, растрепанный, потный, на сандалиях, которые Люба купила неделю назад, уже все носки сбиты. В футбол гонял.

Люба схватила сына за руку:

— Куда ты книгу дел?

— Какую еще книгу?

А сам в глаза не смотрит. Знает!

Пенсионерки на лавочке примолкли. Любопытно им.

Люба вывела сына на улицу.

— Где книга?

— Товарищу дал почитать.

Вылитый отец! Того тоже всю жизнь товарищи обирали.

— Веди меня к товарищу.

— Не надо, мам, он завтра отдаст... Честное слово...

— Веди к товарищу!

— Мамочка, милая, не надо...

Потом заплакал:

— Я туда не пойду... не могу я...

— Я сама пойду. Ты только адрес скажи.

— Мамочка, я сам принесу, я сейчас же принесу!

Но Люба, не выпуская маленькой жесткой руки сына, заставила его указать дом, сказать, какой этаж, какая квартира. И позвонила. Звонок красиво тельнякнул, дверь открыл мужчина, еще молодой, в джинсах и клетчатой рубашке.

Люба сказала:

— Извиняюсь, мне вашего мальчика нужно.

— Пожалуйста. — Мужчина позвал: — Славка!

Вышел мальчик. Володечкин ровесник. Люба попросила мужчину:

— Вы уж, пожалуйста, не уходите от этого разговора. Вам, как родителю, нужно послушать.

Мужчина пригласил войти в комнату, но Люба отказалась, сразу же обратилась к мальчику:

— Ты книгу у Володи Онина брал?

Тот не стал закипать:

— Арабские сказки взял.

— А ты знаешь, какая это дорогая книга? Как ты мог без разрешения Володиных родителей ее из дома унести?

Мальчик нисколько не смутился.

— Я только прочитать взял.

— А вам я прямо-таки удивляюсь, — обернулась Люба к Славкиному отцу. — Вы видите, что у вашего сына такая ценная книга, и не поинтересовались, где он ее взял!

— В самом деле, — огорченно сказал мужчина, — совсем не подходящее чтение для детей. Загруженность, знаете. Вот только что с работы, а жены до сих пор дома нет. Конечно, им надо адаптированное издание. Академическое на этот возраст не рассчитано.

Люба решила, что он над ней смеется. Для кого же сказки печатают, как не для детей? Люба очень хорошо понимала, когда ей что-нибудь в насмешку скажут. Но тут мальчик вынес книгу, а это для нее было главное.

Мужчина еще извинился, тоже, может быть, в насмешку, но Люба уже отошла

душой и не сердилась.

Дома Володечка лежал на диване лицом к стенке. Щей есть не стал и разговаривать с матерью не хотел.

— Смотри ты у меня. Я, как одинокая мать, тебя в два счета в интернат определю!

Думаете, испугался?

— Я к папе жить пойду... Я с тобой не хочу...

— Очень ты ему нужен... Там его баба тебя, как шайбу в ворота, выбросит!

— Врешь ты все! Он у тети Кати живет. Я знаю.

Конечно, ребенок. Его обмануть легко.

— Эх, дурачок ты, дурачок, — ласково сказала Люба.

\* \* \*

Гадалкам и ворожеям Люба сроду не верила. Даже смеялась над этим невежеством. Но вот так получилось — сама к гадалке пошла.

Сначала как будто помогло, — три месяца Онина не было, а тут появился. На другой день после того, как Люба побывала у ворожеи. Пришел, сел, набычился и молчит.

Володечка только из лагеря подмосковного приехал и, конечно, футбол гонял, не было его дома. Виктор, видать, прямо с работы. Может, рассчитывал пообедать? Ну, это уж извините! Всю жизнь мечтала чужих мужиков кормить! А кто он ей сейчас? Пусть тринадцать лет прожили, а развели по суду — и чужой. Чаю, правда, предложила — отказался. Даже не спросил: черт, мол, дьявол, как здоровье? В чулан поперся, как у себя дома. Усилитель какой-то понадобился. А может, он Володечке пригодится, когда мальчик подрастет? Хотела не дать, побоялась скандала. Он все одно: «Постыдись! Я ведь нитки из дома не взял». Ей еще стыдиться! Сам бросил семью, такую травму ребенку нанес, что Володечка учиться плохо стал, ей жизнь разбил. А за что? Нет, если разобраться? Сама аккуратная, дома порядок, на работе ее одобряют. Чего не

хватало? «Я, говорит, с тобой как в предбаннике живу». Это про отдельную двухкомнатную квартиру. Один румынский шкаф сто двадцать рублей стоит, сейчас, говорят, они еще подорожали. Сервантик чешский. Ну, диван старый, клеенчатый, так и то можно софу купить. Со временем. Вот Люба округлит сумму на сберкнижке, потом будет на софу откладывать.

Она встала в дверях кладовочки, где возился Онин. Уж пускай одним разом забирает свои штативы, аппараты, усилители. А то будет за ними ходить да каждый раз нервы мотать. Сердце же не выдерживает все это терпеть да любезно молчать. Но все советуют — терпи. Гадалка сказала: «Не обижай его злым словом». Раньше-то она его не обижала. Уходил с утра до ночи — верила, дура, что на работе задерживают. В командировки ездил, в дома отдыха по два раза в год — за вредность будто бы. Никогда не проверяла. Да и как проверишь? Туда и по телефону не сразу дозвонишься. Когда уже совсем ушел Виктор, добилась она прямого телефона директора. Сказала: «Очень извиняюсь, вы знаете, что ваш сотрудник Онин жену с ребенком бросил? Вы в курсе дела?» Он сперва вроде ничего не понял. «Разрешите, — сказала Люба, — я к вам приду и все объясню». Так он даже испугался: «Нет, нет, меня не касается, обратитесь в общественные организации». Очень обидно было. Конечно, мужчина всегда мужчину защищает. Секретарь парткома у них женщина. Люба решила к ней сходить. Мало ли что разведенные. А Володечка? Это же одни красивые разговоры: «Я ему отец был, есть и останусь». А на деле в лагерь к сыну только один раз съездил!

Люба это ему высказала, пока стояла у кладовки.

— Что ты от меня хочешь? Алименты получаешь, это для тебя самое главное.

— Тебе, прохиндею, еще бы и алименты не платить, чтобы твоей новой больше оставалось!

Думала обойтись с ним по-хорошему, но не выдержала. Стала все высказывать, что накипело. А он — в переднюю и молча плащ на себя натягивает.

Тринадцать лет жили, обшивала его, обстирывала, кормила, а теперь ты ему и

слова не смей сказать. Унижайся перед ним.

— Погоди, Витя... Ты и Володечку ведь еще не видел, Витя...

Нет, повернулся и ушел.

Люба легла на клеенчатый диван. Спина холодным потом облилась. Чтобы успокоиться, она стала считать, сколько у нее денег. Это всегда приводило ее в равновесие. Три сберкнижки. Одна — куда алименты складываются, другая — в своей районной сберкассе, а еще одна — в центре города. Так пришлось раскидать деньги перед разводом. Виктор хотя ничего про ее сбережения не знал, а все равно Люба боялась, что по закону делить с ним придется. Разметала деньги по разным сберкассам — никто никогда и не узнает, а для алиментов отдельную завела.

Вся ее жизнь, все труды, все молодые годы — в этих деньгах. Рубль к рублю прикладывала. Ни копейки зря на себя не тратила. Мечта была — до пенсии такую сумму собрать, чтобы в месяц рублей двадцать процентов набегало. Тогда у нее та же зарплата до конца жизни. А умеючи жить и опять откладывать можно. Пенсионеркой возьмется с чужим ребеночком погулять, по хозяйству помочь. Она зря дома сидеть не будет. У нее руки к работе привычные.

Злые отцовы дети и доучиться не дали, когда мать умерла. Сбагрили девчонку приезжим дачникам в домработницы. Не посчитались, что она по отцу им кровной сестрой приходится. Это сейчас Люба им простила: и принимает и угощает. Но зло помнит. Она и добро помнит. Вот, светлая ей память, певица Сарафанова, у нее Люба два года проработала. Присмотрелась она к Любе и говорит:

— Ах ты, такая-растакая, — очень простой человек была и по-простому выражалась, — ты что, думаешь всю жизнь чужие тарелки лизать? В какое ты время живешь? Какие у тебя права сейчас есть!

Устроила она Любу мойщицей в столовую.

Но жила Люба по-прежнему у нее. И по хозяйству помогала. А еще время прошло, Сарафанова и говорит:

— Ты себя на работе зарекомендовала с хорошей стороны, теперь иди к начальству и объяви, что я тебя с квартиры гоню и тебе жить негде. Какой-никакой угол дадут. Да ты не реви! Я тебя в жизнь толкаю!

Правда, не сразу, но все по ее словам сделалось. Дали Любе жилплощадь. Зауток под лестницей чуть пошире ванной комнаты. А радовалась больше, чем когда эту двухкомнатную со всеми удобствами получила. Тоже ей, а не Виктору за хорошую работу ордер вручили. У нее хоть зарплата небольшая, а почти вся целая остается, потому что доход есть. Редкий день Люба без даровых продуктов домой идет. Бывает, шеф-повар Вера Петровна тихо так скажет: «Останься на часок после работы». Все уйдут — они вдвоем за дело. С головизны щеки поотрезают, пашину два раза через мясорубку прокрутят — приготовят заготовки на котлеты, на голубцы, на бифштексы рубленые! Любе с собой — филейный кусочек на килограмм. А уж что сама Вера Петровна берет — это Любу не касается. Ее дело маленькое. Ей дали. Она сама ничего не взяла. Бывает, Вера Петровна скажет: «Иди в кладовую, отрежь себе колбаски, сыру, чего тебе надо». Люба всегда отказывается: «Дайте своей рукой». А в конце недели, когда шеф-повар остатки снимает, тогда Любе и масла шматок, и сахару мешочек, а то и полкурицы.

Вот такая она жена была.

Только это все, конечно, не дружков-товарищей кормить. А тут, извольте, собирается чуть не каждый вечер компания, и всякий раз чаем их пои, сыру да колбасы на стол поставь. Для чего это надо? Ну, поговорили, покричали, полпластиковый, чистый натоптали, исцарапали и шли бы себе до домам. Нет! Каждый раз один разговор:

— Сообрази нам, жена, чайку да пожевать что-нибудь.

Всю жизнь мечтала!

Люба ему высказала по-хорошему:

— А для чего это, Витечка, нам их поить, кормить, от своего ребенка отрывать? Они небось наше едят да над нами же смеются. Кто они нам?

— Товарищи мои, — говорит. — Неужели я на кусок колбасы не заработал?

Да за этот кусок Люба иной раз через проходную идет, у нее вся спина мокрая и руки от страха немеют. Только Витечка, конечно, ничего про это не знает. Он думает — с его заработка живут. Он принципиальный. А какой тут может быть принцип?

Другой раз, как приятели на порог, Люба все съестное попрячет да из дома. Иногда у подруги до десяти часов сидела. Онин сперва черной тучей смотрел, затем повадился вечерами уходить. Так и пошло. В будни его нет и в праздники нет. Всё его куда-то посылают, всё ему задания по работе дают. Сперва верила, потом забеспокоилась, да поздно. Распустился, разбаловался, наконец и ночевать дома не стал.

Это и была ее вина, что долго терпела, все надеялась — образумится, никаких мер не приняла, до развода довела.

Как перестал он домой приходить, Люба его в жэке выписала. Там сперва не хотели, так она всех соседей свидетелями поставила, что он месяцами не ночует и за квартиру не платит. Выписали его. Он либо узнал, либо почуял — пришел. Торт принес, портвейну бутылку. С Володечкой весь вечер сидел, уроки помогал делать.

Спать легли — все как полагается. А потом Люба возьми и скажи: «А ведь ты теперь и ночевать здесь права не имеешь. Я тебя выписала...»

Он как взорвется! Нехорошим словом обозвал, оделся — и уходит. Люба в дверях встала, он ее отпихнул, она в крик. Соседи милицию вызвали.

Вот после этого Онин на развод подал. Три раза дело откладывали. Один раз — не пошла Люба. Другой раз судья давал две недели на примирение. Онин отказался: «Не надо мне!» Люба сказала: «А мне надо». Третий раз Онин в командировке был. Вот тут бы ей к гадалке и пойти. Да ведь не знала. Это потом, когда уже развели, старушечка научила. Сидела на суде рядом, сочувствовала Любе, а потом дала адресок — далеко, в Теплом Стане. Час туда добираться. Не так чтобы очень верила Люба, однако поехала на всякий случай — судьбу свою налаживать, последнюю попытку сделать.

В Теплом Стане все дома новые — один в один. Высокие, белые, как меловые.

Место еще не обжитое, деревца у домов маленькие, невидные — вроде голо все вокруг.

На четвертый этаж Любу повез лифт. Открыл ей парень. Лет двадцать ему, в голубом свитере. Черный, красивый. Люба и спросить ничего не успела, он сразу крикнул:

— Мама, к тебе! — И ушел.

Люба так и осталась одна. Даже неудобно. На вешалке одежда, на тумбочке флаконы какие-то. Пропадет что-нибудь — на нее подумают.

Наконец женщина появилась. Полная, черная. В цветастом кримпленовом платье. В руке луковица, и полотенце через плечо перекинута. Повела Любу в комнату. На стене ковер, подоконники вазами хрустальными заставлены.

Вот как люди живут!

И опять Любу одну оставили...

\* \* \*

Зина вернулась на кухню, выключила горелку под кастрюлей, в которой тушилось мясо. Сын налил кофе в большую чашку и пил без молока.

— Смотри, с молодых лет сердце расшаталась! — Она была недовольна мальчишкой.

Сын напомнил:

— Тебя там человек ждет.

— Это мое дело. А не хочешь в ГИТИС, подавай в МАИ. Эх, глупая твоя голова...

Рука сама потянулась к слитым тяжелым кольцам его волос.

— Мне МАИ до фени, — сказал сын, — я эту математику ненавижу.

Вот так. Все хотят жить по-своему. Человек верное дело в руки взять может. Приятное, красивое дело. Ему прямая дорога в ГИТИС. Его оттуда в театр «Ромэн» с руками оторвут. Собой хорош, и голос есть. Ну, не такой, как у Сличенко, зато молодость. Не хочет! А на что ему филология? И что это за

наука, чтобы на нее пять лет тратить? Девчонка его тащит. Любовь. А что потом будет, когда любовь кончится, а филология останется? Специальность не жена, с ней не разведешься. Мать знает, где его счастье, но свою голову ему не приставишь.

— Пустое дело, — сказала она, — цыгане никогда филологией не занимались.  
— Цыгане веками посуду лудили и коней крали. Кстати, тебя там женщина ждет.

Нарочно сказал. С намеком. Щенок. А на какие деньги ты в замшевом пальто ходишь?

Зина знала за собой не поддающиеся разуму секунды гнева. Она с размаху ударила сына по щеке. Он закрыл глаза, и длинные ресницы легли ему на щеки.

А как ей, гневной и встревоженной, сейчас к клиенту выйти? Разум у нее должен быть спокойный, глаза зоркими, голос твердым. А сейчас что поймешь? Чем поможешь? Самой кто-нибудь помог бы.

Вздыхнула несколько раз, высоко поднимая грудь, чтобы успокоиться.

Вообще-то это ничего, что ждать заставила. Женщина, когда ждет, больше растрожится и больше себя откроет.

Зина сняла с плеча полотенце, смочила водой и пригладила волосы надо лбом.

Сын подошел к крану — помыть за собой чашку.

— Брось, — сказала она примирительно, — сама вымою.

Вышла из кухни в комнату и молча оглядела женщину.

Не старая. Глаза бегают. Жадные. Губы скорбные. Что ее привело? А первые слова надо сказать такие, которые доверие и уважение вызовут.

— Пропажа у вас...

Женщина еще горше губы поджала, подбородок задергался.

Вздыхает, а держится. Сама ни нет, ни да не скажет. Значит, со своей стороны тоже проверяет.

Зина пригласила:

— Садитесь.

Устроила у стола, чтобы свет на лицо падал, сама напротив села, карты из ящика вынула. Этим картам лет пятьдесят будет. Еще мать Зины по ним гадала. Карты темные, набухшие, с мечами да желудями. Иногда действительно правду показывают.

Тасовала Зина карты не торопясь, чтобы дать женщине время расслабиться.

— Что-то мне ваша личность знакомая, — робко сказала Люба.

— Вполне возможно. Я газетным киоском заведу здесь за углом. И «спортлото» продаю. Газеты покупаете?

— Я в этом районе в первый раз.

— А раньше я у Октябрьского метро работала. Тоже в киоске.

— Ну, там я вас, возможно, видела. Значит, вы тоже работаете?

— Неужели! — сказала Зина. — Мне, как и всем, бюллетень бывает нужно. И пенсию — в дальнейшей жизни.

— Ну да, да, — закивала Люба.

— А это я просто людям помогаю. Всякий раз думаю — брошу, не приму никого. А люди приходят, просят. Ну как откажешь? Надо помочь, раз у меня такая возможность есть.

— Ну да, да, конечно.

Зина шлепнула карты на стол.

— Положи левую руку на колоду и думай про свою заботу, — приказала она.

— Сейчас я вам открою, какое ваше положение. За это — три рубля. А насчет помощи — другой разговор.

Король трефовый выпал, дама бубен и семерка пиковая — печаль. Вот и не верь картам!

— Мужчина вроде рядом, да не с вами. С разлучницей.

Заплакала Люба. Не вынесла.

— Увели его у вас! — уже совсем уверенно сказала Зина.

А уж как уводят, это Зина знала. Тут что ни скажи — все в точку.

— Сначала ласковый был, верный. Потом иначе дело пошло. Отходить стал — и сердцем и телом.

Люба заплакала.

— Теперь вроде и совсем его с вами нет...

— Отметила я его, выписала...

— Деньги тебе из казенного дома...

— Алименты, — вздохнула Люба.

— Ребенок возле тебя.

— Володечка...

— За него болееешь. Ты свою жизнь можешь устроить. Вполне можешь! Есть один человек, он возле тебя ходит. Но ты своему ребенку чужого отца не желаешь.

Что-то Люба такого человека не замечала. Но гадалке виднее. Вполне возможно, это завскладом Федор Иванович. Он, как встретится с Любой, всегда пошутит: «Как жизнь молодая? Какое самочувствие?»

— Врать не буду, карты показывают — остается тебе дорога долгая и тяжелая. На ближайшее время одинокая. А на дальнее время — это другое гадание нужно.

Зина собрала карты, отсчитала двадцать одну и раскинула — для дома, для сердца, что было, что будет, и остальные, как положено. А в самом конце — чем сердце успокоится. Вышло — надеждой.

Люба достала из сумочки три рубля. Ей за них целый день на работе вертеться, а эта за десять минут огребла да сунула куда-то, Люба и увидеть не успела.

— А помочь как-нибудь можно?

— Трудно этому делу помочь. Сама виновата — до развода довела. Теперь вдвое тяжелей.

— А сколько все же вы за это взяли бы?

Зина подумала.

— На работе у него была?

— Директор отказал принять. Партийный секретарь у них женщина. Она в отпуску была, с понедельника заступает. Схожу к ней.

— Ты меня слушай. Я сколько могу, буду помогать. Ты и так уж много

упустила. На работу, конечно, сходи. А то и повыше можно. Другие в газету пишут — тоже иной раз помогает. Он выпивать любит?

— В компании, по праздникам. А так — нет.

— Это плохо. На алкоголь сейчас большое внимание. Ну, что я вам скажу? Дело очень трудное. Только вас, как женщину, жалею. А то и не взялась бы. В пятницу принесешь мне рубашку его — обязательно ношеную, — две пачки иголок да сто рублей денег.

— Сто рублей! — откачнулась Люба.

— Это деньги не мои будут, — строго сказала Зина. — Если за два месяца не вернется, я девяносто обратно отдам. А уж десять за труды пойдут. И тоже не мне — старухе одной, которая слово знает.

— Я ребенка одна воспитываю, скостили бы хоть половину, войдите в положение...

— Ох, не торгуйся, женщина! — предостерегающе подняла палец Зина. — Это дело не торговое.

— Нету же у меня ста рублей! И до полочки еще неделю жить! — заплакала Люба, будто у нее и вправду не было денег.

— Последнее мое слово — восемьдесят. Вы, женщина, за счастье свое боретесь. Тут с расходами считаться не приходится.

Люба поняла, что больше ей не уступят. Настроение людей она всегда хорошо понимала. Бывало, Онин с сестрой своей в кухне тайком пошепчутся, а ей уже ясно, что ее, Любу, обсуждают. И тут поняла — рассердилась гадалка.

— Вы уж, миленькая, покрепче сделайте...

Зина усмехнулась:

— Меня учить не надо. Только если в ближайшее время придет, то постарайся, чтобы он твою вещь с собой унес. Духами пользуешься?

— Одеколон есть. «Лето».

— Ну, полей своим одеколоном хоть платок какой-нибудь и в карман ему залож.

Зина все хорошо втолковала своей клиентке. Теперь она пойдет по начальству,

по общественным организациям. А Зина свое дело сделает. Заколет иголками рубашку у сердца, у горла, рукава заколет — не просто, а с наговором. Душно человеку станет, сердце заболит, руки, ноги ослабнут. Домой потянет. И бывало — возвращались мужья к женам. Ну, а если нет, так деньги не просто отдашь, потянешь месяца три. Другой и надоеет ходить. А придется отдать — тоже не убыток. Десятка останется.

— А вы не интересуетесь журналы получать? Я вам «Здоровье» могу выписать. Сейчас многие по «Здоровью» лечатся. Я даже «Работницу» могу оформить. Очень дефицитные издания.

Нет, не заинтересовалась Люба. Что ей журналы, когда жизнь разбита.

Проводив клиентку, Зина пошла на кухню. Сын чистил картошку. Сам догадался. Золотой ребенок. С детства приученный к труду. Когда Зина работала дворником, поднимала его в четыре часа утра, и они шли вместе очищать улицу и двор от снега. Не для помощи, какая от ребенка помощь. Боялась, что разболтается, разбалуется. До сих пор она его жизнь по-своему поворачивала и добилась того, что он ей принес золотую медаль из школы.

А теперь ее сын страдает душой. Ну не все ли равно, кем он будет? Лишь бы здоров да счастлив. Если не были филологами цыгане, пусть ее мальчик будет первым.

— Больно я тебя ударила? — сурово спросила Зина.

Он посмотрел на мать и улыбнулся:

— Мне твоя рука не тяжела.

Не помнит зла ее сын. Счастливая будет женщина, которой он достанется.

— Поступай куда хочешь, — сказала Зина, — делай, как тебе лучше.

И добавила на всякий случай:

— Только потом уж не кайся...

Того, что велела ворожея, Люба не сумела сделать. Платок, одеколоном надушенный, так на трельяже и остался. Рубашку, правда, отнесла. Одежды Викторовой у Любы припрятано много. Он никогда не знал счета своим

вещам, а у нее Володечка растет. Иголок две пачки тоже отнесла. Расход небольшой. А деньги отдавала с трудом. Три полочки копила — только собралась на книжку положить, — а тут своими руками отдай. Ну, на устройство жизни не жалко, но, если не вернется Онин, Люба свои деньги вытребует. Она деньгами не швыряется!

В субботу Володечка попросил два рубля на абонемент. В городском лагере решили последние недели перед учением поводить пионеров по театрам и концертам.

Люба денег не дала.

— А ты скажи, сынок: мы с мамой одни живем, нас папка бросил. У мамы денег на театры нет. Не бойся, возьмут они тебя, не оставят одного.

А он даже в лице переменялся.

— Есть у тебя деньги! В тумбочке лежат. И от папы ты алименты получила.

Вот они какие хитрые теперь, дети!

В воскресенье с утра Люба сыну и рубашку чистую приготовила, и галстук пионерский нагладила. А он твердо заявил:

— Не пойду!

Пришлось Любе самой тоже одеться, взять его за руку и силой привести в уголок парка, где собирался отряд.

Совсем молоденькая и ростом маленькая вожатая смутилась, покраснела, когда Люба отвела ее в сторону и сказала, что ей, одинокой женщине, не по силам выложить два рубля на развлечения сына. Однако оставить его одного, когда все товарищи будут по театрам ходить, нехорошо. И Люба надеется, что вожатая этого не допустит.

Володя изо всех сил крутил руку, чтобы вырваться.

Он не переставая шептал:

— Мама, не надо, не хочу я, мама...

— Вы ж не бросите ребенка на влияние улицы?

Володя зарыдал в голос, чем сразу вызвал интерес ребят, которые обступили вожатую и мать с сыном.

— У нас никаких фондов нет, — растерянно сказала маленькая вожатая. Но тут же заторопилась: — Конечно, мы его не оставим... Не беспокойтесь, я за него внесу...

Это предложение Любу не устроило.

Сколько там она сама получает, эта пигалица.

— С какой стати вам тратиться! Пусть Володечке коллектив поможет. Как у пионеров положено — один за всех, все за одного. Кто сколько может.

— Мама, не надо! — рыдал и весь трясся Володя.

У ребят были сосредоточенно-серьезные лица.

— Пионеры, — растерянно сказала вожатая, — придем на помощь нашему товарищу...

Она знала, что подобные благотворительные сборы не поощряются, и ничего хорошего для себя в дальнейшем не ждала. Поэтому больше она ничего не сказала.

Володя приглушенно всхлипывал и тщетно выдирался на свободу.

Но среди детей нашелся инициатор, который всегда знает, что нужно делать и чего от него ждут. Он вынул из нагрудного кармана монетку, подошел к вожатой и сказал высоким, чистым голосом, которым выкрикивал стихи и лозунги на торжественных собраниях:

— В фонд абонементу Володи Онина! — И своей формулировкой определил сущность мероприятия.

Один за другим мальчики и девочки в белых блузах и чистеньких носочках отдавали свои монетки маленькой вожатой:

— В фонд Володи Онина.

Люба прослезилась. Чтоб достать из сумочки платок, она выпустила руку сына, подтолкнув его в круг детей. Вожатая обняла Володечку за плечи.

Теперь никуда не денется.

\* \* \*

Любе все-таки везло на отзывчивых людей. И на работе к ней все хорошо относятся. Хотела она в понедельник поехать к Онину на место службы — Вера Петровна остерегла. Понедельник — день тяжелый.

Во вторник с утра Люба в партком позвонила, женский голос ответил. Ну конечно, разговор совсем другой: пожалуйста, приходите к трем часам.

В проходной, только назвалась, ей сразу пропуск выдали. И перед кабинетом ждать не пришлось. Встала ей навстречу женщина в джерсовом костюмчике, блузочка в прошивках — русское шитье называется. Молодая еще женщина, загорелая, видно, на юге отдыхала.

Меня зовут Лариса Андреевна. Она я, — сказала Люба, — жена вашего сотрудника.

И заплакала. Потому что какая уж теперь жена, когда разведенные?

Она какое-то время плакала и удивлялась, что ее не успокаивают, не уговаривают: «Возьмите себя в руки», «Выпейте водички...»

А Лариса Андреевна знала, что это пустые слова. Как взять себя в руки, если нестерпимо болит зуб? А душевная боль так же тяжела. Хлопоты вокруг да уговоры еще больше растрavляют человека. Лучше помолчать. Она смотрела на миловидную скуластенькую женщину, которая понемногу успокаивалась и сморкалась в платочек. Ее мужа Лариса знала. Человек неразговорчивый, замкнутый. Работник хороший, из тех, про кого говорят: «Золотые руки». Общественно малоактивный, но поручения выполняет аккуратно.

Утром она говорила с Ониным. Разговор был короткий. «Все невозможно», — повторял он без конца. Лицо Онина сделалось каменным. Лариса знала — не ее дело сводить, уговаривать. Ее задача только подтолкнуть людей друг к другу, если в них еще сохранилась любовь.

Любовь... Сколько про нее говорят, сколько поют! «Любви все возрасты покорны» и «Законов всех она сильнее...» Что-то в свои тридцать пять лет Лариса Андреевна про нее почти ничего не знает. Дружба? Пожалуйста! Про дружбу она хоть сейчас диссертацию защитит!

«Ларочка, ты мой лучший друг!» — говорят мужчины, которых она готова

была полюбить.

Первый раз это был муж ее подруги. Ларисе казалось, что это человек, созданный по ее идеалу. Между ними всегда была счастливая неловкость, и потому Лариса никогда не оставалась с ним наедине и не поднимала на него глаз. Подруга умерла в одночасье. Все дни пошли в угаре отчаяния. Пятилетнего Павлушу Лариса взяла к себе. Она по вечерам готовила еду и утром до работы относила неутешному вдовцу завтрак, обед и ужин. Она добыла ему путевку в санаторий. Она взяла на себя все заботы по его дому и устройству его дел. На вокзале он целовал ее руки, он доверил ей своего ребенка, свою жизнь. А вернулся из санатория влюбленный и проникновенно советовался с Ларисой, этично ли ему жениться через три месяца после смерти жены. Сейчас он ее лучший друг.

С Лешей было еще проще. Ему не хватило минуты, чтобы объясниться с ней. Все шло к тому, но вдруг зазвонил телефон. У Лешки тяжело заболела мать. Конечно, Лариса не оставила его. Месяц она провела у постели его матери. Вместе поднимали грузную старуху. Лариса мыла и обтирала ее бессильное тело, кормила, обстирывала. Когда мать поправилась, Леша сказал: «Я этого не забуду никогда! Ты мой лучший друг!» Лариса и сама чувствовала, что месяц трудной и грязной работы, которую они делали вдвоем, уничтожил едва родившуюся любовь. Теперь ей Леша — брат. Позавчера он встал в пять часов утра, чтобы встретить ее на аэродроме на своей машине цвета «белая ночь». А его жена Симочка — лучшая подруга Ларисы.

В юности Лариса мечтала, что у нее будет пять мальчиков и все с голубыми глазами и черными волосами. Теперь она смеется: «согласна на одну девочку любой расцветки». А у этой похожей на лисичку женщины есть сын и был муж, которого она потеряла...

У Виктора Онина стало беспомощно-затравленное лицо, когда Лариса заговорила с ним о его семейных делах. «Невозможно!» — отшатнулся Онин, когда Лариса попыталась убедить его в необходимости найти общий язык с женой. Люба спрятала платок в сумочку, глубоко, прерывисто вздохнула.

— Простите меня. Нервы так сильно расшатались, прямо никуда не годятся. Вы, наверное, знаете, как у нас получилось. Член партии, а сам семью разрушил. «Витечка, говорю, милый, скажи хоть словечко, за что ты нас бросаешь? Ты же, как партиец, должен пример жизни подавать».

Она быстренько поглядывала на Ларису, проверяя впечатление от своих слов.

— Ведь я тоже, как говорится, человек. Может, и я в чем не права? Мне учиться в жизни не довелось. А ты, говорю, развитой, партийный. Объясни мне мою ошибку, я исправлюсь. Верно я говорю?

Лариса молчала.

— Вы меня, конечно, не знаете, но можете хоть на работе справиться. Я такой человек, что меня все одобряют. Он у меня, бывало, весь накрахмаленный ходил. А прошлый раз смотрю — манжеты все обтерханные, воротничок черный. «Витечка, милый, говорю, что же она тебе рубаху не стирает?» Ну конечно, сердце не выдержало, обозвала ее. Поймите меня правильно, как женщина. А он стулом замахивается. Вы справьтесь в нашем отделении, сколько раз соседи милицию вызывали...

— Вы смолоду хоть любили друг друга? — спросила Лариса.

Это было ее личное любопытство, и поэтому вопрос был лишним. Но Любу он не смутил.

— Неужели! Я самостоятельная была. У меня комната своя, а он у сестры всю жизнь на раскладушке спал.

— Ну, а интересы общие у вас были?

— У меня были! — твердо ответила Люба. — Я его всегда просила: «Витечка, милый, давай сэкономим, софу румынскую купим». Это он и слышать не хотел. Ему подавай по рублю в день. На обед, на сигареты, на дорогу — насчитает, так и рубля не хватит. А приносил в аванс шестьдесят да в получку пятьдесят. А что-нибудь приобрести — у него к этому никакого интереса не было...

— Я имею в виду духовные связи.

Люба подалась вперед в готовности ответить как нужно, как правильно.

— Как это, простите, я недопоняла? Если насчет церкви, я, конечно, не хожу, а из праздников отмечаю ноябрьские, Первый май. Тогда и пол-литра покупаю, и студень варю, и торт делаю. Так он, поверите, последние два года никогда и дома не посидел. То ему фотографировать надо, то дружками отговаривается. Теперь-то я, конечно, понимаю, куда он ходил...

— Я о другом, — обреченно сказала Лариса.

— А о чем? — с готовностью спрашивала Люба Онина. — Вы только мне скажите — о чем? Я вам на все вопросы отвечу. Например, он и ребенком не интересовался. Уроков не спрашивал, а пустяками голову забивал. То в шахматы учил, то как рыбу ловить. Я, бывало, скажу: «Витечка, он же по русскому отстаёт, а ты черт-те чем занимаешься!» Ну, разве я не права?

Люба волновалась. Она не могла понять, как расположить к себе эту женщину — такую обычную в своем джерсовом костюме. Люба таких костюмов может себе купить хоть десять, ей это по средствам. И жизнь она лучше понимает, хотя, конечно, образования не получила. Что ей еще сказать? Ну, жили как все люди. Чего не хватало? Получалось, что Лариса Андреевна это знала, а Люба нет. Только вроде краешком веет, а уцепиться не за что...

— Чего же вы теперь добиваетесь? — спросила Лариса. — Дома он не хозяин, денег приносит мало, ребенка не воспитывает. На что он вам?

Можно ли так говорить? Недаром директор завода называет Ларису максималисткой и внушает: «Ну ладно — стратегия. А тактика где?»

Люба такого не ждала.

— Вот вы как рассуждаете! А позвольте вас спросить, должна я в своей жизни друга иметь?

— Да ведь не друг он вам!

— Он — отец, — непримиримо сказала Люба. — Плохо ли, хорошо ли, а я домой приду — все не одна. Вы не думайте — мужа я себе всегда найду. Наш завскладом, солидный человек, за мной по пятам ходит. Но я так рассуждаю, что отца ребенку не найду. Права я или нет? Ради сохранения семьи, понимаете?!

— Семейю строят двое. У вас она не сложилась. По его ли вине или по вашей — мне трудно судить, да и к чему это сейчас...

— Какая же моя вина? Какая? Вот вы все вокруг ходите, а прямо не говорите. А мне можно сказать: я прислушаюсь, я переимчивая, я все сделаю, как вы скажете... Ради сохранения семьи...

— Что же я скажу? Тяжело ему с вами. Раньше надо было думать. Прояви вы больше щедрости...

Это Люба поняла.

— Значит, опять я виновата? Всю жизнь все заботы, все хозяйство на мне. Выкручивайся как хочешь! И еще ему щедрость проявляй. А с чего? С каких доходов? Я, простите меня, конечно, понимаю, что вы сторону своего сотрудника держите. Вам сор из избы выносить неохота. А в мое положение никто не входит.

— Я вам ничем не могу помочь, — резко сказала Лариса. — Между мужем и женой нет посредников. Не было у вас общей, единой жизни. Вот и все.

— Вы намекаете, что некультурная и ему не пара? Но вы учтите — телевизор не он, а я в дом приобрела и на книги, которые он выбирал, — самые дорогие — денег не жалела.

Люба вытерла платком глаза.

Простите, конечно, что я вас зря побеспокоила. Мне кругом советовали: пойди в его парторганизацию. Не может быть, чтобы там на такие поступки хладнокровно смотрели. Все же наше государство не стоит за то, чтобы семью рушить...

Надоело это Ларисе.

— Да какая семья? Никакой семьи у вас не было.

Шла Люба с этого завода — вся спина у нее была мокрая.

До сих пор все ей сочувствовали, Виктора ругали, а тут она виновата оказалась! Мучило ее, что не сумела она как следует ответить женщине из парткома, не смогла доказать свою правоту.

Какого счастья надо было Онину? Потакать всем его желаниям? Товарищей

его кормить, поить, магнитофоны да новые аппараты покупать, по курортам ездить? Говорил, бывало, Виктор: «Съездим, Любушка, в отпуск на Карпаты?» Люба ему сейчас же: «А денег где возьмем?» А он не то чтобы сказать «заработаю», мол, или «обеспечу», так беззаботно отвечал: «Займем где-нибудь сотняжку».

Вот от этой беззаботности, от такого отношения к деньгам у Любы сердце закипало и она на крик срывалась. А Онин качнет головой: «Скучно с тобой, Любовь Яковлевна» — и шашь из дома.

Деньги у нее были, и занимать ничего не надо. Но он-то этого не знал!

Люба подумала — точно над пропастью встала: вдруг бы ей согласиться! Так, вроде небрежно, сказать: «Чего мы на Карпатах не видели, Витечка, поедем лучше на Черное море, в Сочи». Вот бы он взвился! И карточек бы там нафотографировал — память на всю жизнь.

А что, если открыться Онину? «Смотри, Витечка, сколько у нас денег? Только всегда помни — это жена твоя накопила!» Если он сейчас дома окажется — Люба так и сделает. Все книжки перед ним разложит:

— Покупай, Витечка, «Жигули», как ты всегда мечтал, — в Малоярославец за грибами ездить!

В жар бросило Любу от этого видения — как Виктор рассматривает сберкнижки, которые она всю жизнь по щелям прятала. Глазам небось не поверит, станет спрашивать: откуда да как? «Все своим трудом, своей экономией накоплено, за которые ты меня и бросил. А я такой человек — все для семьи».

Так ведь нет семьи, не придет домой Онин.

«Погибла любовь. Наше счастье промчалось. И сердце навеки разбитым осталось...»

Раньше пела Люба эту песню — не вникала. А теперь ей каждое слово чувствуется, словно про нее сказано...

Завскладом Федор Иванович в среду все внуком похвалялся. Всем под нос карточку совал, какой у него внук замечательный. Люба — так, с подходцем

— поинтересовалась:

— И жена у вас замечательная?

— Других не держим, — говорит.

Все у него замечательные. Как тут свою жизнь устроишь?

\* \* \*

В местком была безвозвратная ссуда. Люба давно заявление подала — рассчитывала пальто Володечке на зиму купить. Майка Гаврилова, мать-одиночка, тоже на эту ссуду зарилась. У нее такое преимущество, что двое ребят. Но все склонялись к тому, чтобы Любе дать. Она человек положительный, работник образцовый, а Майка детей невымытых, голодных дома побросает, а сама в самодеятельности танцы танцует. Работник никакой — день работает, неделю бюллетенит.

Вызвали их на заседание, Майка в три ручья плакала: и мать у нее заболела, и у детей корь, и сама слабая, а Люба стояла, слушала и ничего не говорила. Жалко ей что ли, стало Майку Гаврилову, которая перед получкой у людей по рублю занимала. Да ведь своего-то ребенка больше жалко, если он без пальто бегать будет. А потом вспомнила про свои деньги — гори все синим огнем, неужели я сыну пальто не куплю!

Без спору согласилась, чтобы ссуду Майке отдали. Пришла на свое рабочее место, ошеломленная собственным решением. И все рассказывала, как уступила Майке, и похвалялась, и жалела себя. Одни потери у нее. Про гадалку Люба раньше никому не говорила, а тут, растревоженная, поделилась с Верой Петровной.

— Я думала, ты поумнее, — сказала Вера Петровна. — Это же надо, своими руками такие деньги отдать! Она их тебе в жизни не вернет!

«Вернет», — подумала Люба. Она подсчитала свои убытки. Вместе с уступленной Майке ссудой — сто тридцать рублей. И хотя твердо надеялась, что с Зины свои деньги взыщет, все же расстроилась.

Дома пусто. Никто не встретил, никто не спросил, здорова ли? Как дела? Как настроение?

Положила Люба мясо, что с собой принесла, в холодильник, пошла в ванную руки вымыть и ужаснулась. Все грязное белье из ящика выкинуто на кафельный пол, и ящик пустой. А на дне под бельем хранились у Любы все ее сберкнижки!

Она так рассудила: кто туда полезет? Ни одной книжки в ящике не осталось. Первая мысль была — бежать по сберкассам, предупредить, чтобы не выдавали денег. Потом стала думать: кто украл? И сразу уверенно решила — соседка! Знает, что Любы целый день дома нет, а ключ к двери трудно ли подобрать? Куда сначала бежать — в милицию или в сберкассу? Сердце у Любы стучало и голова кружилась, еле дошла до серванта — валерьянки накапать.

И вдруг на обеденном столе увидела все свои книжки, раскрытые на страничках, где обозначена сумма. А поверх каждой книжки — грязный и рванный Володечкин носок.

Люба присела на стул. Ей стало легче. Книжки дома. Она их собрала, пересмотрела, спрятала на груди. Потом, по привычке к аккуратности, собрала Володечкины носки и протерла стол тряпкой. Еще когда он из лагеря приехал, Люба обещала купить ему новые носки, да все как-то забывала. А он хватился — чистых нет, полез в грязное белье да добрался до сберкнижек. А рванье положил, чтобы укорить мать. Вылитый подлый отцов характер!

Люба быстренько сообразила, как она объяснит сыну эти деньги. Ну, алименты она собирает, чтобы к совершеннолетию у Володечки сумма накопилась. А остальные деньги — чужие, ей доверенные на хранение. Сотрудники попросили на свое имя положить. Вера Петровна или еще кто.

Она уже совсем было успокоилась, но тут увидела на клеенке лист, вырванный из тетради, и на нем рукой сына написано: «Больше не приду».

— Как это «не приду», куда же ты денешься? — чуть не крикнула Люба.

Конечно, куда он побежал, Люба знала. К тетке своей, сестре Виктора,

которую Люба называла убогой. Катерина была много старше брата. Замуж вышла за неделю до войны и через месяц уже осталась солдатской вдовой. Она по доброй воле пошла на фронт, провоевала два года, получила тяжелое ранение, осталась хромой на всю жизнь. Живет одна, всех жалеет, всех кормит. За душой — ни гроша. Сколько ей Люба внушала: «Наймись хоть с ребеночком гулять, за это сейчас хорошо платят». — «А ну его, говорит, хватит мне пенсии, всех денег не заработаешь». Целый день книжки читает да конфетки грызет. Поперек себя шире стала.

Раньше Люба приходила к ней по-родственному — посуду чистила, полы мыла, стирала. А теперь с какой стати? Как Виктор ушел, Люба у Катерины ни разу не была. Кончилось родство.

Володечка, конечно, к ней побежал. Все же сердце материнское тревожится. И телефона у Кати нет. Домишко, где она живет, давно подлежит сносу.

Потащила Люба в Замоскворечье. Все здесь переменялось. Почти вся улица снесена — два последних домика своей очереди дожидаются. Дадут теперь Кате однокомнатную квартиру. Только у нее и там порядка не будет.

Все знакомо Любе в этом деревянном доме. Запах кислых щей и вечных стирок, двери, обитые рваным дерматином. Отскобленные добела полы в местах общего пользования. Она без стука открыла двери в Катину комнату и, убедившись, что Володечка тут, живой и здоровый, изобразила на всякий случай тяжелое душевное потрясение — бессильно опустилась на стул, прижав одну руку к сердцу, другой закрыв глаза. Но прежде успела увидеть стоявшего возле шкафа Виктора. Одет он был по-домашнему — в майке и заношенных тапочках.

— Смотри-ка, кто к нам пришел! Любочка, дорогой гость! — запричитала убогая, и Люба почувствовала, как мягкие руки обхватили ее голову и прижали словно к большой подушке.

И тотчас, как застопорившийся на одной бороздке патефон, забубнил Володечка:

— Не пойду с тобой... Не пойду...

Люба открыла глаза и, представляясь, будто еще не видит ни Катю, ни Виктора, с надрывом в голосе обратилась к сыну:

— Ты хочешь, чтобы мама умерла? Ты этого хочешь? Я пока сюда доехала, у меня десять раз сердце остановилось...

А сама с ликованием разглядела у стены старую раскладушку Виктора, несвежую наволочку на подушке, старенькое, знакомое Любе байковое одеяло.

Теперь она в два счета отобьет у гадалки свои деньги! Надо же так людей обманывать! Не было у Виктора никого! Нет никакой разлучницы! Живет он действительно у Кати по своей глупой причуде. Сразу уверилась Люба: вернется к ней Виктор! А уж если Володечка рассказал про сберкнижки, так и вовсе никуда не денется!

Но радости не показала.

— Собирайся сейчас же! — строго приказала сыну.

Катерина заволновалась:

— Что ты, Любочка, уж в кои веки пришла, так погости. Чаю сейчас поьем. Может, в последний раз в родительском гнезде посидим. Переселяют нас.

Не обращая внимания на Катерину и уж точно совсем не видя Виктора, Люба строго выговаривала сыну:

— Что это за мода — из дома бегать? Расковырял, видите ли, что не следует, ничего толком не понял — и характер свой стал показывать!

Тут она не удержалась и быстренько взглянула на Виктора, чтобы понять, знает он или нет.

Виктор смотрел на нее с каким-то непонятным сожалением...

— Будет тебе, Люба, садись-ка лучше чай пить...

А Катя уже выставила на стол пряники медовые, карамельки лимонные.

Села. Чай пили молча.

Володечка домой не пошел.

— Я здесь буду жить.

— Да тебе тут и спать негде!

— Я на полу лягу...

Виктор сказал:

— Оставь его. Там видно будет.

И опять взглянул на нее с жалостью, как на больную.

А Люба эти его слова приняла как обещание, как отпущение. Вернутся! Оба прибегут! Только если Онин думает алименты не платить, пока Володечка у него поживет, так пусть не рассчитывает...

\* \* \*

На другое утро, в субботу, Люба надела платье ацетатного шелка и красные босоножки, шарфик на шею. Прежде чем выйти из дома, заглянула к соседке: — На всякий случай я вам адресок оставлю. Если к вечеру не вернусь — звоните в милицию. Пусть меня по этому адресу ищут.

И, сделав такое сообщение, отважно пошла отбивать у гадалки свои трудовые деньги.

## **Мы принимаем иностранцев**

Субботный день начался как обычно. Таня с утра стала разбирать свои наряды, собираясь большую часть сдать в комиссионку, потому что в воздухе уже носились новые веянья — и, если их не уловить и не воплотить сегодня, завтра будет уже поздно.

В этой непрекращающейся погоне за модой с удовольствием приняла бы участие и Люся, но Таня была свободна, ее связывала только служба, она добросовестно и даже с увлечением отработывала свои часы в Метеоцентре, а дальше время принадлежало ей, Люся же была аспиранткой. Ей предоставлялась возможность распоряжаться своим временем как угодно, оно зависело только от нее самой. Работай над диссертацией и через два года обогати науку по языкознанию. Никто тебя не контролирует. И вот именно эта

свобода не давала ни одного беззаботного дня. Стол завален книгами, словарями, журналами, Люся прикована к столу неистребимым чувством долга.

— Ничего, сестренка, — сказала Таня. — Я сейчас шелковые майки отдам в окраску, себе в зеленый, а тебе в оранжевый. Не беспокойся, труженица ты моя бедненькая!

— Самое главное в жизни труд, — раздался строгий мамин голос из соседней комнаты. — Остальное приложится.

— Ах, пусть не прилагается! Ничего мне не надо, — сказала Люся. — Ты только предупреди, когда будут красить, чтоб мой цвет максимально приближался к апельсину. Тогда будет хорошо смотреться и с серой и с черной юбкой.

Люся села за свой стол и сосредоточилась на семантической классификации существительных со значением чувства.

Тотчас зазвонил телефон. Таня сосредоточенно подводила глаза, мама ушла на кухню. А телефон надрывался. «У нас позанимаешься!» — Люся сняла трубку.

— Люсенька, сестричка, — заорал радостный Юркин голос, — а я уже испугался, что дома никого нет! У меня на вас одна надежда!

— Что случилось?

— На моей шее сейчас иностранцы — смешанная группа, большинство итальянцев и скандинавы, замечательные ребята. Но у них, понимаешь, идея во что бы то ни стало побывать в семейном доме. Провести вечер в советской семье. А куда я их поведу?

— Не знаю, не знаю, — сухо сказала Люся.

— Не подхватываешь мою мысль? Не сердись, выручи! Наш автобус их и привезет и увезет. Двенадцать человек всего!

— Юрка, ты с ума сошел. Что я с ними буду делать?

— Совершенно ничего не надо с ними делать. Я им устрою ранний ужин и сразу к вам. Посидят в домашней обстановке, потанцуют. Простые хорошие

люди. Угощать ничем не надо.

— Ну да, не надо! Как это можно?

— Они же сытые после ужина. В крайнем случае самый пустячок. По рюмке вина, по конфетке. Как сейчас принято в Европе.

— Мне заниматься надо!

— Занимайся. Они раньше шести не приедут. Простые хорошие ребята. Двое — капиталисты, остальные — вполне социально близкие.

— Ты всегда что-нибудь такое придумашь...

— Спасибо, сестренка! Ты меня здорово выручила. У меня вечером — перевод фильма в Доме ученых, без подготовки, прямо с экрана. Значит, к шести. С меня все расходы!

Он повесил трубку. Таня ждала. Ей было интересно, что учудил Юрка, двоюродный брат, полиглот, переводчик Интуриста.

— Ужас! Двенадцать человек! Что будем делать?

— Главное выдержать европейский стиль, — сказала Люся.

— Бутерброды?

— Ты еще борща им предложи! Бутылка коньяку, вазочка конфет типа «Золотой ключик». Больше ничего.

— Коньяк очень дорогой.

— Взыщем с Юрки!

— А не лучше наливку домашнюю из черноплодной? — предложила из соседней комнаты мама.

— Мамочка, — очень терпеливо сказала Люся, — иностранцы любят армянский коньяк. Ты можешь это понять?

— Ну да, академиков принимала, генералов принимала, а тут не понимаю...

— А иностранцы — это совсем другое! — не сдавалась Люся.

— Ладно. Делайте как хотите.

Таня была в общем готова к выходу, так что провозилась не больше пятнадцати минут — и ушла за покупками. А Люся немного посидела, сосредоточившись на предстоящем приеме. Она всегда сперва намечала про

себя объем и последовательность действий, а потом срывалась как заводная. Полотер заглушал все остальные квартирные шумы, но, когда он наконец умолк, Люся услышала знакомые шлепающие и чавкающие звуки. Она выскочила в кухню. Мама, согнувшись над квашонкой, месила тесто.

— Мама, ты что это затеяла?

В их доме не было принято так разговаривать с матерью. Люся повторила, смягчая первый взрыв:

— Что это ты делаешь, мамочка?

— Иди, иди себе! — недовольной скороговоркой ответила мама. — Что мне надо, то и делаю. Будешь еще меня контролировать.

«Не допущу! — сказала себе Люся. — Ни за что не допущу!»

Пришла Таня с покупками и цветами. Мама заглянула в дверь.

— Не люблю я эти гладиолусы. Холодные цветы. И что это вы комнату так оголили?

— Европейский стиль, мамочка.

Таня озабоченно сказала:

— Хоть немного надо продумать, о чем с итальянцами изъясняться. Языка не знаем, ну хоть полопочем — ах, Анна Маньяни! Ах, Феллини! Ах, неореализм! А еще что? Какие у них современные писатели? Пиранделло? Карло Леви?

— С писателями поосторожней. Я как-то с американским физиком все о Хемингуэе распространялась, а он, оказывается, даже имени этого не слышал. Но, между прочим, мама тесто на ватрушки поставила. Сорвет она нам прием! Таня пошла на кухню.

— Мамочка, ты на что квашонку завела?

— Далась вам моя квашонка! Она вас не касается, — непримиримо ответила мама. — Я в ваши дела не мешаюсь.

Ходики с кукушкой показывали половину четвертого. Решали ответственный вопрос — в чем принимать иностранцев? Одеться следовало хитро: нарядно, но как бы по-домашнему. К пяти часам были готовы. Таня — в мягких желто-коричневых тонах, Люся — в лиловом. На лице — легкий тон, губы не

подкрашены. Элегантный домашний вид.

Ровно в шесть, едва откричала кукушка, телькнул звонок. Европейская аккуратность. Вернее, Юра торопился в Дом ученых. Таня встречала гостей у входа. Люся у дверей комнаты.

Они проходили гуськом, и каждый, приветственно подняв руку, повторял по одному русскому слову: «Привет, привет», «Дружба, дружба», «Мир, мир». А высокий, беловолосый почти вдохновенно скандировал: «Под-мос-ковный ве-че-ра! Под-мос-ковный ве-че-ра!» На что Таня и Люся, светски улыбаясь, отвечали: «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте».

Самое трудное — всегда начало. Иностранцы топтались по комнате, осматривались с доброжелательным интересом. Потом, побуждаемые хозяйками, расселись по местам. Двое были пожилые — один из них высокий, очень красивый, тщательно одетый, другой толстый, лысый, — очевидно, это и были капиталисты. Остальные — среднего возраста, а четверо — совсем молодые в облезших по моде джинсах и битловочках.

Молчание уже стало затягиваться. Таня в таких случаях «уходила в кусты» и ждала Люсиных действий. А Люся, понимая, что вся ответственность за прием возложена на нее, шагнула к проигрывателю и чуть не опрокинула беловолосого, который уселся на низкий пуфик. Он поднял к ней лошадиное лицо с большими серыми глазами и улыбнулся, показав крупные зубы. Вылитый Фернандель — только молодой и похорошевший. Люся пустила проигрыватель и разлила по рюмкам коньяк.

— О, аперитив! — оживился толстый капиталист и, прежде чем выпить, повертел рюмочку и долго принюхивался.

Все дружно подходили к подносу с рюмками. Люся тоже выпила для храбрости, которая была ей необходима, чтобы начать танцевать.

Закрутив руками над головой, покачиваясь, то приседая, то поднимаясь, она подала пример гостям, и за ней выскочил крепыш с расплюснутым носом, похожий на боксера или на гангстера. Размахивая локтями, согнув колени, пошел танцевать Фернандель. Вступила в круг Таня, томно, безвольно поводя

кистями рук. Все они импровизировали, подчиняясь музыке современного танца, завораживающего ритмом, который расковывает тело, диктует движения, без обязательного чередования фигур, и кружит голову.

Когда музыка прервалась, снова выпили, потом снова танцевали. Фернандель то стелился у Люсиных ног, то возвышался над ней, как дерево. Длиннозубая улыбка не сходила с его лица. Люся подумала, что у него, конечно, есть любимая женщина, и ей вдруг стало горько и завидно, хотя полюбить этого Фернанделя нисколько не хотелось.

Потоптались под музыку и представители старшего поколения. Один даже удивил полной раскованностью своего тела, абсолютной подвижностью суставов и таким темпом, которому никто не мог следовать.

После третьей рюмки пела Эдит Пиаф. Все слушали молча. Толстый капиталист — с закрытыми глазами. Люся была уверена, что он дремал, но, едва певица замолкла, капиталист открыл свои маленькие глазки — кофейные зернышки.

Можно считать, что прием удался. Гости чувствовали себя непринужденно. Боксер-гангстер сидел на полу у ног Тани. Ваза с конфетами пустела. Фернандель откусывал сразу по половине яблока. Но в воздухе постепенно разливалась некая тревога. С нарастающей силой проникал в комнату аромат горячего сдобного теста, и кое-кто из гостей поворачивал голову к дверям и принюхивался.

Люся и Таня старались ничего не замечать. С помощью английского и немецкого они внушали итальянцам, что Феллини великий режиссер, а Мазина — гениальная артистка. Итальянцы вежливо соглашались.

Теперь снова можно было потанцевать что-нибудь спокойное. Люся перебирала пластинки, выискивая какое-нибудь нафталиновое танго...

Но тут раскрылась дверь!

Все-таки случилось то, чего они боялись!

На маме было парадное синее платье, а за ней, в смежной комнате, — раздвинутый стол с горками ватрушек, с грибами и чуть ли не с котлетами!

У Люси была очень быстрая реакция. Она тут же оказалась рядом с мамой, загораживая просвет в двери.

— Позвольте вам представить нашу маму, — сказала она, пытаясь прикрыть дверь, но мама отстранила ее твердой рукой и торжественно, как на сцене, произнесла:

— Дорогие гости, прошу пожаловать к столу.

— Ну зачем это, мамочка, ведь у них не принято...

— У них не принято, а у нас принято! — Мама холодно отстранила Люсю, пошире распахнула дверь и добавила нечто уже совсем выкопанное из древности: — Отведайте нашего хлеба-соли. Чем богаты, тем и рады.

Умница Таня быстренько пустила танго и бросилась в объятия своего гангстера, но остальные гости необычайно оживились и потянулись к двери.

— Мамочка, ну пойми, это не то... — пыталась спасти положение Люся.

Но Фернандель с радостным криком: «Не то! Не то!» — потрясая над головой сцепленными руками, ринулся в столовую.

Остальные словно того и ждали. В дверях даже потолкались. Мама, как руководитель, высилась во главе стола и объясняла, показывая на блюда:

— Ватрушки. Грузди соленые. Наливка домашняя из черноплодной рябины.

— Рябины! Рябины! — подхватывал веселый Фернандель.

А красивый, выхолненный старик капиталист вдруг произнес на чистейшем русском языке:

— Господи! Соленые грузди! Только слышал о них в отрочестве своем! — и молитвенно сложил перед мамой руки.

Люся и Таня лишились речи, но мама не растерялась. Русский на чужбине — кто бы он ни был — сам виноват.

— Снявши голову, по волосам не плачут, — наставительно сказала она, но все же усадила соотечественника во главу стола, чтобы он переводил тосты, которые провозглашала то она сама, то дядя Саня, неожиданно возникший в столовой с гитарой в руках.

Вот вам и европейский прием!

Мама властно приказала:

— Добавь-ка к столу ватрушек.

Фернандель кричал: «Вартушек! Вартушек!» — и Люся покорно шла на кухню. А что будешь делать? Все поднимали рюмки с соком рябины за вечный мир и взаимопонимание между народами.

Танин гангстер, который оказался испытателем новых легковых машин, предложил тост за любовь. Все почему-то полезли чокаяться с мамой, и, когда Фернандель потом протянул свой бокал в сторону Люси, она холодно сказала: — Лично я посвятила свою жизнь науке.

Русский перевел. Фернандель закричал нечто несогласное и возмущенно тряс головой, указывая пальцем на потолок. Он утверждал, что Люсино решение неуютно богу.

— При чем тут бог? — пожала плечами Люся.

Но Фернанделю было лучше знать — он оказался священником! А танцевал и рок и шейк, орал и хохотал и носил красные носки!

Один из гостей вдруг потребовал рецепт маминых ватрушек. Без них он уже не мыслил себе дальнейшей жизни! Все, как по команде, вытащили блокноты, но запись не состоялась. В Италии не знали ни сметаны, ни творога. Пытались заменить творог сыром, а сметану каким-то кремом, но мама сказала, что ничего не получится.

Тогда дядя Саня взял гитару. Он собирался петь для итальянцев, которые все в душе музыканты, у которых «Ла скала», Титта Руффо, Галли-Курчи, и вдруг — «Мой костер в тумане светит» или «Утро туманное» — прокуренным дядиным баритоном!

— И что ты все волнуешься? — снисходительно сказала мама. — Из-за всякого пустяка волнуешься. Люди как люди, пьют, едят, довольные. Чего тебе надо? — Кошмар какой-то! — вздохнула Люся. — «Калинку» поют!

«Калинку» пели с увлечением. Все хором одно и то же: «Калинка, калинка, калинка моя», и опять: «Калинка, калинка, калинка моя»...

Только русский капиталист, наклонив к маме седенькую голову, рассказывал,

что лет сто назад его предки очутились в Италии, обжились, женились на итальянках, но как святыню проносили из поколения в поколение русский язык, русские имена и память о Москве. Звали его Николай Александрович. Но что касается языка, то говорил он странно: «Я был разволнован» и «Будучи бухгалтером, я снял часть своих пожизненных сбережений и приехал прозвать живую святыню предков».

Мама благосклонно кивала и жалела Николая Александровича:

— Конечно, человек без корней, без родины — последнее дело.

— О нет, синьора, — живо возразил он, — я имею родину! Я был послушный сын Италии... Плачу налоги... Когда позвали воевать, я воевал...

Дядя услышал про войну и уже тут как тут. Где воевал, когда воевал?

Таня включила магнитофон, но самые горячие ритмы и призывные завывания Динни Ходлея никого не привлекли. Гости сгрудились вокруг мамы и дяди Сани. Синьор Николай Александрович время от времени что-то коротко переводил, и тогда все шумно не то восторгались, не то сочувствовали.

А капиталистами оказались не старики, а ловкий, как на шарнирах, танцор синьор Джованни и совсем еще молодой синьор Микель в самых потертых джинсах и старых вельветовых туфлях. Вот поди угадай!

Девочки быстро таскали грязную посуду на кухню, чтобы не возиться с ней потом до полуночи. Скоро в кухню пожаловала мама.

— Что же ты оставила гостей? — не без ехидства спросила Люся.

— Они в твоей комнате уединились, и дядя Саня с ними.

Люся возмутилась:

— Нет, так нельзя! Бросили людей! Пойдем, Танюша!

— Да оставьте вы их в покое! Гостю тоже иногда свобода нужна.

Таня все же побежала, послушала под закрытой дверью.

— То молчат, то хохочут, — доложила она в кухне. — Дядя Саня на гитаре играет.

— Вообще-то за границей принято, чтобы дамы после обеда покидали столовую...

— Ну и отлично! Хоть посуду успеем перемыть.

Наконец дверь из комнаты открылась, и девочки снова потанцевали и шейк и танго. Гости были оживлены, а раза два Люся заметила, как они перемигиваются друг с другом. С чего это они развеселились?

Секрет открылся, когда в передней появился водитель автобуса, приехавший за гостями.

Синьор Николай Александрович приосанился, встал у дверей и поднял руку, как дирижер, а остальные, пристроившись друг за другом, образовали шеренгу, каждый положил руку на плечо соседа, а в свободной руке все держали маленькие белые листочки, на которых латинскими буквами были записаны русские слова. Грянула гитара дяди Сани, и все, тихонько продвигаясь через комнату в переднюю и дальше к выходной двери на лестницу, пели:

Спасибо вам большой,

А мы пошли домой!

Спасибо вам большой,

А мы пошли домой...

Автор этих слов Николай Александрович один задержался в передней. Он приложился к маминой руке. Голос его дрожал.

— Благодарю, синьора, благодарю. Я нашел у вас экилибру своей души...

Он уехал последним и у лифта трижды, крест-накрест, расцеловался с дядей Саней. В доме стало тихо.

— Нет, держите меня, я падаю! — вдруг засмеялась Таня. — Синьор Ассандро сказал, что прилетит за мной на персональном самолете.

— Чепуха! — отрезала мама.

— Чепуха, конечно, а приятно...

Дядя Саня задумчиво сидел, держа на коленях свою гитару.

— А ведь я свободно мог его убить, — сказал он.

— Кого это?

— Николая. Мы с ним в сорок втором году друг против дружки стояли. На одном направлении.

— Или ты его, или он тебя, — возразила справедливая мама.

Дядя Саня помолчал, покрутил головой и тихо запел свою любимую:

Эх, дороги, пыль да бурьян...

## Эксперимент

У Карины сняли кольцо в парикмахерской, где она делала маникюр. В салон вошли два бандита. Один встал у дверей, другой обошел клиентов, отбирая деньги и ценные вещи. Карина хотела сбросить кольцо в мисочку с мыльной водой, но не успела. Потом грабители покинули помещение, приказав своим жертвам не трогаться с места в течение пяти минут.

Это случилось в одной из центральных парикмахерских Еревана среди бела дня.

На самом деле ничего подобного не было. Кольцо с плавленным сапфиром лежало в кармашке портфеля, а история его похищения являлась следственным экспериментом, который задумали осуществить студентки второго курса юридического факультета Карина и Римма.

Будущие юристы решили выяснить, как в большом современном городе распространяются слухи. Они рассказали эту выдуманную историю студенту физмата длинному Леве, Римминой тете Герселии и родителям Карины. С них должно было начаться распространение слухов. Решено было — больше никому ни слова не говорить.

— Плевал я на нынешних мужчин! — возмутился Лева. — Неужели ни один не поднялся на вашу защиту?

— Ох, ох, комнатный джигит заговорил! Откуда в дамском салоне мужчины?

Соображай...

Римма была особенно строга с длинным Левой, потому что он считался ее «любимым другом».

Тетя Герселия заклинала Карину никому ничего не говорить.

— Кольцо — пустяки. Тебе папа новое купит. Тебе будущий муж бриллиантовое подарит. Главное — не раздражай осиное гнездо. Они могут отомстить. Я об этом много читала. Главное — молчать!

Римма испугалась за эксперимент. Если тетка будет молчать, какой от нее толк?

— Ты, наверное, про итальянскую мафию читала, а это обыкновенные ереванские воришки...

Тетя Герселия не стала спорить, побежала на кухню варить кофе и потащила за собой телефон на длинном шнуре. Вскоре в комнату донесся ее взволнованный голос:

— Магдаша, ты меня слышишь? Я тебя серьезно предупреждаю — не отпускай детей одних никуда, никуда... Сегодня у одной знакомой в парикмахерской отняли дорогое кольцо. Хорошо, что не с пальцем вместе... Ну да, да, ты ее знаешь... На букву «К», больше ничего не могу сказать... Дочка Сергея Артаряна, правильно ты угадала...

— Тираж моей тетки — сто пятьдесят человек в день, — сказала довольная Римма.

Эксперимент пошел.

Сергей Иванович Артарян порывался идти в милицию. Мама отговаривала его. Сестра мамы, тетя Феня, приехавшая погостить из Тбилиси, причитала на грузинский лад:

— Вуй ме, это же какой-то бандитский город! У нас, в Тбилиси, таких вещей не бывает... Хорошо, что я сегодня уезжаю...

Сергей Иванович этого не вынес, ушел в спальню. Мама тут же за ним — проводить воспитательную работу.

— Сергей, милый, потерпи уж последний вечер. Как-никак она моя старшая

сестра. В кои веки в гости приехала. Надо, чтоб мы проводили ее как полагается. Знаешь, как у них в Тбилиси на это смотрят...

— И откуда у вас, у кубанских казачек, появился этот восточный политес?

— Ох, милый! О чем вспомнил!

Однако было время, когда Сергей Артарян и его грузинский друг Ираклий поехали на студенческую практику в кубанское село, а оттуда вернулись женатыми на родных сестрах. Старшая, Феня, — как потом рассказывала Карине мама, — «не растерялась». В семье каждый год рождался чернокудрый мальчик, чем тетя Феня прочно завоевала любовь и уважение всей обширной грузинской родни. А Карина появилась только десять лет спустя, когда Сергей Иванович уже смирился с тем, что не оставит на земле потомства...

Вечером, когда все в доме завертелись в последних сборах, вдруг выяснилось, что никто не удосужился заказать такси. Вообще-то это должен был сделать Сергей Иванович, но ограбление, которому подверглась его дочь, заставило его забыть обо всем на свете.

Тут зазвонил телефон. Троюродная сестра Лиля рыдала в трубку:

— Серго, милый, какое несчастье...

— Что с тобой, Лилия, что случилось?

— Не со мной, а с вами! Говорят, вашей Карине палец отрезали...

Сергей раздраженно бросил трубку на рычаг.

Карина не зафиксировала, по какому каналу прошел первый слух, но в конце концов это можно было сделать и завтра...

Тетя Феня, уже готовая к отъезду, судорожно пересчитывала свои вещи. Всего должно было быть одиннадцать мест.

— Чемодан раз, баул два, бутыль три, сетка четыре, посылка для Нуцы... А где термос? Термос где?

— Да у тебя в руках термос, — успокаивала ее мать.

Вышли на улицу, стали на видном месте. Такси не появлялись. Обычно зеленые огоньки шныряли взад и вперед, а в нужную минуту не было ни одного.

— Я опоздала! — причитала тетя Феня, хотя до отхода поезда оставалось еще полтора часа.

Карина волновалась, мама не смотрела на отца, а тот, бедненький, чувствовал себя виноватым и больше всех нервничал и сердился.

— Я сбегаю к стоянке, — предложила Карина.

— Пока ты будешь ходить, мы поймаем машину и придется тебя искать, — холодным и спокойным голосом сказала мама.

В эту минуту черная «Волга», которая стояла у тротуара, плавно придвинулась, и водитель, выйдя из машины, молча открыл дверцу.

— Я на неизвестной машине ночью не поеду! — решительно заявила тетя Феня.

Водитель — парень в добела потертых по моде джинсах — пояснил негромко, обращаясь к Карине:

— Машина от Газияна.

И Карина, скрывая растерянность, приказала всем садиться, а сама села рядом с водителем, зная, что ей больше беспокоиться не о чем.

Действительно, парень в модных джинсах аккуратно похватал чемоданы, баулы и авоськи, сунул их в черное брюхо «Волги», и машина покатила на вокзал, где тоже ни Сергею Ивановичу, ни Карине, ни беспокойной тете Фене таскать ничего не пришлось.

Когда тетю Феню со всеми ее вещами водворили в купе, Сергей Иванович попытался сунуть водителю пятерку, но тот со скорбно-снисходительной улыбкой отклонил гонорар.

Карине он сказал:

— Стою на площади справа.

— Не надо! — взмолился Сергей Иванович.

Но они, конечно, вернулись домой на черной «Волге».

— Как это понимать? — спросил отец, поднимаясь по лестнице.

На вопрос, заданный в таком тоне, лучше было вообще не отвечать...

Едва вошли, зазвонил телефон.

— Первый час ночи, между прочим, — сухо констатировал Сергей Иванович, когда Карина торопливо сорвала трубку.

— Андрюша, ты?

Она попыталась поблагодарить его за машину. Но он сухо прервал ее и потребовал к аппарату Сергея Ивановича.

— Меня? — удивился Сергей Иванович. — О чем ему со мной говорить?

Карина стояла рядом, пытаясь хоть что-нибудь услышать и понять, что происходит.

Отец положил трубку.

— Он говорит, чтобы я ни о чем не беспокоился и никуда не заявлял. Он это дело целиком берет на себя.

— Какое дело? — не поняла Карина.

— Насчет ограбления. Он уже все знает, все подробности. Машиной мы тоже ему обязаны? Кажется, скоро в этом доме моя роль сведется к нулю...

Карина закрылась в своей переделанной из чулана комнате и стала думать об Андрее Газияне.

Теперь она перед сном всегда думала об Андрее. Он появился внезапно не только в ее жизни, но и в городе, где люди ее возраста и ее круга, в общем-то, все более или менее знали друг друга.

Впервые она увидела его на одной из улиц студенческого района, потом в молодежном парке, где притаилась круглая обсерватория, затем в университетском кафе. Был он очень заметный — высокий, красивый. Говоря о нем, все сходились на одном слове — необычный. А почему? Не носил джинсов и пестрых рубашек, как большинство ребят, стригся коротко, песен не пел.

Очень скоро он стал провожать Карину до самого подъезда ее дома. Шел позади, за несколько шагов от нее, и ни разу не пытался заговорить.

Римма очень быстро выяснила, что он сын военного, учился где-то на Дальнем Востоке, а теперь его отца перевели в Армению и Андрей зачислен в Политехнический на третий курс.

И вообще он сын племянницы подруги тети Герселии, и Римма может в любую минуту узнать о нем все подробности.

— А мне не интересно! — сказала Карина.

— Интересно, интересно, — безапелляционно уверила Римма. — Но только вскоре он сам с тобой познакомится, у него это в плане, мне Лева сказал.

На другой день длинный Лева остановил Карину на улице. И тут же к ним подошел Андрей.

Лева сказал:

— Вы, собственно, можете считать себя давно знакомыми. Через меня. С Андреем я ходил в детский сад, а с Кариной в школу.

После этого, едва проснувшись, Карина загадывала, придет ли Андрей к концу занятий, чтобы проводить ее домой. Вспоминала его слова, выискивала в них подспудный тайный смысл, оценивала его поступки.

Как-то Андрей спросил:

— Что у тебя было с Эриком?

Что было? Дома у них вечно толклись ее товарищи по школе, потом по университету. Мама их кормила, с Сергеем Ивановичем они играли в шахматы. Это были свои, домашние мальчики. Один из них — Эрик, сын папиного товарища, — когда-то нравился Карине.

Он рос без матери, в седьмом классе забросил учебу, нахватал двоек. Девочки посоветовались и решили: надо его спасти, лучшие ученицы возьмут над ним шефство. Эрик всем им поочередно писал записки: «Я вас люблю». Даже маленькой дурнушке Гаяне написал: «Я вас люблю в этом новом платье». Девочки возмущались таким вероломством, но опеки не бросали. Эрик в конце концов выровнял отметки, получил серебряную медаль и уехал в военное училище, чтобы стать летчиком. На вокзале Карина плакала, перед отходом поезда они поцеловались. Вот и все.

Но в университете друзья Эрика обрушились на нее с замечаниями по поводу ее нравственности. Они, оказывается, оберегают честь Эрика! Они дали ему слово следить за Кариной!

Андрей выслушал ее рассказ, не делая никаких замечаний.

— Хорошо, — сказал коротко, — живи спокойно.

И с тех пор друзья Эрика перестали ее замечать.

— Что ты с ними сделал?

— Поговорил.

— Почему они тебя послушались? Почему все наши мальчишки тебе подчиняются?

Андрей усмехнулся.

Римма говорила:

— Настоящий мужчина должен быть как закрытый ящик. Что в нем — мы не знаем. Потому интересно. А например, длинный Лев? Я как глаза открыла, так его увидела. На одной улице жили, в одну школу ходили. Я все ботинки помню, которые он с детства износил. Какой у меня может быть к нему интерес?

Положим, интерес к длинному Леве у нее был.

Иногда Андрей начинал рассказывать:

— Наша семья много ездила. Жили в Чите, во Владивостоке, а то и прямо в тайге. Знаешь, есть места, где грибы выше берез, потому что березки вот такие крохотные. А когда идет на нерест кета, то вода на берегах выплескивается, так ее рыба теснит. Кету руками берешь, икру выжимаешь прямо в таз.

— А рыба?

— Рыбу долой. Она в это время невкусная.

— И не жалко ее?

Он удивлялся:

— Рыбу?

— Все живое жалко, — защищалась Карина. — Я раньше мух от липкой бумаги отмывала...

Он секунду задумался.

— Я ловил кузнечиков, связывал одной ниткой, они летали гирляндами. Сами черные, подкладка на крыльях красная. Летают, как фонарики. Красиво.

Но рассказывал он редко. Только если видел, что собеседнику интересно. Очень чувствовал отношение к себе людей.

— Твоему отцу я не понравился, — сказал он после того, как первый раз побывал у них в доме.

И в ответ на попытку Карины запротестовать приложил палец к ее губам:

— Только никогда не ври мне. Не понравился — это понятно. И даже неплохо. И поправимо.

— Почему же неплохо, не понимаю...

— Это значит, что с самого начала он принимает меня всерьез.

С восьми утра в доме начал трещать телефон. Это разворачивался эксперимент. Карина подбегала к аппарату с блокнотом — выясняла и учитывала каналы. Сначала они шли от первого источника. Тетя Герселия оповестила всех ближайших знакомых. Потом начались звонки издали. Выражала сочувствие мамина портниха. Сослуживец Сергея Ивановича больше всего интересовался стоимостью кольца, а — от всех заданных ему вопросов отмахивался. Какая-то старая дальняя родственница была очень обижена, что о таком событии она узнала от совершенно посторонних людей, — и ни о чем, кроме своей обиды, говорить не хотела.

Карине некогда было даже одеться. Так, в стареньком халате, накинутом поверх ночнушки, она открыла дверь Андрею. В воскресенье утром она его никак не ждала.

Андрей стоял в дверях — серьезный, суровый.

— Дома Сергей Иванович?

Не сняв плаща, он прошел в столовую, где Сергей Иванович после завтрака раскладывал пасьянс.

— К сожалению, все это довольно серьезно, — сказал он вместо приветствия. Сергей Иванович смешал карты.

— Да ничего не было, — Карине уже хотелось покончить с этой выдумкой, которая еще вчера казалась такой остроумной.

Она засмеялась.

Андрей ее тут же одернул:

— Хватит дурачиться. Я уже кое-что выяснил. Думаю, завтра ты получишь обратно свое кольцо.

— Да ну вас всех! — продолжала смеяться Карина. — Скажи лучше, кто тебе сообщил? От кого ты узнал?

— Я всегда знаю обо всем, о чем мне нужно знать. Необходимы подробности. Какой он из себя, этот бандит?

Карина стала выдумывать нехотя, без вдохновения:

— Ну, невысокий, черный, длинноносый...

Этим признаком в городе соответствовал каждый пятый.

— Хромой?

— Да, да, хромой, кривой и горбатый! Пойдем в кино.

— Никуда ты сегодня не пойдешь. В университет теперь тебя будут по утрам провожать.

Сергей Иванович хмуро подтвердил, кивнув в сторону Андрея:

— На него можно положиться... Он знает...

— Что знает? — спросила Карина.

— Законы этого мира...

— То, что ты их запомнила, это очень опасно, — сказал Андрей.

Эксперимент, кажется, пошел по непредвиденным путям.

Воскресенье было испорчено. Звонки, правда, продолжались, но Карина встречала их без особого интереса. По некоторым сведениям, Карина во время ограбления была ранена.

— Кто вам это сказал? — настойчиво выпрашивала она.

В конце концов стало выясняться, что источником информации все чаще оказывалась неизвестная Лючия Нерсесовна, которую не знала даже Римма!

— Шикарная курсовая работа получается! — подводила итоги Римма. — Еще бы визуально оформить — схемку распространения начертить...

— Андрею надо все рассказать... Он что-то предпринимает...

— Еще лучше! Пусть предпринимает на пустом месте!

— Он мне обмана не простит...

— Подумаешь, какой обман! Что ты, с другим гуляла, что ли? Мужчины только этого не прощают.

Насчет мужчин Римма знала все, хотя единственным объектом изучения был длинный Лева...

Утром у подъезда дома Карину ждали два незнакомых парня.

— По поручению Газияна, — кратко сообщил один.

— Зачем он этот цирк устраивает! — с досадой сказала Карина.

Но так и дошла до дверей университета, конвоируемая двумя мрачными парнями.

Ей уже надоели охи и ахи сокурсников. Скучно было снова и снова рассказывать эту выдуманную историю, но студенты, как будущие столпы юстиции, жаждали подробностей, чтобы определить статью уголовного кодекса и порядок судебного процесса.

После занятий у выхода из университета ее ждал Андрей.

Он поднялся вместе с ней по лестнице; не ожидая приглашения, вошел в дом. Всей семьей пили чай. Затем Андрей принялся играть с Сергеем Ивановичем в шахматы и, весь поглощенный предстоящим шахматным ходом, сообщил как бы между прочим:

— Кольцо завтра будет у тебя...

— Может быть, не надо, — осторожно сказал Сергей Иванович. — Не такая уж это ценность, чтобы рисковать...

— Ваша ладья под угрозой, — отвел этот вопрос Андрей.

Карина вышла провожать гостя на лестничную площадку.

— Андрюша, оставь все это... Прошу тебя... Тем более вообще ничего не было...

Он подумал, что Карина боится за него. Растрогался:

— Ладно, ладно. Все будет в порядке.

Мама открыла дверь:

— Если вам нужно поговорить, зачем же на лестнице? Можно и в комнате...

Утром Карину провожали уже другие телохранители. Одного из них она знала. Маленький и невидный Гена был славен тем, что кроме самбо владел еще какими-то таинственными приемами обороны и нападения. По дороге он посоветовал:

— Сказала бы ты Андрею, чтобы он бросил это дело... Могут ведь отомстить...

Карина усмехнулась. Андрей сумел, оказывается, нагнать страху на всех вокруг. Интересно все-таки, как он думает закончить эту историю?

После окончания занятий Карина вновь была встречена одним из самбистов на ступеньках университетского здания. Этот слов зря не тратил, он знаком велел ей следовать за собой.

— Куда?

— Газиян приказал.

Стояла погода той поры, когда ранняя весна похожа на позднюю осень. Земля в парке была покрыта коричневыми прошлогодними листьями. Сквозь голые деревья просвечивали дома, и было видно, что парк этот совсем маленький, всеми сейчас покинутый.

В аллее, отходящей от круглой обсерватории, стоял Андрей. По его знаку самбист, провожавший Карину, бесследно исчез.

Андрей подошел к ней, нагнувшись, нежно поцеловал.

— Ну, все кончено. Я с ним поговорил.

— С кем?

— С тем, кто был в парикмахерской. Не будем называть имен. Я сказал, что ты забыла их лица. Дело улажено. Ты в полной безопасности.

— Неужели?

Он не заметил насмешки.

— Раз уж я тебе говорю...

В его поведении была какая-то торжественная значительность. Высокий, широкоплечий, непоколебимо мужественный, он склонил перед ней голову и

протянул на ладони маленький футляр:

— Может быть, это заменит тебе пропажу?

На черном бархате лежало гладкое золотое кольцо. Андрей сам надел его на палец Карины и бережно взял ее под руку.

Как красиво, как продуманно обставлено было это предложение!

Но Карина не чувствовала ни восторга, ни оглушительного счастья... Ну что ж... На всю дальнейшую жизнь она теперь узнала о нем то, что, может быть, было бы скрыто от нее на многие годы...

Он не герой, не рыцарь. Хорошо, если фантазер, а то и просто хвастун. Все равно она его любит.

На секунду ей захотелось вынуть из портфеля кольцо с плавленным сапфиром и показать его Андрею. Но для чего?

Карина спрячет это кольцо куда-нибудь подальше.

Может быть, когда-нибудь в будущем оно еще понадобится...

## Пустые бутылки

С утра опять бились с вакуумом. Была какая-то неисправность в насосе, откачивающем воздух. Недавно взятый в лабораторию молодой инженер Витя Замошкин суетился бестолково.

Марк Иванович, стараясь скрыть свое раздражение, погнал Витю в производственно-технический отдел и сам взялся за насос. Человек высокой технической одаренности, он в таких случаях сам называл себя слоном, вынужденным перетаскивать спички.

— Нет, Колю он нам не заменит, — сказала Марина и, движимая чувством долга, встала рядом с Марком Ивановичем у насоса.

— Коля ваш был хороший лодырь, — сердито отозвался Марк Иванович.

— Но руки у него золотые.

Марина славилась объективностью и справедливостью.

— Руки у него золотые и природное инженерное чутье, — добавила она.

Радиотехник Сева вдруг громко захохотал. Марк Иванович взглянул на него поверх очков, которые надевал, только занимаясь тонкой работой. Он был ненамного старше остальных сотрудников — тридцатидвухлетний кандидат наук Анютин. Марина числилась младшим научным работником. Еще радиотехник и инженер — это был весь штат лаборатории, которой руководил Анютин.

Об их работе не рекомендовалось громко разговаривать в общественных местах. Хотя один раз их показывали по телевизору, туманно и непонятно поясняя непосвященным возможности разделения изотопов посредством лазерного луча.

Передача состоялась не так давно, и на экране еще действовал Коля. Повинуясь мановению руки Марка Ивановича, он делал вид, что включает и выключает установку, хотя все это была чистая липа. Марину показывали крупным планом — за красоту. И после передачи телестудия переслала ей семь писем с предложением руки и сердца. Муж Марины — самбист, поэт и рыцарь — обклеил этими письмами туалет.

А Коля передачи так и не видел. Она шла по какой-то новой рубрике, Коля что-то перепутал и опоздал к телевизору. Потом он послал два письма, якобы от имени зрителей, с просьбой повторить интересную программу, но со зрителями не посчитались.

Радиотехник Сева очень похоже изображал, как Николай в белом халате мелькает на экране, осуществляя решающий миг эксперимента. Когда он увидел, что Коля всерьез огорчается, то стал заводить его еще больше, пока не прикрикнул Марк Иванович. А через две недели Коля ушел из лаборатории согласно поданному заранее заявлению. Он проработал здесь шесть лет — со дня окончания института — и, хотя не отличался ни усердием, ни дисциплиной, знал всех мастеров в техническом отделе, умел ладить с людьми, и инженерная мысль у него действительно работала.

Марк Иванович счел нужным поговорить с Колей перед его уходом.

— Хорошо ли вы продумали свое решение?

— Я продумал, — твердо ответил Коля.

Он не сказал, куда переходит, но намекнул на высокий заработок и свободу во времени.

— А в смысле перспективы новая работа вас устраивает?

— Она меня устраивает во всех отношениях.

— Ну что ж, Коля, мы все желаем вам хорошего и не будем мешать вашему росту...

Вместо Коли в лаборатории появился Витя Замошкин, очень усердный и пока очень бестолковый. Вот и сейчас он бесцельно торчит в техническом отделе и мастера гоняют его один к другому.

Марк Иванович наладил работу насоса, и настроение у него улучшилось.

— Что ты ржешь, мой конь ретивый? — спросил он Севу.

Тотчас добавил, испугавшись, что обидел:

— Учтите, это стихи.

— Да что там, Марк Иванович! — сказал Сева. — У меня тоже, литературно выражаясь, смех сквозь слезу. Я ведь знаю теперь, где Колька работает...

Сказано было таким тоном, что все молча ждали продолжения.

Но Сева ничего не прояснил:

— Это увидеть надо.

— Как увидеть?

— Марк Иванович, поедем в обед, я покажу. Нужно, чтоб вы сами посмотрели.

И Марина тоже. Я-то случайно налетел.

Сева говорил очень серьезно. Они поехали, не дождавшись обеденного перерыва.

Старая московская улица, которой еще не коснулась реконструкция, выходила к одному из вокзалов, и потому движение на ней было оживленное, а киоски и маленькие магазины облепили ее до самой вокзальной площади.

Сева привел Марка Ивановича и Марину к небольшому деревянному сараю, возле которого сгрудились люди, навьюченные мешками, авоськами и корзинами.

— Встанем к сторонке, — распорядился Сева.

Они примостились в конце загибающегося крючка этой бестолковой очереди. Люди, образующие ее, были беспокойны и суетливы. То и дело тянулись вперед, стараясь перетащить свой груз хоть на несколько сантиметров ближе к сараю-киоску.

— Чего он сказал? Чего сказал? — спрашивала пожилая женщина у своего соседа.

— Чего, чего... Не будет больше принимать... Тары, видишь, нету...

— Неужели обратно тащить... Да попросите вы его...

— Его попросишь! — сказал мужчина. — Хозяин — барин.

— Слушай! — кричали из очереди. — Ты давай прими хоть у первого пятка!

— Что я, на голову себе буду принимать? — отвечал голос из сарая. — Сказано — тары нет.

Марк Иванович встревоженно оглянулся на своих спутников. Сева безмолвно сделал плавный жест рукой — как конферансье, представляющий публике артиста.

В окошечке приемного пункта стеклянной тары, как на маленькой сцене, уверенно действовал бывший сотрудник лаборатории инженер Глазунов.

— Закрывается, граждане! До трех часов, если тару к тому времени подвезут.

Куда ты мне свою посуду тычешь? А ну, убери! Эй ты, пропусти бабуся...

Старого человека затолкали! Давай свою посуду, бабуля.

— Спасибо тебе, сынок, спасибо...

— Старость уважать надо. Четыре поллитровки, четыре портвейна. Богато живешь, бабуся.

— Зять, прохиндей, пьет...

— Не критикуй, бабуля! Рабочему человеку выпить всегда можно. Получи один рубль тридцать две копейки. А не пил бы зять, где бы ты этот рублик взяла? Закрыто, товарищи-граждане, закрыто!

— По какому праву закрываете? — шумно запротестовала молодая женщина.

— Перерыв с двух до трех, а сейчас и часу нету. Я за три квартала с посудой

тащилась. Что же вы все молчите? Жалобную книгу требовать надо!

Очередь никак не отозвалась.

— Кто над вами главный? — не унималась женщина. — Вот сейчас мы подписи соберем...

— Раскричалась, — неодобрительно сказал гражданин с мешком, доверху набитым бутылками, — а он потом и вовсе не откроет. Тогда аж на Басманную переть...

— Произвол какой-то! Я из принципа этого дела не оставлю!

— Гражданочка, гражданочка, принципы на пустые бутылки не распространяются. И учтите, от крика образуются морщины. Сколько там у вас посуды? Стоит ли из-за пятнадцати бутылок расстраиваться? Тем более импортные из-под рислинга не принимаем. И ликерные — тоже. Пожалуйста, можете их здесь оставить, это ваше дело.

— А в «Вечерней Москве» отвечали на вопрос читателей, что импортные принимаются! — не унималась женщина.

— Мало ли что пишут в «Вечерке», они вон на сегодня дождь объявили. А где он, дождь?

В очереди угодливо захихикали.

— Итого шесть поллитровок. Получите семьдесят две копейки. Стоило волноваться?

Деревянная створка захлопнулась.

Несколько человек, обремененных бутылками, побрели кто куда, но основной костяк очереди остался незаблемым. Каждый вроде бы стремился переждать другого. Гражданин с большим мешком первый нарушил это оцепенение. Привычно быстро он подобрал оставленные у стенки бутылки из-под рислинга и ликера, взвалил на плечо свой мешок и легкой трусцой забежал за угол киоска, а за ним в молчаливой спешке поволокли свою кладь остальные.

— Не хочу я этой встречи, — брезгливо поморщился Марк Иванович. — Страшный сон! Что его сюда потянуло? Какой здесь может быть оклад?

— Оклад — чепуха, — сказал Сева, — тут другие доходы.

— Что за доходы на копеечных бутылках?

Они подошли к задней стене киоска, к его «черному входу», заставленному потемневшими, разбитыми ящиками. Очередь расположилась у стены и застыла, являя собой воплощенное терпение. Гражданин с мешком покуривал, выстроив в ряд забракованную импортную посуду.

— Да постучите вы ему! — взмолился женский голос.

— Чего зря стучать. Он сам знает.

Широкая дверь растворилась. Коля стоял в проеме, держа в руках маленький черный ящик с педальками, по форме напоминающий школьный пенал.

— Японский счетчик, — почтительно отметил Сева, — производит все действия на любые числа. Полтора ста в комиссионке, да и то не достанешь.

Шикарная вещь!

Они стояли в очереди, стараясь не попадать в поле зрения хозяина ларька.

— Вот народ! — осуждающе сказал Коля. — Ну что я сделаю, если тары нет?

Очередь заголосила:

— Прими по десять, мы согласные...

— Прими, Коля...

— По десять рассчитай...

Коля покрутил головой.

— Еще ломается, сукин сын! — крикнул кто-то из очереди.

Коля сощурил глаза, сплюнул и, повернувшись спиной, захлопнул воротца.

Гражданин с мешком яростно набросился на молодого губастого парня. В праведном гневе он через каждые два слова изрыгал матерную брань.

— Чего разорался... Больше всех тебе надо... А ну, мотай отсюда!..

Очередь его горячо поддержала:

— Нашелся умней всех!

— Оскорблять всякий может. Ты встань на его место, поработай тут!

— Вот и жди теперь через таких дураков...

Кто-то жалобно просил:

— Да постучите вы ему, может, откроет?

Стоящий впереди тихонько надавил на доску и забубнил в образовавшуюся щелочку:

— Коль, а Коль, прими, как отца просим...

Дверь распахнулась. Хозяин стоял нахмуренный. Не глядя ни на кого бросил:

— По восемь...

На секунду люди ошалело замерли. Коля щелкнул клавишами счетного аппарата, и этот звук побудил людей к действию. Из мешков повыскакивали на свет бутылки и расположились у Колиных ног. Он пощелкивал японским счетчиком, лениво называл цифру и приказывал:

— В тот угол складывай.

Или определял:

— Импортные по пять.

Или распоряжался:

— Мальчик, иди сюда. Что там у тебя? Четыре? — счетчик послушно щелкнул.

— Получай сорок копеек. Да, ему по десять! И не спорьте! Почему, почему...

Это же ребенок! Ему, может быть, на тетрадки надо или на мороженое. Дети

— это наше светлое будущее.

Очередь согласно и печально вздыхала.

Когда дело дошло до губастого парня, Коля отвернулся:

— Не приму.

— На каком основании? Не допущу... Не позволю... — бушевал губастый.

— Иди жалуйся куда хочешь. Глазунов моя фамилия. Жалуйся!

К воротам подъехал разболтанный грузовик, из которого проворно соскочили двое мужчин. Отвалив заднюю стенку кузова, они с разработанной быстротой повыхватывали из машины водочные и винные бутылки и установили их на земле рядками — по десять штук.

Гражданин с опустевшим мешком, перекинутым через плечо, и мятыми рублевками в руке благодушно спросил:

— Со стадиона?

— Твое какое дело? — огрызнулся приезжий.

— Чего там... Сам вижу, что с Лужников. По восьми Колька дает сегодня...

— Ну вот, — сказал Сева. — тут вам и арифметика и кибернетика. Будем встречаться?

Марина махнула рукой и выразила желание уйти. Но Марк Иванович, которым, несомненно, двигала страсть подлинного ученого — все познать, чтобы все понять, — пересиливая себя, сделал два шага вперед и попал в поле зрения Коли, который в этот миг поднял глаза от своего аппарата.

— Ну, чего остолбенел? — засмеялся Сева.

Надо было прервать Колину затравленность, с которой тот никак не мог справиться.

— Ты десятилитровые баллоны принимаешь? А то у нас в кладовой полный завал.

— Марк Иванович... Марина... — придушенно сказал Коля. — Как это вы здесь появились?..

— Да вот... — Марку Ивановичу очень хотелось сказать, что встреча произошла случайно, но, воспитывая себя в правилах безукоризненной честности в науке, он помимо воли перенес эту правдивость в повседневную жизнь. — Да вот пришли посмотреть поприще вашей новой работы...

— А говорил — перспективная! — вставил Сева.

Мужчины, перетаскавшие бутылки, стояли поодаль, понимая, что присутствуют при каких-то чрезвычайных обстоятельствах. Не уясняя себе степени значения этой встречи, они, на всякий случай, намеренно громко восхваляли Колины качества:

— Он сейчас разочтет. Это мигом.

— Не ошибется. У него всегда точка в точку, и пересчитывать не надо...

— Человек подкованный, чего там говорить...

Очнувшись, Коля быстро вытащил желтый кожаный бумажник, отсчитал рубли, мелочь и сделал резкий жест, словно оттринул всех от своего ларька.

Он старался вернуть себе шутливо-нагловатый тон, который не раз выручал его при лабораторных неурядицах: «Мы люди маленькие, мы на вершины

науки не стремимся».

Теперь это помочь не могло.

— Ребята, — повторял он растерянно, — ребята...

Откуда-то выскочил парень с авоськой, набитой пустыми бутылками.

— Коль, друг! — радостно завопил он.

— Иди ты!.. — с внезапной злобой выругался Коля.

Марк Иванович решительно повернулся и зашагал было прочь, но ушел недалеко, потому что Марина не тронулась с места, а с нею оставался и Сева.

— Я вижу, ты здорово наострился, — сказала Марина.

— Мариночка, лапочка, я извиняюсь! Марк Иванович, умоляю, не уходите!

Ну, сорвалось по привычке. Я же теперь рабочий человек. Марк Иванович, это ответить надо, встречу нашу... Я прошу...

Не обращая внимания на тех, кто еще теснился возле ларька, он быстро запер свое заведение на большой замок, опустил ключ в карман новой замшевой куртки и кинулся к Марку Ивановичу, скрипя на ходу черными кожаными брюками.

— Вы знаете, Коля, я подобных выражений не терплю. Особенно при женщинах.

— Ну сорвалось, Марк Иванович, сорвалось! Такая работа, без этого здесь нельзя. Вот рядом шашлычная. Посидим тихо, культурно. Коньячку выпьем.

Марк Иванович слабо сопротивлялся, но Марине и Севе явно хотелось посидеть в шашлычной и выпить коньячку.

— Обедать все равно надо, — уговаривал Коля. — В столовой рубленый бифштекс с макаронами ковырять, а здесь я вас таким шашлычком угощу! По особому заказу...

— Люблю шашлык, — мечтательно сказала Марина. Марк Иванович попытался поддержать честь своей ведомственной столовой, но на его слабый протест: «Столовая у нас вполне, вполне» — уже никто не реагировал.

Стеклянная коробочка шашлычной приняла четверых посетителей — трех гостей и хозяина.

Коля вошел уверенным шагом, выбрал столик, официанту велел сменить скатерть, негромко отдал еще какие-то указания и добавил:

— Коньяк армянский. Марочный. «Двин» или «Наири».

— Ну, ты даешь! — восхитился Сева.

— Ребята, — проникновенно, со слезой в голосе сказал Коля, если бы вы знали, как я мечтал об этой минуте! Чтобы посидеть с вами за столом, как бывало. Я предлагаю первую рюмку за нашу лабораторию... За ваши успехи... Выпили.

— Как уволился, так и пропал, — начал укорять Сева. — Хоть бы по телефону позвонил...

— Сева, друг, знаешь, какие-то предрассудки мешали. Врать не хотел, а что скажешь? Марк Иванович, дайте я вам налью... Вот за рубежом на это просто смотрят. Там, говорят, дочери сенаторов официантками работают. Это запросто! У них миллионер и какой-нибудь мусорщик за один стол садятся. Так я слышал. Работа есть работа. Так ведь? И уж если ты деловой человек, то тебе почет... Вы попробуйте, какой здесь шашлык, лучше, чем в «Арагви»! Верьте слову!

— Ну хорошо, Коля. — Марк Иванович потер щеки. Он пил редко, и хмель красными пятнами загорелся у него на лице. — Вот вы ушли из лаборатории, где каждый, по мере сил, причастен к некоторым научным процессам. Это, как я считаю, стимулирует, подвигает...

— Вдохновляет, — подсказала Марина.

— Это слово не из моего лексикона, но в данном случае я готов и его принять. Когда вы, Коля, уходили от нас, я так понял, что вам предложено нечто более перспективное и творчески интересное. Но сейчас я ничего не понимаю.

— Марк Иванович, сегодня мы с вами на равных. Вы не начальник, я не подчиненный. Выпьем еще по рюмочке, и я выскажусь. Конечно, вы, возможно, науку двигаете. У вас и звание и степень. А я кто был? Мальчик на побегушках? Фланцы сварить, трубки спаять, производственный отдел поторопить. Сбегай туда, поди сюда. Вот и вся моя работа за сто тридцать рэ.

Что меня могло вдохновлять?

— Кто вам мешал вникнуть в основные процессы? Все от вас целиком зависело!

— Нет, простите! Когда я один раз заинтересовался вашими редкоземельными элементами, что вы мне ответили? Я помню!

— И я помню. Я потребовал, чтобы тот участок работы, за который вы отвечаете, был абсолютно обеспечен. После чего ваш интерес мог распространиться на дальнейшее.

— Ну да. Смысл был такой, что всяк сверчок знай свой шесток. Вы боги, а мы инженеры.

— Коля, — сказала Марина примирительно, — мы сюда пришли не счеты сводить. И не было между нами счетов никаких. Мы всегда дружно работали.

— Мариночка, красавица, не сердись — ты подопытный кролик! В том смысле, что тебя натаскивают на диссертацию. Не обижайся, но ты нужна лаборатории для галочки.

Марк Иванович поднялся, но Коля ухватил его за плечи и пригнул к стулу.

— Марк Иванович, я считаю вас человеком с большой буквы. И я хочу, чтоб вы меня поняли. Раньше я был ноль. Теперь могу сам себя уважать! Вы думаете, как меня сюда принимали? Я должен был диплом предъявить о высшем образовании! Здесь ведь тоже не так просто! Здесь образование ценят!

— А для чего вам здесь инженерные знания?

— Ого, как нужны! Я, если хотите, представитель новой формации. Рабочий человек с высшим образованием.

— Какой ты рабочий человек! — загоготал Сева.

— А кто я?

— Обслуживающий персонал, вот ты кто!

— Дурак, я здесь тяжестей за день перетаскаю побольше любого грузчика. Чисто физический труд. Это с одной стороны. А с другой — мозговая деятельность, весь день считай, считай... Марк Иванович, не лезьте за своими деньгами! Все уплачено. Это теперь для меня ничего не составляет...

— И все-таки я чего-то недопонимаю. На чем зиждется ваше благополучие и каково его соотношение с нашим правопорядком?

Учитывая соседей за ближайшими столиками, Марк Иванович старался изъясняться эзоповским языком.

Коля небрежно махнул рукой:

— Не беспокойтесь, Марк Иванович, дело чистое. Никакой обэчээс не придерется. Я население не обижаю. Так, разве только иной раз округлишь сумму, конечно в свою пользу. Кто эти копейки считает? А главные мои поставщики — мусорщики и алкаши, что по паркам да по стадионам посуду собирают. Им эта бутылка ничего не стоит, а выпить нужно. Они ее по дешевке отдают.

— И складывается? — спросила Марина.

— Будь спокойна! Есть, конечно, и расходы. Шоферам, что тару подвозят, еще кое-кому, без этого нельзя. Но не жалею. Мне в вашем НИИ столько и не снилось. Ну, еще по одной — на прощанье! Вот пойдете вы отсюда и будете меня осуждать. А я не жалею. Вы осуждайте, это ваше право, но помните — я доволен! Мне теперь номерок вешать не надо, и отпрашиваться с работы на полчаса не у кого, и копейки на ежедневные расходы считать не приходится. А вашими редкоземельными я не очень-то интересуюсь...

Они поймали такси у самой шашлычной. Коля сел с Мариной и Севой на заднее сиденье, уступив место рядом с водителем Марку Ивановичу. Коля не помешал своему бывшему руководителю заплатить за проезд один рубль восемьдесят копеек — на десять копеек больше положенного, — после чего, перегнувшись через переднее кресло, вручил шоферу пять рублей.

— Помни, кого вез! Светило науки профессора Анютина и его учеников. Одного, правда, бывшего, но все равно подающего надежды...

Шофер покосился на Марка Ивановича, но деньги взял.

— Ну, пижон! — сказал Сева вслед уходящему Коле.

И тут же извиняюще добавил:

— Правда, поддавши он. Трезвый так не сделает.

\* \* \*

Новую машину купить не удалось. Директор пищеторга сперва обещал помочь, потом стал тянуть и наконец сказал:

— Машина — это тебе не десять кило воблы устроить...

И Коля понял, что тут ничего не получится.

Он поехал на автомобильный рынок, расположенный на площади у высоченного автоцентра, где в просторном зале на постаментах стояли недоступные новенькие «Жигули» последних выпусков, цвета горчицы, цвета рябины и цвета эмалированной голубой кастрюли, с табличкой, обозначающей цену, а на полках были расположены детали к ним — любые, кроме тех, которые в данную минуту были тебе нужны. Но Коля в магазин заскочил только мимоходом. Тут ему делать было нечего. На площади стояли сотни машин, и среди них одна — его будущая собственность. Коля не взял с собой никаких советчиков. Советчики всегда сбивают с толку. Он отлично знал, что даже новая машина — это лотерея. Никто не может знать, как она себя поведет. А старая, побывавшая в чьем-то владении, это уже загадка скорее психологическая. Разгадай, почему человек ее продает?

Так он ходил, присматриваясь к разноцветным, как пасхальные яйца, машинам. Одна из них пленила его зеленой свежестью и ухоженностью.

Коля проехал на ней три круга по специальной площадке, и все время ему казалось, что мотор вроде бы постукивает.

— Чего это она у тебя стучит?

— Где стучит? Где стучит? — с такой страстью заорал хозяин, что Коля понял: знает он отлично! Повернулся и ушел молча.

Полдня он провел на этом рынке, пока сторговал светло-серенькую машину выпуска семьдесят третьего года. Машина прошла сорок тысяч, но, видимо, стояла на улице. У нее как следует проржавели крылья и днище.

Продавала машину пожилая женщина. С ней был высокий молчаливый

парень.

Женщина оказалась упрямая и подозрительная. Она желала получить за машину пять тысяч, во сколько бы ее ни оценили в комиссионке. Кроме того, она хотела отдать свою машину в «хорошие руки».

Эти «хорошие руки» вконец озлили Колю.

— Вы что, щенка, что ли, продаете? — рассердился он. — Уж если так жалеете, сами бы за ней получше смотрели! Вон даже багажник у вас проржавел...

— Потому и продаем, что гаража нет, — обиженно сказала женщина.

Молодой человек пихнул ее локтем в бок — предостерег. А чего там предостерегать — и так видно, что стояла машина и под дождем, и под снегом...

— Если не врать, то и запоминать ничего не надо, — назидательно сказал Коля.

Но ржавчина — это дело поправимое. Ошкурить, залить где надо, крылья переменить и покрасить, днище — коррозионным покрытием оснастить. Она у Коли как игрушка будет! Главное — мотор неизношенный.

— А кто комиссионный сбор будет платить? — спросил Коля.

— Я ничего не знаю! Я должна получить на руки пять тысяч, — как заведенная твердила женщина.

Коля отвел парня в сторону, чтобы поговорить как мужчина с женщиной. Тот развел руками: «Машина не моя, говорите с хозяйкой».

А тут еще напористый кавказец откуда-то взялся. Все время выжидательно терся возле машины и подмигивал владелице. Так что Коля разом решился.

Отвели машину на пяточок и томительно долго ждали оценщика — безразлично-деловитого парня с лампочкой на длинном шнуре. Он сверил номера, в минуту определил изношенность — пятнадцать процентов, и опять пришлось сидеть на скамеечке у дверей, откуда выкликали хозяев машины и покупателей — для оформления.

Рядом с Колей сидел толстый узбек в расшитой тюбетейке. В руках у него болтался тугой узелок из ситцевого платка — белого в черную крапинку,

каким в деревнях повязывают голову старухи. В платке были деньги на машину. Они даже торчали из одного уголка. Это Колю развеселило. Свои деньги он заранее приготовил в крупных купюрах, чтобы быстрее было считать.

Расставался он с ними легко, не жалея. Женщина-кассир с усталым лицом придвинула к себе пачки и привычно быстрыми пальцами, едва касаясь уголков купюр, перелистала их одну за другой, изредка поднимая на Колю невидящие глаза.

Потом они перешли в отдел окончательного оформления, где Коля передал взволнованной до потрясения женщине пятьсот рублей, недостающие по оценке до требуемых пяти тысяч.

Сто из них она отдала парню, который помогал ей продавать машину. Парень тут же исчез.

На этом завершительном этапе покупатели и продавцы попадали во власть трех современных девушек, сидящих за счетными пюпитрами. Две из них вели потаенный разговор с лохматым парнем, который перегнулся к ним через барьер, а третья подкрашивала ресницы и, закончив эту ювелирную работу, сообщила, что идет обедать.

Истомленные ожиданием люди толпились у барьера, вытягивая головы, чтобы увидеть свою фамилию на стопках бумаг, лежащих перед девушками. Время от времени, отвлекаясь от разговора и еще не перестав улыбаться чему-то своему, девушки покрикивали:

— Отойдите сейчас же от барьера! Дайте спокойно работать! Когда надо, вас вызовут!

— Это нестерпимо! — громко сказал высокий седой военный. — Какое время обедать? Я второй час здесь околачиваюсь!

Девушка за барьером гордо выпрямилась.

— По-вашему, выходит, я не человек? Мне и поесть не надо?

— Надо, но не в рабочее время.

— А вы мне не указывайте, в какое время мне обедать. Нечего было торговать

своей машиной на базаре. Сдали бы в комиссионный — не ждали бы.

— Как вы смеете со мной так разговаривать! — разъярился военный.

Девчонки тут же дружно и возмущенно залопотали: «Мешают работать, мешают работать...»

Коле вся эта ситуация была хорошо знакома. Его напарница неподвижно сидела на скамейке и от духоты раскрывала рот, как засыпающий карп. Никакой надежды, что она сможет подвинуть дело, не было. «Так тут до вечера проторчишь», — подумал Коля. Денег у него почти не осталось. Еще утром он был богачом, а сейчас в кармане телепались две трешки и немного мелочи. Но он спустился на улицу к кондитерскому киоску, взял две плитки шоколада по рубль тридцать каждая и вернулся в зал. Одна красавица неторопливо постукивала по клавишам своего аппарата, другая продолжала болтать с парнем, перебирая не глядя стопку автомобильных документов, оформления которых вождеденно ждали продавцы и новые владельцы.

Коля подошел к барьеру деловым шагом, оттеснил лохматого, небрежно бросив: «Извини, друг», и, вытащив из кармана куртки завернутый в чистую бумагу шоколад, протянул его девушке:

— Это вам просили передать от потомка великого русского композитора Глазунова.

На мелком девичьем лице задрожали интерес и недоверие.

— Какого, какого композитора?

— Глазунова.

— Не было такого композитора...

— Нну! — с превосходством сказал Коля. — А балет «Раймонда»?

Девушка захихикала и опустила пакетик в ящик своего стола, а Коля отошел, чтобы не привлекать излишнего внимания людей, ждущих своей очереди.

— Глазунов, Надейкина! — вызвали их через три минуты.

Еще через десять минут Коля подошел к своей машине и хлопнул ее по багажнику, как всадник по крупу лошади.

Жидковато делают. Консервная банка.

Женщина, продавшая машину, заплакала.

— Что это вы так расстраиваетесь, — сказал Коля. — Смотрите, а то обратно отдам. Я слез не люблю, да и примета плохая.

— Что вы, что вы? Владейте на здоровье, — заторопилась женщина. И пошла к остановке троллейбуса, пробираясь между рядами машин. Надо бы ее подбросить хоть до метро, но Коле не терпелось остаться один на один со своей собственной машиной...

\* \* \*

Настроение в лаборатории было неважное. Очередной эксперимент не дал желаемого результата.

— Разделяли — веселились, подсчитали — прослезились, — сказал Сева. — Коварная бестия этот лазер.

— Не надо таких заявлений, — сухо оборвал его Марк Иванович. — Я убежден, что не было желаемой чистоты.

Витя насторожился.

— Вакуум был, Марк Иванович! Ручаюсь!

— Не знаю, не знаю. Я сам должен все проверять.

— Завтра начнем все заново, — сказала Марина.

Марину неудачи не обескураживали. Она всегда готова была начать сызнова скучную подготовительную работу по эксперименту, и в этом заключался залог ее будущих научных успехов, как предсказал Марк Иванович. Марина, конечно, немного играла, безмятежно улыбаясь, когда всем впору бить посуду. Рабочий день кончился, а они не расходились, хотя вся лаборатория, и установка для эксперимента, и рабочие столы опостытели всем до крайности. И разбираться в причинах неудачи надо было на свежую голову...

А у ворот института их уже около часа ждал Коля на своей машине. Отмытая, отполированная, она блестела и радовала глаз. На сиденье водителя была накинута баранья шкура вся в длинных завитках. На остальных сиденьях

пестрели чехлы из яркого клетчатого пледа. Перед смотровым стеклом болталась на ниточке заграничная голенькая куколка...

Ожидание Колю не тяготило. Он снова и снова представлял себе, как бесшумно подкатит к проходной, как заохает Сева, в восторге поднимет руки Марина, и только реакция Марка Ивановича была еще не ясна. Марк Иванович может и не увидеть все достоинства машины. Ему нужно как-нибудь деликатно на них указать. Тогда и он осознает и оценит.

Ему с тремя ребятами и неработающей женой вряд ли когда-нибудь доведется сесть за руль собственной машины. Если даже и докторскую защитит, он себе такой цели не поставит. У Марины, возможно, машина будет. Ее муж съездит раза два за кордон, поставит какой-нибудь рекорд. Спортсменам многое доступно. Но ведь когда это будет, а Коля вот сейчас удивит их, бывших сослуживцев, и докажет, что все в жизни зависит от самого человека...

Он подкатил к тротуару, как задумал, — плавно и беззвучно. Анютин даже вздрогнул от неожиданности, когда Коля прямо перед ним распахнул дверцу. — Марк Иванович, прошу!

— Неужели твоя?! — ахнул Сева точь-в-точь так, как представлялось. — Ну, старик, ты силен!

Сева обскакал машину кругом и постукал ногой по каждому колесу.

— Поздравляю, поздравляю, — пропела Марина. — И цвет серенький, мой любимый...

— Вот вам и пустые бутылочки! — Сева глядел на машину с восторгом.

— Поздравляю вас, Коля, — как-то отрешенно проговорил Марк Иванович.

— А этот товарищ на моем месте, что ли?

— Это Виктор, наш инженер, — представила Марина.

Витя Замошкин на машину не реагировал. Он опять завел свое:

— Марк Иванович, я знаю, вы меня вините, но я вам ответственно говорю, что по моей линии был полный порядок.

— Знакомая ситуация! Вакуум — основа эксперимента! Так, что ли? Эх ты,

бедолага, иди под мое начало. Через полгода моторную лодочку гарантирую, через два года — колеса!

— Я вас, Витя, ни в чем не обвиняю. Завтра с утра мы во всем разберемся. Думаю, что абсолютно чистый элемент на уровне нашей техники получить пока невозможно.

— А я считаю, дело в установке, — упрямо сказала Марина.

— Марк Иванович, прошу, рядом со мной. Мариночка, Сева, Виктор, располагайтесь поудобнее. Всех развезу.

Машина легко подалась вперед.

— Очень приемистая, — сказал Коля, — послушная, как любящая женщина.

Но настырный Виктор не давал никому слова сказать:

— Я на этот раз до конца выложился. Если хотите знать, я весь петео на ноги поставил...

— Вполне допускаю, что ошибка в моих расчетах, — сухо сказал Марк Иванович.

Коля сделал лихой, красивый поворот.

— Все-таки научились мы машины делать! Тормоза чуткие, как живые. И сиденья удобные. На большое расстояние ехать — усталости не почувствуешь. Все продумано!

— Я несправедливости не переношу, — бубнил на заднем сиденье Виктор. — Если нет доверия, я могу уйти. Не потому, что материалист, а потому, что мне обидно.

— Куда это ты собираешься уходить? — озлясь, спросил Коля.

— Вы же предлагаете к вам перейти...

— Черта с два у нас тебя возьмут!

Колю понесло раздражение против них всех с их установками, изотопами и прочей хореографией.

— На это место просто так не попадешь! Это тебе не вакуум!

— Остановите, пожалуйста, у метро, — сказал обиженный Виктор. — А вам, Марк Иванович, я завтра докажу...

— По-моему, я его ничем не обидел, — стал оправдываться Анютин, как только Виктор вышел из машины.

Коля не трогался с места. Он ждал, чтобы ему сказали хотя бы, кого в первую очередь отвозить, куда ехать. Не так он себе представлял эту встречу. Хорошо хоть, Марина наконец догадалась:

— Сперва Марка Ивановича, это и мне по дороге. Я у троллейбусной остановки сойду...

Как хотят. Пусть едут на метро. На автобусе. Пусть завтра снова начинают возиться со своей установкой, варить фланцы, делить изотопы. Пусть защищают диссертации, получают зарплату и осуществляют связь с производством.

Коле все это до лампочки.

Сева пересел на освободившееся место Марка Ивановича и трещал без умолку:

— Слушай, ты же теперь на одних билетах сколько сэкономишь! Сел и поехал. Хочешь — на юг, хочешь — в Прибалтику. Она же почти новая, да? Сорок тысяч для такой машины пустяки. И зажигалка есть? Красота! А сиденья раскладываются? Слушай, а оранжевый цвет не лучше? Говорят, самый безопасный в смысле аварии. Ее можно в оранжевый цвет выкрасить. А, старик? Вот здорово будет!

Коля остановил машину у метро.

— Слезай.

— Сам же обещал до дома, — обиделся Сева.

— На метро доедешь. За пять копеек.

— Псих, — сказал Сева. — Я, что ли, виноват, что ты из лаборатории ушел...

— Дурак! — крикнул ему вслед Коля.

Но когда легкая фигурка Севы влилась в круговорот людей у метро, Коле показалось, что он упускает самое основное, самое значительное в своей жизни.

Его охватила неожиданная тоска. Он бросил свою машину на месте, где ей

вовсе не положено было стоять, и кинулся за Севой, будто именно от того, догонит он его или нет, зависела вся Колина дальнейшая судьба.

А схватив его за локоть у самой лестницы, не мог ничего придумать и злился на самого себя за то, что голос у него стал просительным и жалким:

— Сев, а Сев, ты же видишь, я живу как бог, мне ваши дела до лампочки... Но ты все же, на случай, узнай, если я захочу вернуться, примут они меня или нет...

### **У больничной ограды**

Она увидела его издалека. И тут уж без обмана. Не то чтобы какой-нибудь валуй — мелькнет в траве, на секунду обнадежит, а сама уже хоть и нагнешься, а знаешь — одна досада. А этот стоял возле елочки меж реденькой травки на высокой крепкой ноге. Плотная коричневая шапочка уже развернулась в полную силу, но еще не позеленела с изнанки, и ни одна улитка не испортила ее.

Такой он был красивый, такой ценный, что Маша не сразу его сорвала, а подошла потихоньку, глядя себе под ноги и по сторонам, а потом присела возле боровика, поставила корзинку и оглянулась вокруг на прекрасный зеленый мир.

Она не спешила резать боровик. Корзинка была уже почти полная, а пока дойдет до дома, еще пополнится. Самое время сейчас поесть. Любимая лесная еда у Маши в мешочке, привязанном к поясу. Два ломтя черного хлеба, присоленного и смоченного подсолнечным маслом, и огурчики со своего огорода.

Она поела не спеша, любуясь боровиком. Из него одного зимой сварится кастрюлька супа. Острым ножиком Маша срезала гриб и присыпала белый пенек землей. Потом обошла все елочки, на полянке нашла еще один боровик, не очень завидный, объединенный улиткой, а все ж таки белый.

Вот так она любила ходить по лесу, одна, не спеша, внимательно. Недавно

увязалась за молодыми Волошиными, польстилась, что они на машине и будто бы грибные места знают. Уехали за сто километров и как помчались по лесу — бегом, бегом! Маша за ними еле поспевала. Отстать боится — лес незнакомый, да и надеется — вот-вот откроется грибное место. А ребята лес рысью пробежали, похватали, что по дороге попало, — и дело с концом. Нет, уж теперь Маша в компанию ни с кем не набивается. Свой лес под боком, обижаться нельзя — и засушено, и насолено, и компотов из черники закатано, и варенья из земляники наварено. Уже не говоря о себе — и дочкам и внукам на всю зиму хватит.

А какое счастье тихо, неспешно ходить по лесу! Когда землянику собираешь, едва ягоды дно бидончика покроют — так запахнет, не надышишься. Вокруг пеньков свисает земляника с веточек красными сережками. Иной раз подумаешь, ведь умрешь, никогда этого больше не увидишь, — и так страшно делается, все внутри похолодеет. Но эти мысли Маша до себя не допускает. И дочки сердятся, когда она о смерти заговаривает.

— Ты, мама, у нас до ста лет жить должна, а тебе только чуть больше полста... А так — все хорошо. Старшая, Танюша, в Москве живет, в банке работает, дочку растит. Муж ей достался никудышный, пьяница, так она с ним разошлась и еще лучше стала жить. Ни в чем от людей не отстает. У всех сапоги на платформе — и у нее на платформе. А кримпленовые платья уже носить не хочет — не модно.

Младшая, Ольга, поскромней живет. Не далеко от Маши, в новом поселке, при заводе. Зато у нее муж уважительный, работающий. Машу почитает больше, чем родную мать. Детишек у нее двое — девочка и мальчик. Ольга пошла по их родовой специальности. Машин отец фарфор обжигал еще у Кузнецова. Маша до пенсии тоже у обжигальной печи почти всю жизнь простояла. Теперь Ольга на ее месте работает.

У Танюши в Москве отдельная квартира однокомнатная, у Олечки три комнаты и все удобства, даже горячая вода.

А Маша живет в том же барачном доме, где еще ее родители жили, где она

родилась, откуда отец и старший брат на войну уходили. Но живет она в своей родной комнате последний год. Уже выстроены высокие белые дома с ванными комнатами, с паровым отоплением. Ходили все из их казармы смотреть свое новое жилье. Родовались светлым комнатам, блестящему кафелю в туалетах, а обратно пошли — приумолкли. Старуха Волошина, Машина соседка, вдруг высказалась:

— Хоть бы умереть на старом месте дали...

На нее зашумели. А она свое:

— А где я курей держать буду? А капусту квашеную? Ни погреба, ни подпола. И вообще — не желаю!

А желания никто не спрашивает. Уже комиссия приходила, и постановление райисполкома есть, чтобы барак снести.

Да и что в нем хорошего, в бараке? Вот хотя бы замужество Машино вспомнить. Отгуляли свадьбу, привезли молодых в уголок за занавесочку. Ситцевая была занавесочка с синими цветочками, она и сейчас у Маши в глазах стоит. А в комнате младший брат, мать, да еще материна сестра, вековуха, с ними жила. Брат, конечно, на свадьбе выпил, как завалился, так и захрапел. А мать с тетей Нюшей не спали, это уж точно. Молодому мужу свое надо, а Маша вся сжалась — ей и страшно, ей и стыдно. «Ой, не надо, ой, тише, мама услышит». И вся ее замужняя женская жизнь так и шла...

А все же, видно, и за хорошее и за плохое привязываешься к своему дому. Жалко будет перебираться. Маша не особенно тужит о том, куда она денет картошку, банки с огурцами, кадушки с солеными грибами, закатанные компоты. Большую часть отдаст Олечке. Тане вроде бы ничего и не нужно, а все же от варенья не откажется, да и картошка ей зимой не лишняя будет.

У Маши характер такой, что она заранее о плохом не загадывает, радуется сегодняшнему часу.

По дороге домой на целое семейство чернушек набрела. Каждый гриб с блюдечко, да все молодые, ядреные. Еле обобрала.

Корзина оттянула руки. Хорошо, дом близко. Только выйдешь из леса — вот

он стоит, в два этажа, блестит окошками.

Старая Волошина перед домом стирала белье, на костерике бак кипел. А Маша избаловалась — все постельное, крупное, в прачечную отдает. Снесет тючок грязного, получит пакет крахмального, глаженого. А цена — рубль, два. Пенсия вполне позволяет.

— В прачечной белье рвут! — кричит Волошина. — Я, — говорит она, — прачечной брезгую. Там и с чахоточных и с чесоточных стирают.

А где они сейчас — чахоточные и чесоточные? За деньги не найдешь.

Детишки к Маше подбежали, окружили, руки в корзину запустили, обязательно им потрогать надо.

— Ой, тетя Маня, какие грибы! Да белых сколько!

— Сами они, что ли, тебе в корзинку прыгают? — позавидовала Волошина.

— Прыгают, как же! Понагинайся за ними, всю поясницу разломилло, — прибеднилась Маша. Поясница, правда, побаливала, но не так уж сильно.

— Это у тебя отложение соли, — веско пояснила бабушка Волошина. Она второй год выписывала журнал «Здоровье» и теперь уже очень разбиралась в медицине. — А к тебе человек приходил, — сказала она, наматывая на палку простыню из кипящего бака.

— Это кто же такой?

— Баба приходила.

— Сватья, что ли?

— А то я твою сватью не знаю. Чужая. Солидная — в дверь не пролезет. Губы намазанные и ногти красные.

— Говорила что-нибудь?

— Я, говорит, еще приду, если она дома будет. У меня, говорит, до нее важное дело.

— Может, от Танюши, из Москвы...

— Нет, она не из Москвы приехала. Она с той стороны платформы пришла. Серьезная, в белых туфлях.

— Ладно. Надо, так еще придет.

Маша поднялась на второй этаж своего деревянного барака, или казармы, как называли этот дом ее мать и отец. Тут была ее комната, знакомая до каждого сучка в темных бревнах стен, оклеенных сейчас обоями, и на полу, покрытом теперь зеленым пластиком. Постепенно все преображалось в этой комнате, где жила раньше большая семья, а ныне осталась одна Маша и только со стен угольно-черными глазами смотрели на нее увеличенные фотографии ее голубоглазых родителей, убитый на войне брат и ее милые дочки — маленькие, с бантиками в волосах, и они же взрослые, в подвенечном тюле, — все, кто жил с ней в этой комнате и чьи голоса и сейчас она слышала в своих снах.

Первым делом — грибы. Другие вывалят всю добычу кучей на стол, изомнут, изломают, а Маша поставила корзину бочком и вынимала грибы по одному. Белые в сторонку — сушить, чернушки — солить, крепкие подберезовики да красные — мариновать, а которые покрупнее, пойдут с лисичками на жаренку. Самой уже в рот не лезет, так наелась, но за стеной Валя. Целый день она на работе, а дома мать больная. В лес сходить возможности не имеет. Для нее грибочки лакомство. Да внизу бабушка Окуловская обожает грибы, а глаза не видят. И ей надо на сковородочку дать. Здесь они все живут как одна семья. А что будет в новом доме — кто знает.

Зять говорит: «От перемены жизни молодеют». А Маше молодость ни к чему. Молодость время трудное, слезное, тревожное. А сейчас Маше хорошо, лучше и не надо. С грибами управилась, чайник вскипятила, телевизор включила.

И догадалась — будто надоумил кто, — среди дня умылась, волосы назад зачесала, платье передела. Словно обновленная к телевизору села. Тут и в дверь постучали. Это Валюшка, конечно, телевизор посмотреть.

— Да входи, входи...

Нет никого. А про что Волошина говорила — начисто забылось. Только опять — стук, стук.

— Можно! — крикнула Маша.

Но дверь не открылась. Пришлось самой подняться.

За дверью стояла женщина. Полная, немолодая. Постарше Маши, но ухоженная. Волос как сажа черный, глаза подведенные и туфли белые на каблуках.

Маша видела эту женщину два раза в жизни, и то издали. Первый раз — двадцать пять лет назад. Это она, Раиса, в Ковренском универмаге выбирала себе розовую комбинацию с кружевом, а деньги доставал Машин дорогой муж Петр Васильевич. А сама Маша стояла около другого прилавка с полугодовалой Олечкой, которую отец уже четыре месяца не видел.

Не помнила Маша, как домой доехала. На кровать без памяти упала. Олечка голодная закатывается, Танюшка ревет, а мать — еще живая была — святой водой Машу сбрызгивает...

А во второй раз — тоже уже больше десяти лет прошло — Маша, возможно, эту женщину сама бы и не заметила, да ей Зина указала, жена Федора, брата Петиного. Они Машу и ее детей за родню считали, а Петра со второй женой на порог к себе не принимали.

Зачем-то Маша с Зиной в Мытищи ездили, там Зина и сказала:

— Вон, погляди, Раиска, Петина новоявленная супруга, шагает.

Не обидно бы еще, молоденькая, а то ведь старше, чем Маша, ребенок у нее от первого мужа. Своих двух бросил, чужого воспитывает...

В тот раз Маша ее личность хорошо запомнила. Сейчас увидела ее у своих дверей и вроде бы растерялась.

Раиса тоже стоит и молчит. Потом спросила:

— Разрешите взойти или выгоните?

— От этого порога еще никого не прогоняли, — ответила ей Маша.

Раиса вошла. По приглашению за стол села. Видно, что устала, лицо вспотело, платочком обмахивается, а обтереться боится — краска облезет. Конечно, не в гости пришла, а за делом, но ведь сразу дело не выскажешь. Надо о чем-то поговорить.

— Чаю пить будете?

— Можно, — согласилась Раиса.

У Маши в холодильнике и колбаса, и сыр, и консервы. Но ведь не дорогую гостью принимаешь. Надо, конечно, показать, что не хуже людей живешь, но и слишком стараться ни к чему. Другой раз Маша посуду из кузнецовского сервиза выставляет, которую еще отец обжигал, но тут воздержалась. Чашки достала большие, с золотом, «черный тюльпан», и чайник к ним фарфоровый, двухлитровый. Заварки побольше насыпала, а меж этих дел разговор шел самый обыкновенный — про погоду, про магазины.

Села Маша напротив гостыи, налила чашки доверху, варенье подвинула.

— Кушайте, не стесняйтесь.

— А покрепче чего не найдется? — спросила Раиса.

— Не употребляю и дома не держу.

Гостыя открыла большую белую сумку и достала пол-литра.

— У нас такой разговор, что без этого не обойдешься.

— Не знаю, какой у вас разговор, только я ее на дух не принимаю. И уберите с глаз.

Спрятала обратно в сумку. Отпила чаю. Колбасы копченой взяла.

— Вам муж привет передавал и велел, чтоб вы к нему пришли. Обязательно. Он в Ковренской больнице лежит.

Такое хоть кому скажи — взволнуется. Но Маша держала себя крепко и сказала очень спокойно:

— Какой такой муж? Нет у меня никакого мужа.

— А Петр Васильевич Долгушев, кто же он вам?

— Вы бы еще что вспомнили! Никто он мне.

— А дети у вас от кого?

— Дети от любого могут быть.

— Что же он вам, за чужих детей алименты платил?

— За что платил, про то он сам знает. А только если он за тридцать рублей в месяц отцом хотел быть да еще и мужем остаться, это уж извините!

— Так ведь у тебя, Маша, вроде никого другого нет...

Обидны были Маше эти слова, но она и тут сдержалась.

— Кто у меня есть, это мое дело. А вам я скажу, что уважаемые, ученые люди меня Марией Павловной зовут и на «вы» величают.

Гостья этот намек поняла.

— Я ведь к вам по-хорошему. Петр Васильевич сейчас после операции слабый, ему уход нужен, а я целый день на работе. Вот я и надумала: пойду, объясню мое затруднительное положение...

— Это вы хорошо надумали, — сказала Маша, — только я со своим затруднительным положением к вам не приходила. Когда вы моих детей осиротили, а меня обездолили, я к вам не пошла. Я двадцать лет дом на горбу тянула, детей растила, учила. Слезы мои одна ночная подушка знала. Чего вы теперь от меня хотите?

Замялась гостья. Трудно ей было высказать, зачем приехала. Но она все же решилась:

— Марья Павловна, что старое вспоминать? Больной он. Возьмите его к себе. На той неделе из больницы выписывают.

— Да вы что, смеетесь надо мной?

— Он велел вам завтра приехать. Повидать вас хочет. Поговорить ему с вами надо.

— Об чем ему со мной говорить? Когда я маму хоронила, когда сестра умерла, когда племянник в аварию попал, — тогда он меня видеть не хотел. Я три года черный платок с головы не снимала. Где он тогда был? Вы посчитайте, сколько я за ним замужем была и сколько вы. Четыре против двадцати пяти! Вот какая разница!

В дверь Валюшка заглянула, соседка. Увидела чужого человека — попятилась. А Маше скрывать нечего. Наоборот. Пусть все знают, зачем к ней гостья пожаловала.

— Зайди, зайди! — позвала Маша. И опять к Раисе: — Значит, пока здоровый был, пока работал, он вам был нужен, а как заболел — Маша его возьми! Это же надо так сообразить! Да меня мои же дочери засмеют!

— Он все ж таки им отец. А у нас в комнате еще мой семейный сын живет.

Петру Васильевичу вовсе негде находиться.

— Ну, вот вам мое последнее слово. Никуда я не поеду, и говорить с ним мне не об чем. Наши дорожки давно разошлись. Давайте я вам еще чаю налью, если желаете. И ты, Валя, присаживайся. А разговор окончен.

Раиса нашарила ногами под столом скинутые туфли. Видно, уже тяжело ей на каблуках ходить. У дверей остановилась.

— Извините за беспокойство, а все ж таки подумайте. Мне его брать никакой возможности нет.

— И думать мне нечего.

— Значит, сдадут его из больницы в инвалидный дом. Так и сказали. Он меня слезами просил, чтобы я к вам доехала, поскольку у вас его дети. Я доброе дело хотела сделать, а если отклика с вашей стороны нет, то и не надо. А меня никто заставить не может. Мы с ним не расписанные. Мне он не нужен.

Маша ей на двери указала:

— Ступайте вон.

С тем Раиса и ушла. А в комнату к Маше половина жителей барака набилась, и все уже в курсе дела.

— Это сумасшедшей надо быть — больного взять!

— И здоровый был бы — не взяла, — доказывала Маша. — На что он мне?

Портки ему стирать да щи варить?

Все говорили известное — какая Маша труженица, как Петр ни разу не удосуужился дочек навестить, а теперь с каким лицом он обратно просится...

Бабушка Окуловская слушала, слушала да заголосила:

— Ой, бедный Петюшка, ой несладко в престарелом доме жить... Деточки мои родненькие, не отдавайте вы меня в престарелый дом...

Совсем уже старушка из ума выжила.

Люди понемногу разошлись, а Маша всю ночь без сна проворочалась и чуть свет в Москву собралась, к Танюше. Старшая дочь у нее была главный советчик — и что купить, и куда поехать, и вообще на всякие случаи в жизни.

В вагоне рядом с Машей симпатичная женщина сидела, в годах уже. Слово за

слово — разговорились. Маша поделилась с ней своими мыслями. Женщина спросила:

— А пока вы еще с ним не разошлись, как он к вам относился?

Хорошо к ней Петя относился, ласково. Первую дочку, Танечку, нянчил, по ночам к ней вставал. Машу любил, ревновал. Ей путевку в дом отдыха выделили — Петя не пустил.

— В этих домах отдыха один разврат, — так он сказал.

И Маша не поехала, отказалась.

Вторая дочка родилась, он, хотя сына хотел, слова плохого не вымолвил. В больницу за Машей на такси приехал, все по-хорошему. Олечке два месяца сравнялось, ему вдруг на производстве тоже путевку дали. Маша в шутку напомнила его слова насчет домов отдыха, но Петр Васильевич всегда ответ находил:

— Женщина — это одно, а мужчина совсем другое.

Маша отчасти даже рада была. Пусть уедет, отдохнет от колготни с ребенком.

Олечка беспокойная росла, крикливая, по ночам никому спать не давала.

Уехал Петр и словечка не написал. Все сроки прошли, а его нет. Маша на завод — и там ничего не знают. В дом отдыха написала. Оттуда не скоро, но ответили, что такого и вовсе среди отдыхающих нет и не было.

Тут как раз брат его, Федя, поехал по служебным делам в Ковренское и столкнулся с Петром нос к носу.

— Что же ты, негодяй, делаешь? Морду тебе набить, что ли? Мы на всесоюзный розыск подали, жена слез не осушает, а ты?..

А тот одно твердит:

— Прости, брат, так получилось...

А что получилось — не объяснил.

Вот так и разошлись. Маша через год на развод подала. Петр не явился, заочно развели. Деньги он присылал аккуратно — тридцать рублей в месяц. Дочек однажды встретил, взрослые они уже были, с Зиной на ярмарку ездили, — завел в ресторан, обедом угостил, по паре сапожек купил.

Когда Ольга замуж выходила, спросила:

— Мама, если я отца на свадьбу приглашу, ты не против будешь?

— Мое какое дело, дочка, смотри сама...

Петр сто рублей на подарок прислал, но сам не приехал.

Попутчица Машина эту историю выслушала и сказала:

— Ни в коем случае не берите его! Для чего вам такую обузу на себя взваливать? Вы теперь совершенно чужие люди.

Кому ни скажи — всякий так рассудит.

Маша рассчитывала дочку с утра повидать, но на пути что-то чинили, электричка простояла двадцать минут, и Танюша ушла на работу.

Квартиру Маша открыла своим ключом и стала порядок наводить. Белье перестирала, обед сготовила — с собой и овощей и грибов привезла. Внучка Катя в детском саду до субботы. Маша колготки нашла рваные на коленках, все перештопала.

У Танюши обстановка богатая. И гарнитур, и «стенка», и пианино недавно для дочки купила. Она алименты по суду получает, иной месяц по шестьдесят рублей.

Плохо, конечно, что семья разбилась, но Таня молодая, может быть, еще найдет свою судьбу. Не все ж такие, как Маша, что после развода от мужского духу шарахалась. А ведь сватались. И на то, что двое детей, не смотрели. Но мама-покойница никак не советовала:

— На кой ляд они тебе? Одна забота...

Ни о чем Маша сейчас не жалеет.

С хозяйством управилась, прилегла на широкую тахту и заснула. Да так крепко, что не слышала, как Таня пришла.

— Мама, ты чего приехала? Ты ж не собиралась на неделе?

Какая-то досада на Машу напала, ни с того ни с сего.

— Не нужна, так уеду. Не заживусь.

— Чего ты раскипелась?

— Сперва хоть «здравствуй» матери сказала бы...

Обиделась Таня и в кухню ушла. У нее была такая привычка — обидится и замолчит. С мужем по неделям не разговаривала. Но Маша на эти молчанки ноль внимания. Суп по тарелкам разлила, варенье привезенное достала.

— Садись. Ешь. За делом я приехала.

Взглянула со стороны на дочь — ну вылитый Петр. И брови его разлетные, и глаза виноградные, и нос как обрезанный.

— Вот какое дело — отец обратно просится.

Таня на своего мужа подумала.

— Михаил к тебе заявился?

— Какой Михаил. Твой отец. Петр Васильевич. Больной он, а Раиса его из больницы брат не хочет.

— Приветик! — усмехнулась Таня. — Неужели она к тебе приходила?

Маша рассказала все подробности. Таня брови свела.

— А чем он болен? Какая операция была?

— Я и не спросила. Мне без надобности.

— Узнать надо, — сказала Таня. — Может быть, у него рак. Ты его у себя пропишешь, тебе двухкомнатную дадут.

— Да не нужно мне ни его, ни двухкомнатной.

— Если рак, то долго не живут. Тогда мы твою двухкомнатную свободно на одну комнату в Москве обменяем, а потом съедемся.

Надо же, в одну минуту все обдумала. Недаром ее бывший муж министром звал. Только от этих планов Маше тошно стало.

— Я в Москве жить не собираюсь. Где родилась, там и умру.

— Ты сегодня на себя непохожая, — сказала Таня.

Так они и спать легли, недовольные друг другом. Наутро Танюша едва проснулась, обхватила мать обеими руками, зацеловала.

— И правда, ну его, мамуленька, на что он нам нужен, небось здоровый был, не очень интересовался...

И все-таки уезжала Маша с тяжелым сердцем.

Танюша обижалась, что мать не побывала у нее подольше, но Маша

отговорила тем, что ей еще к Ольге нужно.

Не заезжая домой, она проехала мимо своей станции еще две других, потом пересела на автобус, который останавливался прямо возле нужного ей дома.

Сватья сидела на скамейке под березкой. Младший внук Ленечка, тихий милый ребенок, строил что-то из песка. А шестилетняя Динка, оторвиголова, носится где-то с оравой мальчишек, только голос ее долетает. Однако заметила бабулю, примчалась. Платье разорвано, ленты из косичек повыдернуты и еле держатся на двух волосенках. Бабуля с пустыми руками не является. Если из дома — варенье да компоты, а из Москвы — конфеты и печенье.

Сватья сразу затянула:

— Да кто же это к нам приехал, такая радость...

Маша присела на скамейку.

— Ольга в ночной была?

— В ночной. Оба в ночной. Отсыпаются. Я ребятешек увела, чтобы покой дали. Да уж три часа отдыхают.

У Оленьки сердце чуткое, свесилась сверху с балкона:

— Мама и мамаша, поднимайтесь домой...

Свекровку она мамашей зовет. Поднялись. А Оля уже хлопочет, праздник семье устраивает.

— В кои веки все вместе за стол сядем.

Тесто на сметане замесила, яблоки на пирог накрошила, а между делом матери похваляется:

— Смотри, какую посуду сейчас обжигаем. Это «Павлиний глаз», а вот это «Северное сияние».

Чашки — загляденье. Уж на что красивая посуда «Золотой олень», а «Павлиний глаз» еще лучше. Все краски переливаются. А «Северное сияние»! Чашка снизу синяя, а потом голубая до лазоревого, а дальше серебро и изнутри серебро.

— Вытащишь из печи — весь цех сияет! Ты их себе возьми, мама.

— Да на что мне? Я от своей посуды не знаю куда деваться.

— Так ведь красивые! Поставишь на стол — полюбуешься!

Зятек из спальни вышел — заспанный, встрепанный, веселый. Маша его за то и любила, что веселый. Танюшин, бывший, всегда ее тещей звал. Только и слышала от него:

— Теща, дай на пол-литра.

А Николай никогда этого слова противного не скажет, а только «мама» или «бабуля» — это если с детьми о ней говорит.

Повеселела немного Маша и за обедом, вроде бы по-смешному, рассказала, с каким делом Раиска к ней приходила. Оля обеими руками за щеки взялась.

Сватья быстренько на всех поглядывала, не знала, в какую сторону ей податься. Только когда Николай сказал: «Видал нахалов, сам нахал, но уж такое придумать!» — тут и она сорвалась:

— И ты ее с лестницы не спустила? И ты ей космы не повыдергала? Да я бы ее на всю улицу ославила!..

— Эх, жалко, мать, тебя там не было...

Хорошо Николаю смеяться. А Оля увела мать в спальню, закрыла дверь.

— Не возьмешь его, мама? — И заплакала.

— Что ты плачешь, дочка?

А я вспомнила, как он нам сапожки покупал.

Ты лучше вспомни, как твои одноклассники с отцами за ручку гуляли, а ты бабушку свою спрашивала: «А мой отец кто? Ты, что ли?»

— Ой, мамочка, милая, как тебе было тяжело! С ночной придешь и целый день не приляжешь... Особенно когда бабушка заболела...

— Вот так, — сказала Маша.

— А не стыдно нам будет, что наш отец в инвалидном доме живет?

— А ему не стыдно было нас бросить? Тебе и трех месяцев не было. Ты его и всего-то два раза в жизни видела. С нас никакого спроса нет.

— Правда, — согласилась Ольга. — Не бери его, мама!

— Неужели возьму...

— Что посеешь, то и пожнешь, — уже серьезно сказал Николай, когда провожал Машу до автобуса. — А вы, мама, не расстраивайтесь и берегите свое здоровье, это для вас самое главное...

Через день Маша поехала в Ковренское навестить двоюродную сестру, которая давно звала ее в гости. Дети у Маши по лавкам не плачут, сама себе хозяйка — захотела и поехала.

Сестре Маша про Раису не стала рассказывать. Надоело одно и то же перемалывать. Поговорили о детях, о внуках, чаю попили, и надумала Маша в промтоварный магазин пойти — чулки хлопчатобумажные поискать. От капроновых у нее ноги болели. Сестра сказала:

— Ты их, скорее всего, не найдешь, но сходи погуляй, пока я с обедом управлюсь.

Ковренское — город веселый, зеленый. Даже больница в парке находится. Больные по дорожкам гуляют в лиловых халатах. Маша остановилась за решеткой посмотреть. Никого она специально не высматривала, никого и не увидела. Ходили незнакомые люди, на скамьях сидели, в шахматы играли. Некоторые бледные — видно, что больные, а большинство на вид совсем здоровые, полные, румяные.

Обошла Маша ограду с другой стороны, с переулочка. Тут никого нет. Аллея темная, сыроватая. Опять постояла, посмотрела и на себя рассердилась. Чего высматривать? Что тут хорошего увидишь? Вон один скособоченный другого ведет и оба еле шагают. До скамеечки едва доплелись, бедные, отдышались, и один другого попросил:

— Закурить есть?

— Тебе же доктора не велели...

— Да ну их... — больной выругался, махнул рукой сверху вниз.

И по этому жесту, совсем уже забытому, Маша узнала своего бывшего мужа Петра Васильевича Долгушева.

Ничего прежнего, красивого не осталось на желтом остроносом лице. Разлетные брови разлохматились, виноградные глаза утонули в разбухших

веках, черные морщины пролегли от носа к углам рта. Сидел он, прижав руки к животу. Тесемки кальсон свисали на примятые задники больничных тапок. Где он, былой франт, «одеколонщик», как звала его покойная Машина мама... Товарищ сунул ему в рот зажженную сигарету.

— Тебя завтра выписывают? — спросил Петр.

— Нет, снимок еще делать будут, — ответил кособокий. — Да уж скорее бы. Осточертело тут. Дома и стены помогают.

— Смотря какой дом...

Кособокий пошел смотреть, как играют в шахматы, а Петр остался сидеть на скамейке, и его рука с восковыми неживыми пальцами напряженно тянулась за сигаретой и с трудом отрывала ее от губ, а глаза ни разу не поднялись посмотреть на зеленый мир.

Пришла больничная сестра в белом халате, строгая, недовольная.

— Я не обязана разыскивать вас по всей территории. Не маленький, кажется.

Предупреждали вас, в котором часу витаминные уколы?

— Нужны они мне, ваши витамины, как лошади самовар...

— Нужны не нужны, я их обязана делать, а вы обязаны быть на месте!

Петр пытался встать, но это ему удалось только с третьего раза. Сестра взяла его сзади за локти и повела к дому. Если бы только она при этом не разговаривала, цены бы ей не было!

— Шагу ведь ступить не можете, а туда же... Вас много, а я на целый этаж одна... Если за каждым бегать да за руки водить, сил не хватит... Хотите воздухом дышать, пусть родные приходят, выгуливают...

— Я сам, — беспомощно твердил Петр, пытаясь освободиться от ее умелых рук, — я сам...

— Сам, сам! Отходили вы уже свое... Отгулялись...

\* \* \*

...Сундук у Маши еще бабкин, а может, и прабабкин. Пахнет из него не

нафталином, а слабо — махоркой и посильнее — апельсинами. Последние годы Маша прокладывает одежды апельсиновыми корочками — от моли.

Крышка у сундука откидывается тяжело, и сам он тяжелый, кованный железом. Дочки смеются, что его надо в музей сдать, а Маша не желает с ним расстаться. Оставшись одна, любит перебирать вещи, которые в нем лежат. Они для нее — дорогая память.

Сверху, правда, все новое, припасенное для будущей квартиры. Тюль на окна, скатерть льняная, белье постельное, ни разу еще не стиранное. А дальше старинный бархатный салоп, потершийся на швах, кружевная шаль, в которой молодая Машина мать в церковь ходила. Теперь такие снова носят. Танюша к этой шали уже подбирается, но Маша подождет еще ей отдавать...

Собственное Машино подвенечное платье из белого креп-сатина. С каким трудом его в те годы доставали! Зинка с трех часов ночи очередь в магазине заняла. Это сейчас глаза разбегаются на материи смотреть...

Скатерть ковровая — еще отец покупал. Дочки не разрешают на стол стелить: «Это из прошлого века!» — да и розы на ней пожухли, полиняли, а для Маши все равно дорогая вещь.

Кружевные подзоры на кровать — Маша еще девушкой крючком вязала, на приданое себе, три пикейных покрывала — белое, голубое и розовое. Куда их теперь, если у Маши вместо кровати софа?

Она перебрала все вещи, пока добралась до мешка, сшитого из старой простыни, вынула из него синий шевиотовый мужской костюм, рубаху белую в розовую полоску — точно такую, как сейчас модники носят. Все у нее лежало на дне сундука, даже мужское белье, шелковое трикотажное сиреневого цвета, и носки, конечно не безразмерные, а хлопчатобумажные, каких сейчас не достанешь.

Шла, торопилась к поезду, так нет, углядели все-таки...

— Куда это ты поехала? — закричала ей вслед бабушка Волошина.

— Куда мне надо, туда и поехала, — в сердцах ответила Маша. — За мужем своим я поехала!..

Так бабка и осталась с открытым ртом.

## Мой друг Муса

Я открывала ей дверь с надеждой, что случится чудо: исчезнут десятки лет и я снова верну свое детство.

Но молодая женщина с большими глазами и хорошо очерченным ртом ничего мне не напомнила. Правда, глаза у нее были удлинённые, лицо смуглое. Четко проступали родовые, национальные черты, но не так, чтобы узнать. И я невольно сказала:

— Нет, не похожа...

Она огорчилась:

— Разве? Все считают, что я вылитый отец...

Я попыталась загладить свою бестактность:

— Может быть. Ведь я не видела его взрослым.

— Он часто вспоминал о вас.

Женщина держала в руках красные тюльпаны. Я еще почти ничего не знала о ней, но, подсознательно увязав смутные сведения с ее обликом, увидела широкие стеклянные проемы окон, снежные вершины за ними, острую солнечную прохладу зеленых предгорий. Вероятно, все это выглядело совсем иначе, но таким был в моем представлении научный центр, недавно воздвигнутый в горах.

— Далеко это от вашего дома?

Она улыбнулась:

— От маминого? Три часа.

— Поездом?

— Что вы! Самолетом. Поездом я езжу только к себе в Варшаву.

Женщина протянула мне тюльпаны. Я поставила их в вазу с водой. Шло время и давало нам возможность приглядеться и освоиться друг с другом.

— Расскажи мне о себе, — попросила я.

Причастная к ее судьбе, я не могла говорить с ней, как с чужой.

— Папа умер два года назад, — ответила она на мой главный вопрос.

...Дедушка приезжал домой неожиданно, никогда заранее не оповещая. Наверное, потому, что пароходы из Закаспийского края не всегда прибывали по расписанию и бабушка Оля изволновалась бы в ожидании. Она и так последние дни волновалась. Капала в рюмку валерьянку и почти ни с кем ни разговаривала. Только своей подруге тете Лусик говорила сдержанно:

— Закаспийский край — это еще совершенно дикое место. Кругом мусульмане. Узнают, армянин едет с деньгами, что им стоит: подкараулят на дороге.

Так с тех пор надолго для меня Закаспийский край — это огромная пустыня, степь с песчаными холмами, за которыми прячутся разбойники.

Приезжал дедушка обычно по утрам, когда я была еще в школе, но, открыв дверь, я уже знала, что он приехал, — по чудесным запахам, которыми наполнялся дом.

Остро пахли джутовые мешки, наполненные миндалем, орехами и зеленым изюмом, крупные апельсины, холщовые сумочки с сухофруктами, о которых нынче и не знают, как, например, коралловые унаби, прозрачная альбухара, пересыпанная кристаллами соли. Были торбочки с открытыми фисташками — крупными и будто выточенными из слоновой кости.

И этой снеди, которая вкуснее конфет и пирожных, можно было набирать полные пригоршни и даже делать небольшие запасы, до тех пор пока бабушка не опомнится от радости и не припрячет все в буфет и стоящий на веранде ларь.

А над этим необычным беспорядком — просмоленным шпагатом, мешками, ящиками, над всеми запахами и диковинками — мой дед.

Как мне рассказать о нем Марии, которая родилась много позже его смерти? Как воссоздать образ человека, которого достаточно было видеть всего несколько минут, чтобы понять его красоту и значительность? Но Мария

должна знать о нем, потому что он изменил судьбу ее отца...

Я, взрослая, тринадцатилетняя девочка, тихонько визжала и пританцовывала на месте. Так в те годы выражалось мое счастье. Дедушка, большой, как Эльбрус, с серебряной головой и румяными щеками, чмокнул меня в голову и спросил:

— Оля, а где ребенок?

— Наверное, в своей комнате...

Бабушка сухо поджала губы, и я поняла, что она недовольна.

— Мусенька, — сказал дед, — я мальчика привез. Туркменский мальчик. Он хороший ребенок. Помогай ему.

Он сказал «помогай», имея в виду, что помогать нужно долго, повседневно. И я поняла его.

Мальчик! В нашем доме мальчик! Пока я бежала через две комнаты и коридор к маленькой каморке, освещаемой окном, прорубленным в крыше, мечты мои открывали мне блестящие возможности будущей жизни. Дикий мальчик, которым я буду руководить ласково, но твердо! Мальчик, выросший в степях, сильный и мужественный! Мальчик, для которого я стану высшим существом, который будет повиноваться каждому моему слову на зависть всем!

И вот я увидела Мусу.

Он не казался худым потому, что у него было очень круглое лицо, над которым топорщилась бахромка челки. Глаза узкие, спрятанные под припухшими веками. Вместо рта — небольшая линия. На острой макушке — тибетейка.

Я стояла перед мальчиком, сразу разрушившим все мои радужные представления о будущем. Стояла и смотрела. Муса тоже смотрел.

Он первый мне улыбнулся.

У всех людей в улыбке глаза уменьшаются, а у него они расширились, стали коричневыми и блестящими. Муса протянул мне очень тонкую коричневую руку и сказал по-русски, тщательно выговаривая слоги:

— Здрав-ствуй...

Это слово я слышу так, точно оно прозвучало вчера. А все, что было потом,

самые первые дни жизни Мусы в нашем доме и как мы с ним поначалу объяснялись, не сохранилось в моей памяти.

Помню недовольные интонации бабушкиного шепота, особенно когда у Мусы обнаружился стригущий лишай, и спокойный, полновзвучный голос деда:

— Что ты хочешь, жена? Сирота, брошенный ребенок...

— А как же Мусенька? — сказала бабушка. — Это очень заразная вещь.

— Не бойся, своим делом займись. О плохом не думай. Ничего Мусеньке не будет.

Лишай ко мне не пристал. С ним дело как-то обошлось. Вылечили. А говорить по-русски Муса научился необычайно быстро. Учитель, который приходил готовить его в школу, несколько театрально выражал бабушке свое восхищение:

— Необыкновенно способный и, главное, усидчивый ребенок!

Недоверчивая бабушка светски улыбалась и качала головой, но в словах учителя не было преувеличения. Муса удивлял меня упорным познанием жизни через учение. А я считала все занятия в школе выдуманной, обязательной неприятностью, не имеющей никакого отношения к жизни, и черпала знания непосредственно из окружающего мира.

Про меня говорили:

— Очень способная, но ленивая...

Формула, которая стала для меня потом безошибочным предсказанием несостоявшихся талантов...

Часто среди дня, в разгар своего энергичного безделья, я врывалась в комнату Мусы. Он почти всегда читал. Читал увлеченно и напряженно. Для меня тоже исчезало все окружающее за страницами «Острова сокровищ» или «Голубой цапли», но Муса читал учебники! Шевеля губами, он вникал в грамматику или природоведение. Это было ему по-настоящему интересно. Он познавал!

— Я теперь всегда могу правильно говорить. Именительный — кто пришел? Собака. А кого побили? Я уже не скажу «собака», а скажу «собаку». Кому дали мясо? Собаке.

А я в свое время заучивала падежи механически, никак не проверяя ими собственную речь.

— Знаете, папа был настоящим ученым, — говорила мне Мария. — Раньше мы с мамой как-то этого не понимали. Профессор, завкафедрой, книги у него выходили. А для нас он — Мусиша и Мусиша. Очень мягкий, добрый был дома. Я как-то поддалась моде и косы отрезала. Очень боялась маме показаться. А главное — сама себе не понравилась стриженная. Иду домой из парикмахерской, чуть не плачу. Пошла прямо в сад — там у нас беседка над арыком. Папа в ней с аспирантами занимался. Вокруг него всегда молодежь толкалась. Он вышел из беседки, посмотрел на меня, сразу все понял. «Ничего, дочка, не расстраивайся, главное — береги здоровье, береги здоровье...» Так с ним легко было!

Мне тоже было с ним легко. В его камерке стоял топчан, застланный толстой кошмой, которую он привез с собой. Спать на тюфяке Муса отказался. Подушка у него тоже была своя, тоненькая, в яркой сатиновой наволочке. В комнате еще был небольшой стол и тумбочка из бабушкиной спальни — серая на выгнутых ножках. Надо же было мальчику куда-то уложить свои вещи, и не покупать же специально для него шкаф.

Я отсиживалась в этом убежище в дни, вернее, часы черной меланхолии (по определению бабушки). Это бывало, когда наша классная руководительница Алиса Ивановна, подводя итоги четверти, наткнувшись на мою фамилию, патетически возглашала:

— О, тут у нас целый букет: алгебра, геометрия, физика, астрономия, — да, мы тогда проходили астрономию, — четыре предмета неудовлетворительно!

— И поднимала кверху острый палец.

Или когда преподавательница математики Ольга Онисифоровна выводила мне очередной «неуд», приговаривая не без удовольствия:

— Нет уж, милая, твои литературные таланты на этот раз не спасут тебя от переэкзаменовки по геометрии...

В такие дни, примчавшись домой и швырнув сумку куда попало, я уединялась в комнату Мусы (его присутствие мне никогда не мешало) и писала стихи:

Пуускай шипят встревоженные змеи,  
Пуускай клеветает червь, пуускай язвит оса,  
Мы к небу высоко свои знамена взведем,  
Приладим крепче руль и вздуем паруса...

И так далее. Куплетов на десять. Потом это публиковалось в нашей школьной стенной газете, и никто не смог бы доказать, что это стихи не о происках империалистов.

Дорогие мои, прекрасные педагоги! Ни разу за все годы моей учебы у меня не было ни одной переэкзаменовки именно по причине моих успехов в гуманитарных науках. Репутация лучшего поэта нашей школы придавала мне нахальную уверенность в безнаказанности.

Излив душу в творчестве, я отправлялась промыслить что-нибудь вкусное. Длительный период это было ореховое варенье в большой стеклянной банке. Как-то я обнаружила, что пергаментная бумага, покрывающая банку, легко приподнимается. Тут же я извлекла из банки большой черный орех, наполненный ароматным соком.

Надо сказать, что варенье из орехов редко делается дома. Его заказывают женщинам-специалисткам, которые срезают с грецких орехов младенческого возраста тонкую шкурку, вымачивают их в известковом растворе, — словом, возни тут на три недели.

В этом году бабушка заказала сто орехов. Я справедливо решила, что пересчитывать их никто не станет, и в грустные минуты услаждала орехами себя, а заодно и Мусу. Мы с ним съедали по ореху в его комнате, после чего я отправлялась познавать мир уже в улучшенном настроении...

Но все кончается. И однажды я долго бултыхалась пальцами в густом сиропе, прежде чем нащупала орех. А когда бабушка в ожидании гостей собралась

открыть банку, то обнаружила всего десятка полтора орехов, сиротливо утопающих в соку.

Кого же заподозрили? Конечно, меня! Я отрицала вину с такой гневной горячностью, что сама почти уверилась в своей правоте. Но дедушка, недовольно морщась, негромко сказал:

— Хватит, Мусенька, не устраивай театр...

А бабушка, поджав губы, гремела связкой ключей, запирая дверцы буфета. Но ведь Муса был тут же, за столом! По всем законам высокой литературы он должен был бесстрашно взять мою вину на себя, тем более что эти орехи ели мы вместе! А он молчал и даже с интересом вертел головой, наблюдая за моим позором.

— Предатель! — сказала я ему, вложив в свои слова глубокое презрение.

Он удивился.

— Не понимаешь, да? Ты не ел орехов, да?

— Я их не брал.

— А выручить товарища — ты это понимаешь?

— Ты сама не понимаешь, — сказал он. — Я один, без отца, без матери...

— Подумаешь! У меня тоже мама в Москве учится, папа в экспедиции...

— Ты своя. А я кто? Всем чужой...

И вдруг он заплакал.

— А зачем ты сюда приехал?

И я услышала имя, которое уже не раз повторялось в нашем доме:

— Меня Шох прислал...

Мой дед был специалистом по хлопку. В первые годы советской власти он часто ездил в Закаспийский край как хлопковод-практик, как человек, знающий азербайджанский, туркменский, фарсидский языки и имеющий личные дружественные связи с кочевыми племенами. Главой одного из крупных родов кочевников был Шох. А Муса — сирота, крошечное зернышко этого рода, которого не жалко послать в Россию, чтобы потом иметь в своем

распоряжении грамотного, владеющего русским языком и поэтому полезного человека.

Нужно ли женщине, которая сидит сейчас напротив меня, знать о прошлом ее отца? Что связывает ее с прошлым?

— Папа был мелиоратор, а я стала геологом. В первый же год, как закончила институт, получила путевку в международный молодежный лагерь. Там встретила Стаса. И как-то очень быстро у нас все решилось. Мама в ужас пришла: в чужую страну не пушу, и все! А папа у меня был особенный. Ему не хотелось со мной расставаться, но он ни словом меня не удерживал. Только одно твердил: всюду оставайся сама собой, старайся поглубже понять людей, с которыми тебя свела жизнь... Сначала я поехала в Варшаву по приглашению. Вроде смотрин. Встретили меня приветливо, ласково. А вечером я вошла в комнату его матери — она лежит на кровати и плачет. Ну, просто рыдает. Языка я тогда еще не знала. Что делать? Села на кровать, обняла ее и тоже заплакала. Она говорит, что вот в этот вечер меня и полюбила...

Нет, вы не думайте, что потом уже все было легко и просто. Помню, когда я уже переехала и язык уже знала — не так, как сейчас, но все понимала, — слышу, моя свекровь говорит соседке: «Мало ему было девушек в Варшаве. За него любая пошла бы. Так нет, ему туркменка понадобилась...» А я уже беременная. Сгоряча решила — уеду к отцу. Чемодан стала укладывать. А потом поняла — не могу от Стаса уехать. Зато когда близнецы родились, свекровь с ними ночей не спала, сама и купала и пеленала... Так же самоотверженно, как у нас делается... И я тогда особенно поняла то, что не раз повторял мой отец: между людьми всех наций больше сходства, чем различия...

Шох сказал: «Выучишься, вернешься и станешь моей правой рукой». Эту единственную фразу, обращенную непосредственно к нему, услышал Муса из уст великого человека своего детства.

Мне он рассказал об этом много позднее. А пока всякое упоминание о Шохе заставляло его благоговейно настораживаться. А я в то время, во-первых, ниспровергала авторитеты, а во-вторых, Шох не мог быть более весомым, чем мой дед.

И вообще Мусу надо было перевоспитывать.

— Подумаешь, Шох! — Я выражала презрение не только голосом, но и брезгливой гримасой. — Вот объясни мне, что в нем такого особенного?

— Шох не знает счета своим верблюдам! — отбивался Муса.

— Он, может быть, только до десяти умеет считать?

— Шох очень умный. Его все слушают.

— Умный! Он, наверное, даже не знает, кто такой Пушкин!

— Шох читает коран! Шох был в Мекке! Шох святой!

Я злилась, но сломить Мусу в словесном поединке не могла. А мне хотелось воспитать из него нового человека, лишённого фанатизма, предрассудков и кумиров.

Надо было как-то действовать. Я его накормила свининой.

Дело в том, что запрещенная кораном свинина представлялась Мусе главным образом в виде колбасы, от которой его особенно предостерегали в Туркмении. И когда у нас на столе появлялась колбаса, он опасливо, бочком сползал со стула и удалялся в свою каморку. Мое возмущение ничуть не помогало.

— Да это телячья колбаса, пойми!

— Одно слово — колбаса, — говорил он, в ужасе растопыривая пальцы.

— Ну и что с тобой будет, если ты ее съешь?

Он закрывал глаза.

— Очень плохо будет.

— Это предрассудок, пойми!

— Мусенька, я не буду есть колбасу. Я умру.

Дедушка, человек прошлого времени, брал сторону Мусы:

— Не трогай его. Это все постепенно пройдет.

Но ждать было не в моем характере. Я сделала два бутерброда из буженины, которая по виду совсем не похожа на колбасу, и мы с Мусой, готовые поглощать пищу в любое время, съели их почти сразу после обеда.

— Очень вкусное мясо, — одобрил Муса.

Я все-таки немного побаивалась своего эксперимента и поэтому выждала полчаса, убедилась, что Муса в полном здравии, и спросила невинным голосом:

— Так правда, вкусное было мясо?

— Очень вкусное!

— А это была свинина! — с торжеством объявила я. — Свинина, и ничего с тобой не случилось. Вот теперь ты убедился, что это предрассудок?

А Муса вдруг с размаху упал вниз лицом. Он лежал на полу и не откликался на мои уговоры. В смятении я сперва убежала, потом вернулась снова. Муса перебрался на топчан, теперь он лежал лицом к стене и по-прежнему не хотел меня видеть. Его поразило горе. Он не открывал глаз, не зажигал света. Я тронула его худенькое плечо. Оно было напряжено и вздрогнуло от моего прикосновения. Он плакал.

Я пошла к дедушке. Спокойный и благодушный, он сидел за большим обеденным столом, раскладывал пасьянс «косыночка» и пел высоким тенором. У деда были три любимые песенки: «Сердце красавицы», «Пой, ласточка, пой» и несложный мотив, содержащий одну строчку непонятного текста: «Пури, пури, давай пумпури». Именно эту последнюю песню дедушка и выпевал, когда я подсунулась ему под руку.

Я была уверена, что Муса все расскажет, и, конечно, боялась. Но еще больше боялась, что он действительно умрет. Внушала себе, что у мальчика уже начались судороги. Так я дедушке и сообщила — «судороги», скрыв пока что причину внезапной болезни Мусы.

Дед пошел в каморку, а я пристроилась у двери, хотя подслушивать было бесполезно. Присев на топчан и положив мальчику на голову большую белую руку, дедушка заговорил с ним по-туркменски, на секунду прервав себя, чтобы

внушительно крикнуть:

— Муся, закрой дверь!

Я приготовилась к худшему и подыскивала опору своему слабеющему духу. Прогрессивное и бескорыстное направление моих побуждений — вот в чем была моя сила. Люди всегда страдали за правду.

Но на этот раз мне страдать не пришлось.

Дедушка позвал меня в столовую и, собирая со стола маленькие карты несостоявшегося пасьянса, сказал не сердито, а даже просительно:

— Развлеки его чем-нибудь, Мусенька. Ты, если захочешь, придумаешь. Тоскует мальчишка. Он утром открывал глаза — кругом степь, свобода. Тоскует. Жалко ребенка.

Он вынул из кармана жилета три рубля — сумму по тем временам значительную.

— Может быть, в кино его поведешь...

В этот день идти в кино было поздно. Но на меня нахлынула радостная жажда деятельности. Муса поступил благородно. Он не выдал меня, и я должна была немедленно вознаградить его.

Я перевернула ящики своего шкафчика. Не дарить же ему модное кашне или флакончик духов — самые мои большие ценности.

Толстая тетрадь вся исписана моими стихами... Акварельные краски — остатки на доньшке... Но я знала, что найду вещь, достойную внимания. И нашла. Черный листок копировальной бумаги. Муса еще не знал ее волшебных свойств.

— А что я тебе сейчас покажу!

Он повернул ко мне голову и покосился любопытным глазом.

— Можно в точности срисовать любую картинку из книжки...

Я вложила лист белой бумаги и копирку между страницами Брема и, встав на колени перед тахтой, быстренько перевела индийского слона.

Муса не умел притворяться. Черная копирка поразила его, как чудо. Он спрыгнул с тахты и пожелал сам воспроизвести именно того же слона. Весь

вечер мы занимались копированием картинок из учебников. Муса не расставался с черным листочком. Он принес его даже к вечернему чаю.

— Ах, какой умный человек придумал такую бумагу! Он, наверно, был профессор!

В щелочках век счастливо сияли его глаза.

— Очень был умный человек, — серьезно подтвердил мой дед.

Ничего этого Мария не знала. Да ведь и что знать? Зато она рассказала мне, как женился ее отец. Рассказала трогательную семейную легенду, полуправду, созданную и любовно раскрашенную ее участниками.

История начиналась с появления на свет будущей жены Мусы, которая родилась от невозможного по тем временам союза юноши-еврея с чувашкой. Родители влюбленных жестоко преследовали молодую пару, разлучали мужа с женой, а их ребенка поочередно выкрадывали то еврейские, то чувашские родичи. И наконец мать Марии, тогда еще совсем молодая женщина, лишившись всех близких, нашла пристанище на должности уборщицы в Ташкентском сельскохозяйственном институте, где учился Муса.

— А у папы, представляете, был роман с одной пианисткой. Красавица была невиданная. Все думали, что папу оставят при институте — он был очень способный, — но вдруг его при распределении послали в Андижан. И она ему отказала! Представляете?

Уже в последние дни перед отъездом папа вышел в институтский парк, а мама с подругой вытряхивала там половики. Мама и говорит: «Вот вы уезжаете, а мы опять же тут остаемся». Папа в шутку возьми и скажи: «Поедем со мной!» А мама ответила: «Все вы так смеетесь, а жениться никто не женится». А папа сразу ей всерьез: «Пойдем завтра в загс». И пошли! Началось как будто с досады, а потом такой счастливый брак вышел...

— А почему его не захотели оставить при институте?

— Ох, это страшная глупость! Он был сыном бедного пастуха, рос сиротой, а ему все время приписывали богатого родича, бая. Очень долго за папой эта

ниточка тянулась. Но он был такой талантливый! И докторскую защитил, и кафедрой заведовал...

Тратить деньги на кино не имело никакого смысла. Все ребята нашего двора взбирались на плоскую крышу, затем с некоторой опасностью для жизни перепрыгивали на крышу соседнего дома, карабкались по подставленным камням на высокую стену и оказывались прямо напротив летнего экрана кинотеатра «Горняк», в котором каждую неделю шли новые «боевики».

Так что зрелищем мы были сыты. А деньги частично истратили в магазине с вывеской, всегда будоражащей мое сердце: «Писчебумажные товары, Ииндержишек». Ииндержишек — это не сокращение, это фамилия владельца. Вероятно, главы фирмы, потому что, как мне помнится, в нашем городе было несколько магазинов с такими вывесками. Мы взяли несколько пачек копировальной бумаги — черной, синей, зеленой и красной, а также много ярких лакированных изображений цветов, скрещенных рук и ангельских головок, носивших название «налепки».

На остальные деньги мы ели мороженое в павильоне на Приморском бульваре. Каждому из нас подали полный двойной ассортимент — по два шарика ванильного, шоколадного, лимонного, фисташкового и еще клубничного. Получилось не меньше чем по полкило на брата.

А потом мы пошли бродить по вечернему бульвару. Постояли на пристани, прислушиваясь к тому, как равномерно, негромко шлепает море о деревянные сваи. К пристани шел пароход, увенчанный разноцветными огнями. Он двигался неслышно, только откуда-то из его глубин раздавалась музыка и мужской голос пел слова таинственной песни:

Есть в Батавии маленький дом  
На окраине поля пустом...

На меня в этот миг налетело радостное предвкушение будущей жизни. Я

словно услышала паровозные ночные гудки в шуме бегущего поезда, увидела березовые рощи, дорогу в овсяном поле, ледяные горы в синем небе. Все приметы будущего счастья, горя, красоты и боли.

Муса стоял рядом. Но, видимо, наши существа, ублаженные мороженым и осчастливленные тяжестью магазинных свертков, были одинаково охвачены высоким мироощущением.

— Мусенька, — сказал он, — в книге я читал, что есть люди, которые бросают свой дом и уходят в пустыню. Совсем одни живут. Черные сухари кушают. Зачем они так делают?

Я тоже не понимала — зачем?

Приехал Шох!

За месяц до его прибытия дедушка получил письмо в истрепанном желтом конверте с безграмотно написанным адресом. Само же послание было на тонкой рисовой бумаге, испещренной красивой арабской вязью. Дедушка читал его про себя за общим столом, потом что-то сказал бабушке по-армянски. И только закладывая конверт во внутренний карман пиджака, увидел напряженно ожидающее лицо Мусы.

— Шох поклон шлет. Интересуется, как твои успехи.

Не было этого в письме! Дед проговорил эту фразу неестественной скороговоркой. Но Муса просиял.

Еще не знали точного дня прибытия гостя, но хозяйственная бабушка заблаговременно перевела меня в столовую. Мою комнату готовили для Шоха. Муса все свободное время сидел за учебниками. Он хотел поразить Шоха своей образованностью. Это желание было понятно и мне. Мы вместе обсуждали будущее торжество Мусы.

— Ты как начнешь читать, он и закачается!

Муса счастливо хихикал.

— Вытирают от удивления свои лупоглазые глаза, скажет: «Ай да Муса! Настоящий профессор!» И будет тебя на «вы» называть.

Эти предположительные картины вызывали у Мусы такое восхищение, что он прощал мою неуважительность к персоне Шоха.

Он даже исхудал, истаял в ожидании своего повелителя.

Наконец пришла телеграмма.

Вечером мы с бабушкой перебрали десять стаканов тонкого «ханского» риса для плова. Утром дедушка отправился на базар и вернулся в сопровождении амбала, который нес зембиль с огромным ломтем свежей розовой лососины, бараньей ногой и другой провизией.

Потом дедушка и Муса уехали на пристань встречать пароход «Али-баба». А к обеду явились два моих дяди с женами.

Они были тогда совсем еще молодые — дядя Арто, ученый-географ, и младший — дядя Лева, врач-рентгенолог, «дамский угодник», как называла его бабушка.

Между их женами тут же началось вечное негласное соревнование на звание «любимой невестки». То и дело слышалось: «Мама, что надо помочь?», «Ничего не трогайте, только мне скажите», «Посидите, отдохните, я сама все сделаю...»

Но все уже было сделано — и стол накрыт, и кофе намолот.

Дядя Арто обозревал закуски.

— Где икра? — спрашивал он, изображая отчаянье. — Где паюсная, мешочная, зернистая икра? Неужели оскудел этот дом?

— Икры и не может быть, — лениво отзывался дядя Лева. — Закон ислама гласит: все, что живет в море и не покрыто чешуей, правоверным в пищу не годится.

Противень с кругом лососины вытянули из духовки. Бабушка беспокоилась, что подгорят кусочки лаваша под пловом.

— Этот далай-лама уморит нас голодом! — сердился дядя Арто.

Наконец в столовую влетел Муса. Запыхавшийся, очень взволнованный.

— Приехали... Сейчас дворник вещи принесет...

И снова кинулся на улицу.

Я поймала его взгляд и подмигнула ему в предвкушении будущей победы. Внесли вещи, непохожие на наши чемоданы и баулы. Это были ковровые мафражи, тугие тюки, обтянутые парусиной, переметные сумы, вытканые из яркой шерсти. Все вещи пахли дымом костра, бараном, полынью.

Потом появился Шох.

Дедушка шел впереди, как бы пролагая ему дорогу. Я смотрела на Шоха с таким вниманием, что навсегда запомнила все до мелочей. На нем был длинный кафтан в серую полоску, темно-зеленая шелковая рубаша, подпояска из цветного платка. Будто сейчас вижу огромную в длинных завитках папаху и четки из черного агата в окрашенных хной пальцах. Красноватая борода Шоха росла ниже подбородка, а сам подбородок был не то чтобы гладко выбрит, а вообще начисто лишен волос — крупнопористый, коричневый, как все лицо. Только глаза Шоха я не запомнила, — может быть, потому, что никогда не могла встретить его взгляд.

Шох, высокий и тонкий, сделал перед бабушкой красивое легкое движение — поднял руку к глазам, к груди и как бы простер к земле. Чуть наклонил голову в сторону дядей. Молодых женщин просто не заметил. А я за все время его пребывания в нашем доме так и не попала в поле его зрения...

Вот таким был Шох. Не может быть, чтобы Муса не рассказывал о нем своей дочери. Но она вспоминала о другом.

— Папа был очень общительный, а мама нет. Она только любит, чтобы вся семья была около нее. А так не получается. Вот и моя семья сейчас раздроблена. Мы с мужем в экспедиции...

— А что за экспедиция?

— Совместная, международная. Советские геологи и польские. Выявляем горные ресурсы. Я как связующее звено — геолог и переводчик. Работа интересная, и к маме часто летаю, только по детям скучаем, особенно Стас. Он хороший отец. Но не всегда у нас с ним полное взаимопонимание. Представляете, образованный человек, а по воскресеньям и в праздники с

матерью в костел ходит! Я в отпуск домой приехала — папа, говорю, что делать? Я ведь знала папины взгляды. А он меня удивил. «Мусенька, говорит, надо уважать чужие убеждения. Постепенно, говорит, своего добивайся, не сразу...» И вспомнил, как вы в целях воспитания накормили его свиной...

Вот они сидят — Шох во главе стола, по правую его руку дедушка, по левую — Муса. Шох мальчика точно не замечает, но Муса весь наполнен его присутствием. Он готов в любую минуту сорваться с места, чтобы услужить повелителю. Мне это было неприятно, хотя и я неосознанно чувствовала, что Шох — личность.

Плов Шох и дедушка ели руками. Кругообразно обводя пальцами по тарелке, приминали зернышки риса в жирный комок и отправляли его в рот, не уронив ни крошки.

В конце обеда принесли пиалы с теплой водой, и Шох обмакнул в воду свои длинные пальцы с оранжевыми ногтями. В другой пиале пополоскал белые руки с большой бирюзой на безымянном пальце мой дед.

По столовой плавал аромат арабийского кофе и апельсинов. На тарелках высились горки фисташковых скорлупок. Все шло ко времени подведения итогов, к показу успехов, достигнутых малым побегом племени Шоха.

Сделать это следовало непринужденно, как бы между прочим, хотя непринужденности не было и в помине. Ответственность за наступающий миг ощущали и я, и бабушка, и даже оба дяди. Может быть, всем передалось волнение Мусы, у которого совсем закрылись глаза и открылся рот.

В столовой на подоконнике лежали тетради по русскому и арифметике, отмеченные в конце каждой работы красным учительским «хор». Чтобы совсем сразить Шоха, тут же была и стопка рисунков, тщательно переведенных из разных книг и раскрашенных акварелью. Муса согласился на этот обман, подстрекаемый тщеславием и в надежде на то, что Шох не знает о существовании копировальной бумаги.

Была подготовлена и концертная часть. Я долго подбирала подходящие стихи

и наконец выбрала «Мцыри». У Мусы была необыкновенная память, он мог выучить наизусть всю поэму. Но было решено, что он прочтет только первую главу, а в качестве аккомпанемента я исполню на пианино свой последний урок — «Баркаролу» Чайковского.

Мы были во всеоружии. Но никто не торопился призвать нас к действию. Им, видите ли, было важно, какая в Закаспийском крае погода, как поживают дети Шоха, его верблюды, его стада баранов. Спрашивали вежливые дяди, спрашивала бабушка. Шох отвечал, дед переводил. Я заметила, что Шох понимает по-русски, но говорить не хочет. А почему бы ему не поинтересоваться: «А ну-ка. Мусиша, покажи, чему ты тут научился?» Но даже когда вежливый разговор иссяк и все на минуту замолчали, он не сделал ни одного движения в сторону мальчика.

Понял наше нетерпение дедушка. Разламывая надвое фисташку, он благодушно сказал:

— Почитай-ка нам что-нибудь, Муса, а мы послушаем...

Дядя Арто раскрыл толстый портфель, который всегда был у него под рукой, и вытащил два тома.

Он не успел раскрыть книгу, как Муса, взглянув на обложку, крикнул не своим голосом:

— История ха ха века!

Дядя Арто успел негромко сказать: «Ого!»

— История хих века! — провозгласил Муса заглавие другого тома. Он не знал римских цифр! Я точно провалилась в глубокий колодец. Сейчас засмеются дяди, у которых чувство юмора в переизбытке. Сейчас Шох поймет, что мальчика недоучили.

Но никто не засмеялся. Все только на секунду застыли. А Муса пулеметно, без точек и запятых, выкрикивал текст из истории XX века. Больше всего он боялся запнуться на каком-нибудь незнакомом слове. Но поначалу этого не произошло, и он, успокоившись, шпарил все быстрее, временами останавливаясь, чтобы перевести дыхание, и тогда его коричневые глаза с

ожиданием и надеждой устремлялись на Шоха.

И я смотрела на Шоха. Мне так хотелось, чтобы он удивился, засмеялся, похлопал Мусу по плечу...

Дедушка одобрительно кивал, дяди сдержанно улыбались. Шох сидел безучастный, как каменный истукан. Его лицо было брезгливо-утомленным. Когда Муса на секунду замолк, чтобы перевернуть страницу, Шох повернулся к дедушке и спросил его о чем-то по-туркменски. Муса снова было начал читать, но, не глядя на него, Шох сделал отстраняющее движение рукой, и мальчик замолчал.

— Молодец Муса, — сказал дядя Арто. — Поразительно способный ребенок...

— За короткое время такие успехи...

Мои дяди делали вид, что говорят друг с другом.

Тогда, равнодушно качнув головой в сторону Мусы, Шох бросил короткую фразу, которую Муса потом смог перевести мне только приблизительно. В его русском языке не хватало слов для более точного перевода.

— Дождь над морем не нужен, — сказал Шох.

— Но это не значит именно «дождь», — пытался втолковать мне Муса. — Так говорят, когда делается совсем ненужное дело... совсем глупое дело...

— Сейчас перед нами стоит вопрос воспитания детей. Я уверена, что свекровь их без меня в костел таскает и на воскресные беседы к пастору водит. Только на то и надеюсь, что для мальчиков я пока самый высокий авторитет. А как поступить, чтобы никого не обидеть? Если бы папа был жив, все было бы проще. Он очень любил моих ребят. Бывало, привезу их к нему на все лето — и они просто преображенные домой возвращаются. Он с ними целые дни возился и столько в них вкладывал! «Пусть молодые везде чувствуют себя дома. Так когда-нибудь и будет на земле». Это был его конек — поговорить о будущем...

Шох прожил у нас неделю. Каждый день варили плов. Каждый день в

определенные часы из моей комнаты доносилось бормотанье — Шох молился. Для этого в углу был постелен коврик. Меня очень интересовало, как это происходит, но дверь в комнату всегда была плотно закрыта.

Дедушка возил Шоха по учреждениям. Оказывается, Шох приехал, чтобы продать советской власти земли своего племени. Но из этого, кажется, пока что ничего не получалось.

Муса получил из рук Шоха посылочку от каких-то своих дальних родичей — мешочек риса, толченого с сахаром, и сумку катышков из теста, варенных в бараньем жиру. Он готов был одарить своими гостинцами всю нашу семью — принес их к общему столу, — но бабушка посоветовала ему держать сладости в своей комнате и кушать, когда он сам захочет.

Меня это вполне устраивало. Но пиры у нас получались невеселые. Муса все никак не мог прийти в себя. Безразличие Шоха к его успехам выбило опору из-под его ног.

С ртом, набитым сладкой рисовой мукой, которая при каждом слове вылетала, как облако, я допытывалась у Мусы:

— Ну что ты для Шоха, что ли, учился?

— Для Шоха, — отвечал он уныло, — я должен был стать его правой рукой. А теперь не нужно. Шох говорит — русские совсем испортились. Он не хочет с ними дела иметь. Он уходит в Персию. Землю продаст и уйдет.

— Не продаст он землю.

Муса недоверчиво усмехнулся.

— Земля народная, — сказала я, вколачивая эти слова в продолговатую, как дынька, голову Мусы. — Не его земля. Теперь все переменялось. А твой Шох этого не понимает!

— Мусенька, он меня увезет с собой...

— Ну, знаю, — довольно равнодушно отозвалась я. — В школе тебя отпустили, а осенью приедешь снова.

В этот день Муса ничего больше мне не сказал. Шоха собирали в дорогу. Он ездил с дедушкой по магазинам и скупал совершенно неинтересные вещи —

множество глубоких галош на красной подкладке, чай, спрессованный в плитки, головы сахара и рулоны красного и синего сатина.

Шла весна, у меня хватало своих забот. Надо было натянуть отметки по математике, чтобы не иметь на лето тяжелой гири переэкзаменовки. Время уходило не столько на занятия, сколько на организацию. Кто-то должен был решить за меня годовую контрольную, кто-то незаметно передать ее мне. А я со своей стороны подрядилась написать три сочинения по литературе.

Так что события нашего дома отошли для меня на второй план. Я и забыла совсем, что назавтра Шох и Муса уезжают, шла домой из школы, помахивая сумкой, когда вдруг увидела Мусу.

— Чего ты здесь торчишь?

— Тебя жду. Пойдем немножко по улице.

— Зачем?

Он жалобно перекошил лицо.

— Вместо того чтобы радоваться, ты какой-то ненормальный стал, — назидательно сказала я. — Домой едешь! В родные края!

Муса молчал.

В двух шагах от нашего дома был маленький сквер, именуемый Молоканским. Днем там сидели няньки и бабушки с младенцами и малолетними. По вечерам туда ходить не рекомендовалось. У входа в этот чахлый садик продавали воздушные шары и разноцветные вертушки — бумажные розетки, прикрепленные к скрещенным палочкам. Когда бежишь против ветра — розетки крутятся.

В садике нежно пахло травой, которая повсюду проклюнулась сквозь палые листья.

Мы нашли свободную скамью. Муса ни за что не хотел сесть с кем-нибудь рядом. Его дело требовало конспирации.

— Мусенька, я не хочу уезжать с Шохом...

— Ну, удивил! — сказала я. — То ах юрта, ах верблюды, ах родные просторы, а то «не хочу»...

— Мусенька, он меня не отпустит обратно... Это навсегда!

Только тут я стала понимать Мусу.

— Я не хочу в Персию, я там ничего больше не узнаю. Шох говорит, чтобы баранов пасти, много учиться не надо. Ну, пусть ему не надо. А мне надо. Я хочу астрономом стать...

— Ну, оставайся...

— Как останусь? Кто меня кормить, одевать будет?

— Ну совсем малахольный. Жил у нас до сих пор и будешь жить.

— За меня Шох платил.

— Кому платил?

— Дедушке. Вчера сидели, считали — за дорогу, за учителя, за брюки, за рубашки... Знаешь, сколько денег Шох отдал...

— Врешь ты...

Я знала, что Муса никогда не врет, знала, что это правда, но не могла ее принять. Ах, как хотелось бы мне, чтобы дедушка не брал никаких денег. Чтоб не было никаких расчетов ни за учителя, ни за рубашки, ни за кусок хлеба, съеденный в нашем доме.

Все теперь как-то странно переменялось. Я впервые осуждала дедушку. Я не могла больше идти к нему и требовать, чтобы Муса остался у нас.

И все-таки Муса не должен был уезжать!

— Шох сказал — столько денег выбросил на ветер, лучше бы ишака купил...

Он плохой человек!

— Дошло до тебя наконец...

Сквозь щелочки глаз у Мусы просочились слезы. И потекли, потекли...

Я приняла решение. Он останется. Будет продавать вразнос ириски и шоколад «Одесса-мама», а я буду делать мережку по десять копеек за метр и отдавать ему деньги. Как-нибудь обойдемся.

Муса слушал меня, но все еще всхлипывал.

— А разнюнился ты! — сказала я сурово, чтобы поднять его дух. — Главное

— не уедешь. Не бойся. Я тебе ручаюсь!

...Та пятница — выходной день в Азербайджане — началась с предотъездной суматохи. Пароход — на этот раз «Илья Муромец» — отходил в двенадцать часов, но бабушка встала с зарей. Дед тоже поднялся рано. Когда он хотел с бабушкой посеCRETничать, они говорили по-армянски, хотя я отлично все понимала.

— Это хороший ребенок, — говорил дедушка. Видимо, разговор у них шел о Мусе. — Жалко его...

— Еще неизвестно, где он будет счастливее, — вздохнула бабушка.

Дед вдруг рассердился на нее, что бывало очень редко.

— Думаешь, что говоришь! Неужели ты не понимаешь, что здесь теперь наступили времена именно для таких, как он?..

У меня было много хлопот в этот день, и время летело быстро. Дворник Мухан уже выносил из дома тюки и переметные сумы. Вещи Мусы — узелок, фанерный чемодан и связка учебников — лежали у дверей, но самого Мусы нигде не было.

Вот уже выпили на дорогу кофе. Невозмутимый Шох летящими движениями руки попрощался с бабушкой и вышел, чтобы сесть на извозчика.

— Где Муса?

Дедушка повернулся ко мне, но я опередила его. Я выскочила во двор, отчаянно призывая Мусу. Я заглядывала во все подвалы, дважды забежала в дворницкую, где с особым старанием перевернула дивно пахнущие полынные веники, стучалась в квартиры соседей.

Шох сидел на извозчике прямой и неподвижный — только шевелил своими четками, а дедушка поглядывал на часы, потому что стрелки уже перевалили за одиннадцать. И дядя Арто поглядывал на часы, но все молчали. Наконец Шох сказал что-то коротко и отрывисто. Дедушка наскоро отдал распоряжение дяде остаться дома и, если появится Муса, везти его на пристань, а мне велено было сесть на место дяди Арто и ехать провожать Шоха.

Почему бы не поехать? Тоже удовольствие.

На обратном пути дедушка со мной не разговаривал. И вообще был не в духе. Дома Муса не было. Бабушка встретила нас встревоженным взглядом и ушла с дедом в свою комнату.

А я помчалась на веранду. Там в длинном деревянном ларе, где хранились продукты, придавленный мешком с орехами, лежал плоский белый Муса — и не шевелился, не дышал...

— Люди добрые! — закричала я, выскочив во двор и вздымая к небу руки. — Люди добрые, помогите, я погубила мальчика...

Нет, я его не погубила. Он очнулся и скоро пришел в себя. Потом он много учился, но стал не астрономом, а специалистом по орошению безводных земель, ученым, профессором. У него была дочь и два внука — Муса и Анджей.

Знает ли Мария, что судьбу ее отца решила я?

Вечером мы долго совещались, куда спрятаться Мусе. Я предлагала в дворницкую, под веники. Но уже утром, перед отъездом, он сказал, что залезет в ларь. Я тщательно прикрыла его мешками.

Прошло много лет. Почему мы потом не встречались? Вернулись мои родители, наша семья отделилась от стариков. Умер дедушка. Муса уехал работать и учиться в Ташкент. У меня началась своя молодая, счастливая, трудная жизнь. И мы потеряли друг друга.

И все же именно я причастна к тому, что Муса осуществил свои мечты. Он прожил хотя и недолгую, но богатую, полную жизнь и оставил свой след на земле.

И сейчас я чувствовала себя очень гордой. Мария говорила:

— Папа дал мне имя в вашу честь. Он много рассказывал, какая вы были живая, веселая девочка...

Да. Наверное, я была такая.

— Он всю вашу семью любил, но больше всего дедушку. Папа всегда говорил:

только человек большой души мог не испугаться ответственности за чужого ребенка. Ведь он всю папину жизнь перевернул.

Конечно, дедушка сделал для Мусы много. Мальчик жил у нас в доме, из этого дома он уехал учиться в институт. Но все-таки решающая роль в судьбе Мусы принадлежала не деду, а мне! Мария, видимо, ничего не знает об этом...

Но названная в мою честь молодая женщина рассказывает мне о том, что происходило десятки лет назад. И я вдруг поняла, что она знает больше меня. И наконец начинаю понимать, как все тогда было на самом деле...

Поздно вечером, накануне отъезда Шоха, Муса подкараулил дедушку, который перед сном всегда делал моцион — гулял по нашему большому квадратному двору.

Там у них и произошел разговор, вернее, монолог, потому что говорил главным образом мальчик. Говорил он с отчаяньем, понимая, что его желания неосуществимы, и все-таки на что-то надеясь. Он рассказал о детских фантастических планах спасения, на которые не мог пойти он, повзрослевший от горя. Наверное, он плакал, когда говорил, что Муся хочет спрятать его в дворницкой, под новые веники...

Тогда дедушка сказал ему только три слова, и Муса всю жизнь вспоминал их смеясь и вытирая слезы.

— Лучше в ларь, — сказал дедушка.

## Семья Прошьянов

*Не говори с тоской — их нет,*

*Но с благодарностью — были...*

*В газете «Правда» от 20 декабря 1918 года Владимир Ильич Ленин опубликовал некролог «Памяти тов. Прошьяна». Тепло отозвавшись о видном революционере, Владимир Ильич отметил, что, несмотря на все ошибки и*

*заблуждения, «сближение Прошьяна с коммунизмом было бы неизбежно, если бы этому сближению не помешала преждевременная смерть» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 37, с. 385).*

*Человек, о котором написаны эти строки, был сыном известного армянского писателя Перча Прошьяна.*

*Я не знала ни отца, ни сына. Но мне пришлось в течение нескольких лет моей молодости близко общаться с семьей Прошьянов — детей писателя, братьев и сестер человека, входившего в качестве народного комиссара в правительство, образованное В. И. Лениным после Великой Октябрьской социалистической революции.*

*Многое мне запомнилось — доброта, благожелательность, отзывчивость этих людей. И мне захотелось о них — ушедших — рассказать ныне живущим, рассказать о той среде армянской интеллигенции, которая в первой четверти нашего века дала немало прогрессивных деятелей в различных областях культуры. Естественно, по своей тогдашней молодости я не могла составить всестороннюю и объективную оценку того, что увидела в этой семье. Я пишу только о том, что удержала память, не претендуя на исчерпывающую характеристику этих людей, с которыми меня ненадолго свела жизнь в тридцатые годы нашего столетия.*

В этот дом можно было прийти в любое время. Никто не удивлялся, если во втором часу ночи раздавался звонок и появлялись гости. Всех встречали радостным приветствием: «О! Кто к нам пришел!» Всем было обеспечено внимание, сочувствие, признание. В этом доме бывали только одаренные, талантливые, а иногда гениальные, благородные люди. Такими становились все, когда переступали порог квартиры Прошьянов на улице имени 28 апреля. Дом был каменный, старой постройки. Сразу от подъезда лестница в один пролет вела на второй этаж. В передней вечерами сидели незнакомые озабоченные люди. Это были клиенты хозяина квартиры адвоката Папака Перчиевича Прошьяна. Гости же проходили в большую столовую, где их

встречала сестра хозяина Перчануш Перчиевна, которая мне в те годы казалась старой. Она поднималась с широкой тахты, на которой отдыхала после работы. Глаза, молодые, как у всех Прошьянов, излучали доброжелательность.

— О! Кто к нам пришел!

В годы юности мне необходимо было самоутверждение и признание моих дарований. За этим я приходила в дом Прошьянов, где не было никого подходящего мне по возрасту, но где взрослые люди понимали меня гораздо лучше и ценили гораздо выше, чем мои сверстники.

Тикин Перчануш — так называли ее все друзья и знакомые, заменив отчество старинным армянским обращением к почтенной женщине, — преподавала в школе армянский язык и литературу. Она брала на себя еще много нагрузок — водила своих учеников на заводы, посещала с ними музеи, театры и даже нефтяные промыслы. Я знала, что возвращалась она с работы усталая, знала, что ей негде отдохнуть, кроме этой тахты, но, видя ее постоянную искреннюю радость при моем появлении, никогда об этом не задумывалась, и такта моего хватало только на то, чтобы великодушно разрешить:

— Вы лежите, отдыхайте, я посижу...

Она соглашалась, возвращалась на большие мутаки — армянские, круглые, в виде огромных колбас, подушки — и обращала ко мне лицо, обрамленное пышными полуседыми, почти всегда растрепанными волосами.

— Я действительно немного устала... Но какие у нас растут дети! Какие одаренные дети! Проводишь урок, как со взрослыми, мыслящими людьми. Сегодня один мальчик спросил: «Если люди произошли от обезьян, то почему это не случается сейчас? Где сейчас такие люди, которые вырабатываются из обезьян?» Его волнует процесс. Это же интеллект! Будущий Павлов! Ты представляешь?

Я представляла. Вчерашняя школьница, я хорошо знала, как поступают с увлекающимися педагогами. Один-два таких вопроса, не относящихся к предмету, — и полетел урок, спрос, выставление отметок, задание на следующий день.

Но я кивала головой и разделяла радость по поводу того, что у нас растут такие одаренные дети. Так же искренно я восторгалась котом Васо, который из всех утренних звонков безошибочно узнавал звонок молочницы. Я, конечно, знала, что в числе анекдотов об этом доме — а их было немало — есть и маленькая шутка о том, как тикин Перчануш, высунувшись из окна стеклянной галереи, сзывает со двора своих кошек:

— Кисо, Писо, Васо, идите кушать мясо...

Потом начинала что-нибудь рассказывать я, а тикин Перчануш засыпала. Я замолкала не сразу — она проснулась бы. Я продолжала говорить все тише, тише, после паузы повторяла какое-нибудь одно слово, а она спала, и лицо ее менялось — опускались уголку рта, и, не освещенное светом глаз, оно становилось усталым и скорбным.

В доме шла своя жизнь, в передней слабое топотанье и шорохи, время от времени легкий чужой звонок — клиенты.

Но вот распахивалась дверь из кабинета, и в столовой появлялся Папак, на минуту оторвавшись от своих неотложных дел. Его сестра тотчас открывала ясные, не замутненные сном глаза, готовая немедленно включиться в разговор. — Муся, ты не уходи, — предупреждал меня Папак. — Есть новые стихи...

И негромко читал:

Ты пришла ко мне со смехом  
Поздним зимним вечерком,  
Вся укутанная мехом,  
Меховым воротником...

— Ну как? Что скажешь?

И, не слушая, что я скажу, опять скрывался в кабинете.

Тикин Перчануш, покачивая головой, доверительно сообщала мне:

— Ты знаешь, что о нем сказал, — тут называлось громкое поэтическое имя начала века, — когда познакомился с его стихами?

Я не знала.

— Сокровищница поэзии!

Из глубин квартиры в столовой появился Эачи Прошьян, младший брат, художник, вечно будто сонный, помятый, ласково смотрящий на жизнь с высоты своей одаренности. Он пришел в халате — одежда никогда никого из Прошьянов не занимала, — постоял возле стола, улыбаясь отрешенной улыбкой.

— Мусенька пришла, — сказал он, обращаясь, собственно, не ко мне, а просто отмечая факт моего присутствия в доме. — Тогда я повешу свою новую картину.

Не знаю, какую он усмотрел связь между моим приходом и своей новой картиной, но тикин Перчануш расширила свои лучистые глаза и многозначительно подняла палец. Мягко шаркая шлепанцами, Эачи удалился и тотчас вернулся с большой картиной, заключенной в узкую рамку.

— Пока не смотрите, — предупредил он, довольно быстро пристроил картину к стене и отошел к буфету, демонстрируя свою полную незаинтересованность в дальнейшем.

Картина была одноцветная, исполненная не то гуашью, не то углем. Она вся клубилась. Клубились горы, клубились облака над ними, клубился лес на горах, и дороги, и долины. Собственно, и горы, и облака, а тем более дороги и долины предлагалось домыслить фантазии зрителя. Все было обозначено очень условно, и я, воспринимая взволнованную силу этого клубящегося мира, вскрикнула:

— Что это?!

Тикин Перчануш бросила на меня укоризненный взгляд и тотчас посмотрела на брата, не желая брать на себя ответственность за разъяснения.

— «Сотворение мира», — меланхолично ответил автор, рассматривая свое произведение прищуренными глазами.

— Великолепно! — сказала Перчануш.

— Великолепно! — с полной искренностью подтвердила я.

— А может быть, «Сила земли», а может быть, «Сон», — сказал Эачи. — Не знаю! — И засмеялся негромким и недолгим смехом.

С того дня и до самого последнего моего посещения этого дома — а можно ли сейчас вспомнить последнее посещения — я помню эту картину на том месте, куда ее повесил Эачи. Она не делалась привычной. Каждый раз, в соответствии с моим мироощущением, картина открывалась иной стороной и пробуждала новые настроения. Беспокойство? Взволнованность? Но никогда не мир, не успокоение. В те годы я не искала ни мира, ни покоя.

Другие воспринимали эту картину иначе. Постоянный посетитель дома высокий пожилой человек, в прошлом известный адвокат, или, как говорили в те времена, «присяжный поверенный», сказал, задумчиво глядя на картину: «Нирвана». Тикин Перчануш радостно закивала ему в ответ.

У Эачи была мастерская. Художники того времени большей частью работали в растворах городских магазинов. По моим воспоминаниям, в растворе мастерской Эти было темновато. С потолка в нескольких точках свисали голые лампочки. Вокруг «натуры» — хаоса из старых ящиков, бутылок и рваного куска парусины — сидели худые смуглые юноши — ученики.

Эачи затащил меня в мастерскую, встретив на улице в солнечный осенний день. Я была в новом костюме модного цвета «какао», очень довольная собой. Но мрачные юноши, едва удостоив меня беглым взглядом, снова остервенело забили кистями по холстам.

Художник повел меня по мастерской, зажигая по мере надобности лампочки. Так мы прошли его «кубистический период»: нагромождение синих безглазых кубов — «Современный город», несколько оранжевых кубов — «Любимая», и опять груда разноцветных кубиков и кубищ — «Человечество». Потом был «период углов», «спиралей», «окружностей». Картины без названий, где среди полной неразберихи красок и линий вдруг прочерчивался женский профиль или мужская фигура. А в самом углу под вспыхнувшей лампочкой я увидела портрет молодой женщины. Портрет точный, воспроизводящий легкое дыхание кружевной косынки на шее женщины и аромат тяжелой малиновой

розы у нее в руке.

Эачи усмехнулся, предваряя то, что я собираюсь сказать:

— Видишь, вот так я тоже могу. Тебе это больше нравится?

В вопросе был подвох. Конечно, мне это нравилось Несравненно больше! Но легко ли показаться отсталой в семнадцать лет?

Впрочем, Эачи не ждал моего ответа. И скромностью он не страдал.

— Этот портрет на уровне лучших мастеров девятнадцатого века. Я уничтожил почти все свои работы этого периода. На них трудно увидеть больше того, что написано. Можно, но трудно. Понимаешь?

Тут же рядом, в этом укромном уголке мастерской, были развешаны эскизы, этюды, наброски. На всех был изображен один и тот же человек, как мне сначала показалось — Папак. Но, присмотревшись, я увидела, что меня обмануло только общее семейное сходство. Облик изображенного человека был гораздо обостреннее, черты суше, строже, а вместе с тем лицо выражало силу, энергию.

Заметив мою заинтересованность, Эачи сказал:

— Это мой старший брат.

Я слышала о рано умершем брате Прошьянов, который был революционером-подпольщиком и подвергался репрессиям со стороны царского правительства.

— Работал с Лениным, — сказал Эачи. — Первый советский наркомпочтель.

Вот готовлюсь написать его. Не знаю еще как. Но напишу!

Он погасил свет и отошел к своим ученикам, говоря по пути каждому по несколько слов и очерчивая пальцем в воздухе нечто поясняющее его указания. Мрачные юноши подхватывали слова учителя, жадно расширив глаза, и снова утыкались в свою малохудожественную «натуру», а Эачи царственно медленным шагом вышел из мастерской, увлекая за собой меня.

Я хорошо запомнила весь этот день. Не спрашивая о моих делах и планах, Эачи, взяв меня за руку, повел к вокзалу электрички, и мы поехали мимо голых, сожженных солнцем пригородов нашего Баку по дороге, ведущей к нефтяным промыслам.

Сошли мы тоже внезапно — в поселке имени Степана Разина — и направились по сухой, утопанной до каменной твердости дорожке прямо в степь, минуя поселок с его открыточно нарядными домиками. Впереди прокатывались друг за другом невысокие бурые холмы, высились редкие масляно-черные вышки, под ногами лежала потрескавшаяся земля цвета крепкого чая с каплей молока. В тишине чавкала работающая буровая, и запах свежей нефти стоял в воздухе — плотный, материальный. Мы не встретили никого, кроме маленького ослика с перекинутыми по бокам сумками — хурджинами — и при нем невысокого старика с тонким лицом пророка.

Мне было интересно, потому что я не знала, куда и зачем мы идем. За хлюпающей — «тартающей» — вышкой кто-то посеял узкую полосу пшеницы. Посеял и не сжал. Колосья стояли белесо-желтые, прямые, освобожденные от тяжести осыпавшихся зерен.

С неожиданной быстротой Эачи потащил меня на холм. Мы лезли и лезли на его вершину и там трижды перебегали с места на место, пока наконец он не остановился и совершенно успокоенный застыл, глядя перед собой тем отрешенным взглядом, каким смотрел на свою клубящуюся картину.

Я вертела головой и не видела ничего, кроме буровых, которыми была сыта по горло, кроме желтой полосы жалкого поля и синеющих холмов вдали.

— Смотри, — прервал мою суетливость Эачи, — запоминай — цвет, запах, тепло. По всему этому ты будешь тосковать потом, через много лет. Эта минута больше не повторится. Создавай себе вехи, по которым ты будешь вспоминать и, главное, ощущать свою жизнь. Смотри... Дыши...

Мы возвратились домой уже под вечер. Вокруг нас захлопотала тикин Перчануш.

— Целый день гуляли? И он тебя не покормил? О, истинный художник! Вы сейчас будете обедать. Нет, нет, не вздумай уходить, я тебя не отпущу. Пообедаешь у нас, только у нас! Шурочка, разогрейте обед...

Шурочка принесла маленькую кастрюльку супа и сказала:

— Обед весь — вот он. А хлеба нет. Эачи Перчиевич утром-то за хлебом

пошел...

\* \* \*

Позже всех, после спектаклей, в доме Прошьянов появлялись актеры. Со следами грима на лицах они приходили, возбужденные событиями чужой жизни, которую воплощали весь вечер.

Когда шла инсценировка романа Перча Прошьяна «Сос и Вартитер» — драматическая история о разлученных влюбленных, — артисты приносили полученные от зрителей цветы к портрету писателя. И в столовой Прошьянов перед портретом отца всегда стояли веточки мимозы или возвышались наши бакинские, особенно душистые соцветья нарциссов.

Особо помню волнения одной ночи. Специально на спектакль «Отелло» приехали колхозники из Карабаха, ибо Шекспир во все времена — любимый драматург армян. Свою коронную роль Отелло играл тогда еще молодой Ваграм Папазян — блистательный мавр в костюмах, изготовленных для него в Венеции. Дездемоной была Жасмен — артистка яркая и красивая. А Яго — традиционный злодей с кривым наклепленным из гуммозы носом — артист Петрос, фамилии, к сожалению, не помню.

И вот помощник режиссера, случайно вышедший в зал, чтобы посмотреть «изнутри», как принимают спектакль, вдруг услышал страшное армянское проклятье и увидел руку, поднявшую наган, направленный на бедного Яго, отца трех детей, секретаря партийной ячейки труппы.

Помощник режиссера повис на руке пылкого зрителя. Выстрел грохнул в потолок. Действие замерло на несколько минут, но после естественного переполоха все-таки пошло дальше.

По окончании спектакля актеры пришли к Прошьянам, Тикин Перчануш, положив перед собой лист бумаги, требовала заново и заново рассказывать все подробности этого случая, достойного занесения в историю армянского театра.

— Надо записать со слов всех очевидцев, пока еще свежи впечатления...

И она записывала, записывала, отрываясь от бумаги, чтобы еще раз воздать должное артисту, исполнявшему роль Яго.

— Все-таки как ярко надо было сыграть, чтоб пробудить в человеческой душе такую жажду справедливости и возмездия! Ты талант, Петрос, ты большой артист! Я всегда это знала!

И ревнивые к славе своих товарищей актеры в этот вечер охотно поднимали стаканы с вином, искренно приветствуя своего соратника, едва не погибшего во имя искусства.

Еще не вполне оправившись от шока, виновник торжества неуверенно скромничал:

— Это Шекспир, товарищи! При чем я? Это Шекспир...

— Петрос, ты талант!

— Петрос, ты должен завтра же похлопотать, чтобы этот бедный парень не пострадал... К тебе прислушаются. Он жертва твоего мастерства!

— Сельчане его тут же увезли...

— Все равно ты должен справиться и вмешаться, — не унималась тикин Перчануш. — И фамилию его надо узнать. Для истории.

— За твой талант, Петрос!

Он кланялся, а мы все смотрели на него влюбленными глазами. В эту ночь впервые непревзойденный Папазян был оттеснен рядовым трудягой, актером Бакинского армянского театра.

Но я знаю, что сейчас где-нибудь в архивах театрального музея, может быть, в Баку, а может, в Ереване, лежат листки бумаги, исписанные рукой Перчануш Прошьян, запечатлевшие маленький эпизод в многовековой истории армянского театра.

\* \* \*

Я любила приходить к Прошьянам пораньше, до съезда гостей, когда в

передней еще сидят клиенты, Эачи отдыхает «во внутренних покоях» и в столовой горит только настольная лампа.

Но поговорить с тикин Перчануш наедине удавалось не часто. Почти всегда в эти часы за столом перед стаканом остывшего чая сидел высокий худой старик — тот, который увидел в картине Эачи «нирвану». Меня удивляла тихая заботливость по отношению к нему со стороны тикин Перчануш. Хотя он на моей памяти ни разу не прикоснулся к своему стакану, она как-то особенно беспокоилась, чтобы чай был крепкий, чтоб на гостя не дуло из балконной двери, чтобы он сидел в кожаном кресле.

Удивляло и почему-то сердило меня отношение к этому человеку Папака.

Выйдя из кабинета, он наскоро присаживался к столу и спрашивал:

— Значит, ты мне советуешь добиваться слушания этого дела в Нахичевани?

Или заговаривал еще о чем-нибудь сугубо юридическом, не подвластном моему пониманию. И выслушивал очень внимательно. Даже почтительно. А гость позволял себе строго отчитывать хозяина за какие-то ошибки.

Мне он не нравился. Он всегда смотрел мимо меня, беседой не устаивал. Но один раз я в его присутствии по какому-то поводу заклемила «гнилую интеллигенцию» — эпитет, который в те годы был очень в ходу, — и вызвала его сильный гнев.

— Вы понимаете, о чем говорите? — сказал он, выпрямляясь и угрожающе вырастая в своем кресле. — Вы знаете, что такое интеллигенция? От какого понятия это слово происходит?

Я не знала.

— Вы, кажется, студентка университета? — В этом вопросе было сплошное презрение. — Запомните: это слово означает «думающий», «мыслящий». Интеллигенция — лучшее, что создает народ. Это его цвет и гордость. Только ограниченное невежество может поносить дух народа!

Я была молода, нетерпима и изучала «Манифест».

— Но тем не менее буржуазия превратила интеллигенцию в своих платных наемников...

Старик встал и, опираясь на палку, пошел к двери. Перчануш бросилась за ним. Я ощущала униженность и активную неприязнь к этому сухому, злобному человеку.

Тикин Перчануш вошла встревоженная и грустная. Это меня не удержало.

— Тоже мне патриарх выискался, — срывающимся голосом начала я.

Но она строго подняла вверх указательный палец:

— Ни слова! — И повторила еще строже: — Ни слова никогда! Иначе...

Она не закончила. Меня поразило ее лицо, ее незнакомый голос. Опустившись на тахту, тикин Перчануш стала быстренько завязывать узелки на бахrome своей шелковой шали.

— Это мой муж, — тихо сказала она.

Я была поражена. Я никогда не задумывалась над ее судьбой. Мне казалось вполне естественным, что она живет у братьев, спит на тахте в столовой, где постоянно толкуются люди. Я думала, что так было всегда и будет всегда.

Кончил работу Папак. Затащил меня к себе, чтобы «посоветоваться» насчет своих новых стихов.

В его темноватом кабинете было все, что положено известному адвокату, — резной письменный стол, заваленный бумагами, с тяжелым чернильным прибором, фигурами чугунного литья, бронзовой женщиной, держащей абажур.

Я сидела в непомерно большом кресле. Папак читал стихи. Перед ним стоял вопрос — рифмовать их или нет? Срифмовать для него ничего не стоило. Но пока что стихи выглядели так:

Разметав асфальтовые косы,  
Спит над морем распростертый город,  
И гуляет свежая моряна  
По пустынным коридорам улиц...

Стоило изменить последнюю строчку — «по его пустынным коридорам», —

как получилось бы, по моему мнению, гораздо лучше. Но со мной происходило то же, что в мастерской Эачи, — страх оказаться не на уровне современных требований. Кроме того, я неотступно думала о тикин Перчануш. И я молчала.

В столовой собирались гости. Звякали чашки. Даже в кабинет вкрался запах чайной колбасы, которую тогда делали с вкраплением зеленых фисташек. Тикин Перчануш предостерегала кого-то от вторжения в кабинет:

— Там работают поэты...

— Ты мне сегодня не нравишься! — сказал Папак. — Ты не думаешь о том, что я тебе говорю.

— Я думаю о тайнах жизни, — ответила я.

\* \* \*

В жизни Перчануш Прошьян не было тайн. Просто прошло уже много лет с тех пор, как она с одним чемоданом ушла из своего благополучного дома, от любимого мужа.

Своего поступка она никому не объяснила. Поселилась с братьями — Папак был еще студентом, Эачи — школьником. По-прежнему целые дни работала, ездила по районам, организовывала начальные армянские школы, преподавала, обучала грамоте взрослых.

Говорили, что муж просил ее вернуться и был согласен на любые условия. Родные уговаривали хотя бы взять что-нибудь из ее бывшего дома. Тикин Перчануш не шла ни на какие уговоры.

Все объяснилось, когда у женщины, которая вела хозяйство в ее доме, родился ребенок, и бывшая кухарка заняла место жены в хозяйки в квартире одного из лучших адвокатов города.

Я ставила себя на место тикин Перчануш, и мне казалось, что я поступила бы так же независимо и гордо. Мне нравилось, что она ушла из своего лживого дома с одним чемоданом. Вместе с нею я задыхалась от обманутого доверия и

поруганной любви.

Но дальше она поступала вразрез с мстительной направленностью моих мыслей.

Она приняла прямое участие в воспитании детей своего мужа. И его новая жена послушно и даже с почтением принимала заботы и наставления своей бывшей хозяйки.

Дети росли, родители старели. А бывший муж каждый вечер на протяжении многих лет приходил в этот дом и часами сидел над стаканом остывшего чая.

Я старалась не попадаться ему на глаза, не оставаться с ним в комнате, И только один раз осторожно спросила;

— А почему он у вас чай не пьет?

Перчануш добродушно засмеялась:

— Что ты! Ему дома готовят чай — как в Китае на чайной церемонии.

Специальная смесь, подогретый чайник, сырая вода, я как-то насчитала десять условий, теперь все позабыла...

Называла она его «мой родной». А он, приходя и уходя, целовал ей руку.

\* \* \*

Кроме своего, университетского, я посещала все литературные кружки города. И самый «передовой» — университетский «Бакинский рабочий», и самый разноликий — литгруппу при редакции газеты, и самый престижный — заседания русской группы Азербайджанской ассоциации пролетарских писателей — АЗАПП.

Русской группой руководил поэт Михаил Юрин, приехавший в Баку из Москвы. Его поддерживали два столпа — прозаик Михаил Камский и добродушный немолодой поэт Тарасов.

Вероятно, эти трое были правлением, официальным руководящим ядром группы. Я не вдавалась в организационные подробности и беззаботно снимала поэтические пенки и с идеологически выдержанных творений пролетарских

поэтов и с сомнительных формалистических изысков лидеров университетского кружка.

Русская группа АЗАППа собиралась в выходные дни. И легкий на подъем Папак Перчиевич отправился со мной на одну из очередных пятниц. Точно не помню — хотелось ли мне прихвастнуть перед руководством поэтом Прошьяном или, наоборот, придать себе вес в его глазах знакомством с литературными правителями города, — вероятно, и то и другое. Я была очень довольна, когда привела Папака к прекрасному бакинскому дворцу «Исмаилие», где — уж не помню, на каком этаже, — была отведена комната для литературных заседаний.

Но с первой же минуты у меня не оказалось никакой роли. Мне не пришлось ни знакомить, ни представлять кого-то кому-то. Палак Прошьян естественно и просто шагнул к столику, где восседали наши руководители, подтянул к себе стоящий в отдалении стул и назвал себя с небрежной простотой, которая должна была откинуть прочь все сомнения в его праве принадлежать к ареопагу верховных.

И, к моему удивлению, они потеснились и приняли его в свой круг.

Заседание шло обычным порядком. Какие-то малограмотные юноши, которых выискивал ездивший по районам республики Михаил Юрин, робея и запинаясь читали свои стихи, а наш мэтр, потрясая своими откинутыми от высокого лба волосами, разбирал каждую их строчку.

— Вот автор пишет: «Мы ходили по полям с гармошкой». Что говорит нам эта строка? Она говорит, что у человека еще нет поэтических навыков. Иначе он написал бы так... — И он запел, протяжно и монотонно, как всегда читал стихи:

Ходили мы с гармошкой по полям...

Молодой поэт схватывал карандаш, но Юрин останавливал его движением руки:

— Я сейчас говорю не об отдельной строке, а об общем поэтическом восприятии.

Поэт сникал, но, обласканный выраженной тут же надеждой насчет его одаренности, оснащенный советами осваивать классику и учиться у Маяковского, снова восставал духом и уже с некоторым торжеством слушал разбор творений своего товарища.

Потом читали стихи завсегдатаи кружка. Суровый юноша потребовал, чтобы обратили внимание на его особые, редкие рифмы, из которых я запомнила одну: «трюм — угрюм». Он на нее особенно напирал, прокатывая голосом букву «р», как оперный баритон.

Рифмы Юрин похвалил, но общее настроение вызвало у него неудовлетворенность.

В этот день он, побуждаемый взглядом «извне», старался быть особенно красноречивым и остроумным. Папак, верный себе, отмечал удачные образы, обороты, рифмы благожелательным кивком, коротким восклицанием: «Браво!»

Так им был одобрен поэт с редкими рифмами, который уселся на свое место с отрешенно-невидящим взглядом, «хвалу и клевету» приемля — якобы! — равнодушно.

Обычно в завершение вечера читал стихи Михаил Юрин. Критике его стихи не подлежали.

Эрудированные и рафинированные университетские таланты, ученики знаменитого Вячеслава Иванова, который недавно покинул наш университет, относились к творчеству Юрина настороженно, молчаливо. Изредка какой-нибудь не в меру осмелевший юнец поднимался, чтобы выразить недоумение, почему его за подобные же образы и рифмы... и так далее... На что внушительный Камский давал суровый отпор в том смысле, что «Юпитеру позволено».

Но сегодня Юрин предоставил трибуну последнего стихотворения «нашему гостю». Вот где замерло мое тщеславное сердце! Я боялась, что Папак выступит со своей любовной лирикой, в которой он ощущал особую силу. Но он прочел неизвестное мне стихотворение, из которого я запомнила только

последнюю строфу:

Кому сейчас отдам свои стихи я,  
В раздоры века брошенный поэт?  
Мир созидает разума стихия.  
Покоя нет. Но счастья тоже нет.

«Все плохо», — поняла я. Сомнение, упадочничество. Самые неподходящие стихи. И почему «счастья нет»?

Как это нет, когда именно есть! Недавно в этой же комнате один молодой поэт утверждал, что оно, счастье,

Брызжет из каждой щели,  
Радует каждым днем,  
С нами шагает к цели  
Гордым, большим путем!

И этого поэта объявили талантливым и перспективным именно за вот эти простые и, как сказал Камский, «чеканные строки».

Что же теперь будет? Лица наших руководителей были серьезны, но никто не брал слова для выступления. Молчание затянулось. Юрин покачал головой и сказал негромко с легкой усмешкой:

— Вторичные стишки-то. Еще Пушкин сказал, что счастья нет, но есть покой и воля...

Папак ничуть не смутился. С доброжелательной улыбкой он легко ответил:

— Все мы после Пушкина и Блока вторичны. Даже гениальный Есенин повторял своих предшественников. Помните, его строчки:

Я читаю стихи проституткам  
И с бандитами жарю спирт...

А до этого было:

Я читаю стихи драконам,  
Водопадам и облакам...

— У кого это было? У Блока, что ли? — спросил мрачный Камский.

Папак засмеялся, и это вызвало гневное раздражение Камского.

— Надо учиться приравнивать перо к штыку, а не бандитов в стихах прославлять!

— Что же делать, — сказал Папак, — не все могут наступать на горло собственной песне. Для меня, например, это равносильно убийству. И пока человечеству будет светить солнце, пока женщины будут зачинать детей и юность приходит на смену старости — поэты будут писать о природе, о любви, о смерти.

— О социальной борьбе они будут писать! — закричал Камский. — Земля сотрясается от классовых боев, народы стонут от голода и угнетения в цепях капитала. Пролетариат идет на свой решительный штурм. Кому сегодня нужно ваше щебетание?

— Мне! — ответил Папак. — Ей, — он кивнул на меня. — И им, — он обвел рукой насторожившуюся аудиторию.

— А мы сейчас это выясним, — с угрозой сказал Камский, — мы это сейчас проверим...

— Голосованием? — грустно спросил Папак.

Юрин положил руку на плечо Камского.

— Остынь, Миша, — сказал он весело. — Время покажет, о чем будут писать поэты. Вот соберемся лет через тридцать...

И без предупреждения, встав у стола, он напел стихи, откидывая над куполом лба легкие, прямые, как нитки, волосы:

Но я пока и молод и здоров  
И весь во власти моего призванья.  
Есть у меня в запасе много слов,  
Чтоб не просить у жизни подаянья...

Он читал, глядя на Папака, проверяя его реакцию и готовый в любой миг принять бой.

Но увидел он искреннее сопереживание и высокое одобрение. Папак одарил его аплодисментами, которые подхватили все присутствующие. Это не было принято на наших собраниях и потому прозвучало особенно празднично.

\* \* \*

Дула легкая моряна. Вечер не потемнел, и городские фонари блестели, еще не давая света. Тревожащий меня день кончился вполне благополучно, и чего бы еще желать? Но Папак замедлил шаги перед деревянными воротами на одной из центральных улиц.

— Думаю, ты достаточно взрослая, чтобы посидеть со мной в этом ресторанчике?

Он толкнул дверцу, и тотчас — будто только нас ждали — ударила заунывная музыка восточного оркестра, обдало роскошным чадом бараньего жира, стекающего на раскаленные угли, ароматом зелени и острым запахом вина.

Ресторан помещался во дворике, по углам которого в больших кадках обильно цвели розовые олеандры. Столики стояли на утопанной земле. У одной стены, на небольшом возвышении, сидели музыканты в бешметах с серебряными поясами.

Это был мой первый вечерний ресторан, первый официант, толстый и полный достоинства, протянувший мне меню, с которым я не знала, что делать.

— Какой сегодня кябаб? — осведомился Папак. И заказал: — Два кябаба, два шашлыка.

— «Шамхор»? — почтительно утвердил официант сорт вина.

Быстро и красиво над нами взлетела чистая скатерть. На ней расположились тарелки с зеленью и розовой редиской, хрустящий чурек, источающий слезу зеленоватый сыр.

А музыканты, закончив свои любовные причитания, которые выпевал горловым голосом юноша, бивший одновременно в бубен, вдруг заиграли на своих древних инструментах залихватские «Кирпичики». И это было так странно, как если бы араб пустыни взялся плясать гопака.

Я все это принимала с восторгом, но Папак был необычно молчалив и задумчив.

— Так протекают дни, — он бессознательно отбивал ногой такт диких «Кирпичиков», — люди всерьез занимаются поэзией, а я защищаю в суде интересы своих клиентов. А нужно ли мне это? В искусстве то, что не сделано сегодня, не будет сделано уже никогда.

— Бросьте вы своих клиентов, — щедро посоветовала я.

Он усмехнулся:

— Я уже взвалил на плечи ношу, которую мне не скинуть. Дом, ответственность за близких, мастерская Эачи... Он, при своей талантливости, пока еще не вполне признан...

— Но у него ученики.

— Бог мой! Голодные мальчики. Эачи их всех кормит. Но нельзя зарывать в землю талант. Это не прощается.

«Кирпичики» наконец кончились. Нам принесли шашлык и кябаб. Мне налили темное вино. Все было удивительно вкусно, но, чтобы не показаться неискушенной, я щедро похвалила только редиску, которая действительно имела тот особый вкус, которого почему-то не бывает у редиски дома.

Папак оживился:

— Какое совпадение! Вот и Бэлочка говорит то же самое.

— Ах, Бэлочка, — сказала я, осмелев от выпитого «шамхора», — ваша поклонница...

Он улыбался, довольный.

— Та, что «закутанная мехом», — не унималась я.

Папак погрозил мне пальцем.

— Нет, то другая, — его настроение явно улучшилось, — то совсем другая.

Но, понимаешь ли, все это тоже отнимает у меня время...

— Ну, знаете, — нравоучительно сказала я, утверждаясь в своем праве давать советы, — бросайте вы всю эту бузу с клиентами и поклонницами. Лучше откройте новое направление в поэзии!

Я несколько кривила душой, приписывая Папаку такие возможности, но мне хотелось его подбодрить.

— Поздно, — ответил он, — поэзия дело молодое. Я подошел к возрастному рубежу не с пустыми руками, но и не осуществив того, что мог. Поэзия должна быть главным делом всей жизни. У меня это не получилось.

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процветать и умереть...

Мне было хорошо и чуть-чуть грустно...

И еще запомнился мне этот вечер взрывной скрежещущей музыкой, в которой временами прорывалась хабанера из оперы «Кармен». Этим незабвенным впечатлением одарили нас на прощанье тар, саз и яростный бубен.

\* \* \*

Эачи Прошьян передвигался шаркающей, развинченной походкой. Я часто встречала его на нашей улице и узнавала издалека. Иногда мы обменивались только кратким приветствием, но в тот день он подошел ко мне и сказал со своей вялой усмешкой:

— Мусенька, у меня сегодня день рождения, я тебя приглашаю, — и церемонно, склонив набок голову, прошествовал дальше.

В те годы люди не дарили друг другу ценные, дорогие подарки. Приглашая, обычно старались не упоминать о торжественных датах и поводах, чтобы дать возможность гостю воскликнуть:

— Как же так можно! Ничего не сказали! Я же не знал!

Но я была приглашена недвусмысленно. Не очень задумываясь, я истратила трешку, предназначенную на уплату за телефон, и приобрела небольшую коробку шоколадных трюфелей, которые тогда были новинкой и, как мы теперь знаем, прочно удержались в нашей действительности.

На празднование дня рождения Эачи я пришла пораньше, движимая благородным стремлением помочь по хозяйству. Я всегда любила предпраздничную суету на кухне, умела красиво оформить блюдо с винегретом и вынуть из селедки все косточки.

Но, видимо, все было приготовлено заранее. Перчануш лежала на тахте с газетой. Виновник торжества ходил по столовой небритый, в халате и, получив от меня коробку, с каким-то веселым любопытством открыл коробку, поднес ее сестре, мне, и мы съели по трюфелю, которые в тот период своего существования были несравненно полновеснее и вкуснее, чем сейчас.

— Восхитительно! — одобрила тикин Перчануш. — Сейчас Папак кончит прием, и будем пить чай.

Эачи удалился к себе, а я не успела выложить и половину своих новостей, как явились первые гости — веселая художница со своим строгим мужем — администратором театра, известный врач с молодой супругой, артистка Азербайджанского театра драмы Ситара Ханум.

— Простите, дорогая моя, — сказала она с очаровательным мягким акцентом, — муж сегодня играет, он после спектакля придет.

Я уже говорила, что гости в этом доме бывали каждый вечер и радостное — «О! Кто к нам пришел!» — встречало каждого переступившего порог. С приходом нового посетителя Папак выскакивал из своего кабинета с раскинутыми точно для объятий руками — радушный и благожелательный.

— Сейчас, сейчас, — обещал он, — я уже заканчиваю!

Тикин Перчануш благодушествовала в обществе педагога — организатора и директора школы глухонемых. Она слушала его рассказ о том, как учатся объясняться его питомцы, восхищалась и требовала восторгов от всех присутствующих.

Гости прибывали. В столовой они уже разделились на группки. Одного центра притяжения стало недостаточно. Вторым сделался Папак Перчиевич. Сгруппировав вокруг себя молодых женщин, он негромко рассказывал что-то предназначенное только их кругу. Его глаза блестели лукавством. Это ему шло.

Я ощущала тревогу. Во-первых, не появлялся сам «новорожденный». Вообще-то он приходил и исчезал из общей комнаты по своему желанию и удостаивал гостей вниманием не всегда. Но сегодня его отсутствие было неприлично. Во-вторых, гости все прибывали и прибывали, а на столе сиротливо лежала моя коробочка трюфелей и, как я понимала, ничего больше не предвиделось. Тикин Перчануш раза два вспоминала:

— Где же Шурочка? Она нам сейчас даст чаю, — но затем ее отвлекла очередной гость, интересный поворот беседы, и она забывала о своих хозяйственных порывах.

Для разведки я выбралась на кухню, где Шурочка, горько рыдая, накачивала примус.

— И где я столько посуды возьму, — причитала она, — и примус гореть не хочет... И все идут, и все идут... И чайника такого у нас нет... И сахару на доньшке осталось...

Раздался еще один звонок и еще одно радостное приветствие. Но появление одной из ведущих артисток русского драматического театра, воспринятое тикин Перчануш как абсолютно естественное, наконец-то смутило ее более трезвого брата. Тем более что артистка принесла три розовых бутона на длинных, как пики, стеблях.

Я возвращалась из кухни, когда, сияя улыбкой: «Секунду! Одну секунду!», Папак ускользал из столовой, увлекая за собой кого-то из гостей. С той же

улыбкой, сумев облечь свой вопрос в наиболее деликатную форму, он спросил:

— Пришли ли вы сегодня к нам только по велению сердца?

— Как всегда, — ответил галантный гость. — Но и по приглашению.

— Я так и думал. — Папак все еще улыбался. — Мой брат?

Гость наклонил голову.

— Благодарю вас, — сказал Папак, — все в порядке.

Он открыл гостю дверь в столовую, а сам торопливо прошел в комнату брата.

Я — за ним. Мне было любопытно, как поведет себя рассерженный Папак.

Эачи спал на своей широкой тахте. Папак тронул его за плечо.

— Вставай, побрейся, выйди к гостям.

Эачи открыл глаза, но продолжал неподвижно лежать, еще теснее вдавливая голову в подушку.

— Я поеду в «Гранд-отель», организую ужин. А ты иди занимай приглашенных тобой гостей!

— Пусть Муся уйдет, — хрипло сказал Эачи, — я буду одеваться.

Он появился в столовой помятый, встрепанный, улыбающийся своей виноватой улыбкой и был встречен радостными восклицаниями, поздравлениями и приветствиями.

Тикин Перчануш, которая вначале принимала все эти изъявления чувств как должную дань своему талантливому брату, вдруг уяснила себе происходящее и, обведя гостей лучистыми глазами, удивленно проговорила:

— Эачи, дорогой, но ведь сегодня совсем не твой день рождения!

Он взял со стола стебли роз, увенчанные острыми бутонами, и, держа их вертикально, как жезл, сказал медленно, церемонно поворачивая голову во все стороны:

— Я сегодня утром вышел из дома, увидел солнце и синее море... Дул такой прелестный ветер... Мне захотелось сделать себе что-нибудь приятное... Себе и всем людям тоже... Вот я вас всех позвал на свой день рождения... Было такое прекрасное утро, что мне захотелось родиться в это утро...

Гости решили, что все это было запланировано.

— Ах, какая прелесть! — сказала актриса русского театра.

Все захлопали в ладоши.

Тем временем в комнате возникли два совершенно незаметных человека в черных костюмах. Никому не мешая, ловко передвигаясь между гостями, они неслышно раздвинули массивный стол, накрыли его белой скатертью и с волшебной быстротой расставили приборы, бокалы, бутылки и тарелки с закусками.

Появился Папак — оживленный, довольный, включился в общее течение вечера, дал пройти времени и воззвал к сестре:

— Перчануш, проси гостей к столу!

— Будем пировать! — радостно предложила тикин Перчануш, несколько не удивленная возникшей скатертью-самобранкой. С тем же призывом она обращалась к гостям в иные дни, предлагая порой только сухари да стакан чая. В этом доме гостей не приходилось особенно уговаривать. Я не знаю почему, но вся еда уничтожалась словно в каком-то спортивном соревновании. Через десять минут на столе не осталось даже ломтика колбасы. Официанты подали два блюда с цыплятами табака, которые тут же разлетелись по тарелкам, и тот, кому не хватило, стал жаловаться, как маленький, пока с ним не поделились. И хотя есть было уже нечего, тикин Перчануш приветливо предлагала: «Угощайтесь, угощайтесь!» — и гости пили натуральное кизлярское вино, закусывая вкуснейшим чуреком.

Постоянный тамада доктор Белубеков произнес тост в честь Эачи, который, «являясь образцом красоты человеческого духа, настолько высок, что для нас, простых смертных, как бы витает в облаках...».

На что Папак, наклонившись ко мне, сказал, будто продолжая или даже завершая ранее начатый разговор:

— Вот так, Мусенька, когда один в облаках, другому надо крепко стоять на земле...

Потом выпускница консерватории играла на рояле медленный танец «Наз-

пар» композитора Маиляна, музыка которого обладала свойством обострять и радость и горе — ее играли и на свадьбах и на похоронах...

Артист армянского театра исполнил традиционный монолог Пэпо, исступленно обличая социальную несправедливость старого мира. Артистка русского театра прочла «Песню о Буревестнике». И все они были признаны и оценены.

Я сидела, разрываемая между желанием заслужить свою долю восторгов и опасениями насчет того, что не получу их сполна. Но тикин Перчануш властно сказала:

— А теперь послушаем Мусю.

Папак захлопал в ладоши, призывая к тишине.

Охваченная жаром и счастьем общения с аудиторией, я читала свои лучшие стихи:

Зарыдала зурна недаром  
Звоном звуков золотых,  
Загрустила чинная чинара,  
Тополь трепетный затих...

— Великолепно! — прошептала тикин Перчануш. — Какая музыка!

Но я-то помнила, что, выслушав эти стихи на заседании университетского кружка, наш верховный критик Ака Корнев сделал брезгливую гримасу:

— Ну, знаете... аллитераций вы там напустили — слушать невозможно!

— Талант! — провозгласил Папак Перчиевич, заглушая аплодисменты.

— Какая прелесть! — сказала артистка русского театра.

— Иди ко мне, я тебя поцелую, — требовала тикин Перчануш. Она шепнула мне: — Ты наша надежда...

Как приятно быть надеждой! Как это окрыляет! На другое утро, едва проснувшись, я сразу принялась писать стихи.

\* \* \*

У нас в квартире начался ремонт. На беленые обшарпанные стены клеили красивые обои. До половины гладкие, а выше бордюр из крупных цветов того же оттенка. Циклевали полы. Все бы это ничего, но когда начали красить двери и окна, то жаркие августовские ночи, пропитанные духом олифы и краски, начисто лишали сна. Ночевать дома было невозможно. Старшие пристроились у дедушки, а меня приютили Прошьяны.

И не то чтобы приютили, а просто потребовали:

— Муся ночует у нас, только у нас!

И тикин Перчануш деятельно принялась устраивать меня в маленькой комнатке-чуланчике.

Она отвергла мое предложение принести свою постель.

— Что ты! В каждой армянской семье должны быть тюфяки и одеяла для гостей. Я сейчас выясню, где они у нас.

Теплота и радушие искупали и окаменелую бугристость тюфяка, и плоскую слежавшуюся подушку. Но в те времена я не замечала особого преувеличения в стихах Некрасова:

Дай хоть камень в изголовье,

Ляг он — и заснет...

К тому же я была окружена нежной заботой. На стул у тахты положили большую гроздь моего любимого розового дербентского винограда с крупными, мясистыми и не очень сладкими ягодами.

Папак несколько раз влетал в каморку, озабоченно справлялся, удобно ли мне будет спать, и наконец принес мне для чтения на ночь роман Оливии Уэдсли «Пламя».

В первом часу ночи в столовой еще сидели гости. Тикин Перчануш посередине фразы вдруг замолкала и толчком роняла голову. Наступившая тишина

мгновенно будила ее, и она как ни в чем не бывало продолжала разговор. Но я не могла погружаться в секундный сон и откровенно зевала, пока Папак не сказал:

— Ты уже хочешь спать, иди к себе.

Тикин Перчануш, во избежание кривотолков, объяснила:

— Муся у нас ночует, она пройдет к себе, а мы еще посидим.

Не свой дом, чужие шорохи, чужие запахи да еще такой роман! Я заснула не сразу, но крепко — камешком, брошенным в воду.

В глубоком сне я услышала, как меня зовут по имени, но проснуться не могла. Потом меня не то чтобы потрясли, а ткнули в плечо, и я очнулась. Была самая глубокая, предутренняя ночь.

В темной крохотной комнате надо мной возвышалась большая бесформенная фигура.

Я знала, что я не беззащитна. За стеной кабинет Папака, в двух шагах в столовой спит Перчануш. Вероятно, поэтому охвативший меня ужас был сродни тому трепетному восторгу, с каким в детстве слушаешь страшные сказки. Я натянула на себя одеяло, готовая пружинкой соскочить с тахты.

— Мусенька, — негромко позвал Эачи, — ты любишь яичницу с помидорами? Я ее приготовил, а есть одному скучно...

### **«Афинские ночи»**

В начале лета я приехала в Москву участницей декады армянской литературы. На одном из первых вечеров должны были выступать как армянские писатели, так и литераторы, живущие в Армении, но пишущие на русском языке. В их числе была и я.

Мы собрались за сценой Колонного зала Дома союзов, взволнованные и радостно возбужденные.

Наполненный народом зал уже гудел. В последние минуты делались какие-то перемещения и изменения в программе вечера. Изысканные сотрудницы

Центрального Дома литераторов деловито перебежали от одного маститого писателя к другому, пытаясь в последний раз что-то согласовать и уточнить. Как всегда, с началом запаздывали. Кого-то ждали, налаживали микрофон. Вечер должен был вести ныне уже покойный Николай Корнеевич Чуковский. Как истинный хозяин, он не давал гостям томиться ожиданием и рассказывал нам историю о своем выступлении на одном из кораблей Северного флота, где команда по ошибке была оповещена о приезде фокусника, а приехал он, писатель.

Что было дальше — не знаю. Я увидела в дверях человека из своей далекой юности, человека, стертого временем, седого и старого. Он пристально смотрел на меня, и я узнала его высокий лоб, откиннутые назад легкие волосы и улыбку безгубого рта.

— Миша, — позвала я его по имени, которым никогда раньше не называла...

\* \* \*

Начать нужно с того, как я вступала в комсомол. Было это на острове Артема — крохотном, но необычайно нефтеносном кусочке земли, отделенном двумя километрами моря от Апшеронского полуострова.

Сейчас, говорят, этот промежуток моря засыпан, устроена дамба, по которой ездит автотранспорт, но я пишу о временах далеких, когда с одной из бакинских пристаней два раза в неделю на остров отправлялись баркасы «Соболь» или «Горностай».

С башни опреснителя замечали баркас, огибающий вершину полуострова, и мальчишки начинали носиться взад и вперед по асфальтовым дорожкам жилой части территории не то с воплем, не то с песней:

Бар-кас и-дет!

Баркас идет!..

Примерно через час после этого все свободное от работы население выходило встречать «вагонетки» — двухсторонние деревянные скамеечки на колесах, которые везли от пристани через весь остров резвые сытые лошади.

Жили на острове в основном нефтяные рабочие и небольшая часть — рыбаки. Рабочие жили в двухэтажных домах, рыбаки в избушках у самого моря.

Водопровода не было. Пили опресненную морскую воду. В первый день она казалась ужасно противной, потом к ней незаметно привыкали.

Кроме небольшой жилой части, весь остров был степью, небогато цветущей весной и намертво выжженной летом. В степи — местами кучно — стояли буровые. Возле каждой простирался небольшой бассейн густой черной нефти. В центре этого клочка суши было множество грязевых вулканчиков, вечно хлюпающих и чавкающих глиняными губами.

Все тропки на острове в конце концов приводили к морю, где на плоских камнях грелись длинные водяные ужи.

Перед балконом отцовской «докторской» квартиры росло большое дерево пшата. В июне оно цвело, и его необыкновенный аромат, смешанный с запахом моря и свежей нефти, означал для меня счастливое наступление каникул.

Воровства на острове не было. Дверей в дом никто не запирали. Возвращаясь с купания, я находила на столе большой румяный пирог с осетриной или миску домашнего мелкого печенья. Это женщины острова приносили непрощенные дары своему доктору. Иногда без стука распахивалась дверь и загорелый до черноты белоголовый мальчонка протягивал мне эмалированный таз, наполненный свежей зернистой икрой.

Вернувшись из амбулатории, отец вздыхал и сердился:

— Сколько раз просил, чтоб они этого не делали! И куда нам такую прорву? Испеки, дочка, блинчики, может, с блинчиками уйдет.

Я проводила на острове летние каникулы. Последние школьные каникулы. Целые дни купалась в море, ловила крупных бычков, усачей и сазанчиков, ходила с отцом на старую пристань за раками, по вечерам бегала в клуб на

танцы, а два раза в неделю, когда баркас привозил фильмы, смотрела кино. У меня не получалось полного контакта с местными сверстницами. Они были воспитаны в жестких рамках привилегированной рабочей касты, которую составляли потомственные нефтяники острова. Девочки осуждающе смеялись над моими короткими платьями, над моей страстью к рыбной ловле, над тетрадкой стихов, с которой я приходила к морю. Свое отношение к моим чудачествам они выражали с осторожностью, но я была самолюбива, обижалась, а все-таки не отказывалась от своего образа жизни.

Однажды, когда мы, накупавшись до дрожи, лежали на песке, самая озорная и горластая девчонка, Манька Волкова, сказала, глядя в синее небо:

— В комсомол надо вступать, девочки. Венечка Грушин сказал, чтобы подавали, кому пятнадцать исполнилось.

Я была самая младшая в классе. В школу поступила, сдав экзамены сразу в третий класс. Моих подруг принимали в комсомол на торжественных собраниях в школе. Им аплодировали, их поздравляли, а я была в сторонке. Нужный возраст я набрала только в дни каникул, и возможность вступить в комсомол на острове очень меня окрылила.

— И я с вами подам...

Девочки помолчали.

— Так ты ведь в девятый перешла, — отозвалась Манька, — чего до сих пор думала?

— Мне лета не выходили.

— Все не как у людей, — осудила она. — А хочешь, подавай с нами, я не против.

Начались наши хлопоты. Заявление и автобиографию мы написали по одному образцу. Мои попытки выразить что-нибудь своими словами вызвали гневный отпор:

— Ты смотри! Начубучишь, из-за тебя и нас не примут.

— Вечно ей надо прифасониться...

Все мы написали по форме, которую посоветовал нам комсомольский

секретарь Венечка Грушин: «Горя желанием вступить в ряды», «Обязуюсь быть верной дочерью», «Не пожалею своей жизни»...

В общем, это было трогательно и красиво, но у всех абсолютно одинаково.

— Теперь поручительство нужно, — сказала Манька. — Айда к дяденьке Степанчикову. Он самый большевик еще с царского времени.

Дяденька Степанчиков работал в ночную смену, днем отсыпался и вышел к нам разбуженный и недовольный.

— Вообще-то я не люблю за девчат ручаться, — мрачно сказал он, перебирая наши заявления. Их было шесть.

Пять девочек выжидающе молчали, а я не удержалась:

— Женщина — одна из движущих сил революции.

Дяденька Степанчиков посмотрел на меня озадаченно и сердито.

У Маньки оказалась мгновенная реакция:

— Ты ее не слушай, дяденька, ты подписывай, подписывай, она себя хочет очень умной показать.

— Докторова? — спросил дяденька.

Он подписал всем, кроме меня.

— Докторовой не подпишу. Она городская, пускай за нее городские ручаются.

— Съела? И поделом! — сказала Манька, когда мы вышли от Степанчикова.

Дома я плакала. Мой добрый, мягкий отец предлагал мне различные варианты: подождать до осени и стать комсомолкой в своей школе; вызвался добыть поручительство у главного геолога острова; брался поговорить с дяденькой Степанчиковым. Но я отмела все его советы и предложения.

Упрямая и нетерпеливая с детства, «вынь да положь», как говорила моя няня, я должна была настоять на своем и вступить в комсомол в тот же день и час, как мои сверстницы на острове.

Для этого я поехала в город. Оттуда я собиралась привезти такое поручительство, которое посрамило бы дяденьку Степанчикова.

День был баркасный. И хотя по морю бежали белые барашки, что предвещало качку, это меня не остановило.

Планы мои простирались далеко.

В этом году в наш город для создания русской секции Азербайджанской ассоциации пролетарских писателей приехал из Москвы поэт Михаил Юрин. Зимой я посещала литературные кружки города и на одном из заседаний познакомилась с Юриным. Осмелев, я дала ему тетрадку со своими стихами. Он отозвался о них довольно лестно, посоветовал учиться у Жарова и Безыменского и не слишком увлекаться Есениным. С тех пор мы стали друзьями. Я понимала, что Юрин считает меня студенткой университета, но не разубеждала его.

Застала я Михаила Юрина во дворце «Исмаилие», где помещалась резиденция АЗАППа. Повертев в руках мое заявление, он посмотрел на меня, высоко подняв едва намеченные брови:

— Так сколько же тебе лет?

И, оглядев меня, одетую по-летнему в голубое сатиновое платье, в сандалиях на босу ногу, черную как арапчонок, засмеялся:

— Теперь и сам вижу. А зимой — фу-ты ну-ты! — на барышню тянула.

Он написал, что я подаю надежды в литературе, серьезна и достойна быть членом Коммунистического союза молодежи. Я попросила, чтобы он проставил перед своей подписью: «Поэт». Он выполнил и эту просьбу.

Снова ночь в городской квартире, бессонница от страха опоздать, пристань в конце бульвара, баркас, Апшеронский маяк и милые сердцу вагонетки.

Благостная и кроткая, я принесла поручительство Венечке Грушину.

Прочитав, он спросил:

— Это тот самый Юрин, что в газетах стихи печатает?

— Да, конечно.

— Этот поэт лично вам знакомый?

— А как же, — скромно ответила я, — мы с ним встречаемся в одних и тех же поэтических кружках.

— Выходит, вы тоже умеете стихи сочинять?

Я только усмехнулась в ответ.

Вечером нас принимали в комсомол. Строгих вопросов не задавали никому, а биографии наши были такие еще коротенькие, что рассказывали мы их недолго.

Когда товарищ Грушин прочел поручительство поэта Михаила Юрина, я не удержалась и взглянула на Маньку. Она пренебрежительно передернула плечами, но я знала, что это была минута моего торжества.

— И сама умеет сочинять стихи, — добавил Венечка, оторвавшись от бумаги.

— Да уж знаем! — в сердцах отозвалась Манька.

Все произошло буднично. Мне чего-то не хватало.

Подъем духа был большой, энергия появилась необычайная, а истратить ее было некуда. Предстояло всего только обычное вечернее гулянье по центральной асфальтовой дорожке. И когда мы после собрания гурьбой высыпали на эту дорожку, мне захотелось отметить этот день чем-нибудь героическим. Но что можно было сделать на маленьком острове?

По ярко освещенной полоске взад и вперед прогуливались взрослые девушки.

Их кавалеры шли следом и наигрывали на балалайках «Светит месяц».

Вокруг за домами стояла черная ночь, степь, а за ней тихо ворчащее море.

И меня осенила идея.

— У кого хватит смелости пойти сейчас на кладбище?

Все замолчали — так страшен и дик был мой вопрос.

— Уж, думаю, такого храбреца не найдется, — сказала Манька.

— Неужели не найдется?

Я посмотрела на нашего секретаря, на Венечку Грушина, которого с сегодняшнего дня имела право запросто называть на «ты».

— На кладбище ночью даже я не пошел бы, — честно ответил он.

— А я пойду.

— Опять ты фасонишь и врешь...

— Ждите меня тут, — с вызовом сказала я.

Девчонки деланно засмеялись — выставлялись перед Венечкой Грушиным.

— Постоишь в степи и вернешься...

— Я венок принесу с могилы Селезнева.

— Ох, держите меня, падаю! — запрокинулась назад Манька.

Я резко повернулась и пошла. Кладбище было в центре острова, примерно в полутора километрах от жилой части. Когда кончилась асфальтовая дорожка, я побежала по степи. Глаза мои привыкали к ночи, и я различала тропинку, по которой неделю назад мы пронесли гроб Васи Селезнева — комсомольца, убитого неразряженным кабелем.

Нервное возбуждение несло меня по этой тропинке с такой быстротой, что я, наверное, могла бы побить рекорд по бегу. Белесый ковыль клонился в ту сторону, куда я бежала. Я немного замедлила темп у небольших грязевых вулканчиков, в которых день и ночь шла напряженная торопливая работа. Вулканчики грозно квакали и давились грязью. Я бывала здесь много раз, но никогда они не разговаривали так громко, как в эту ночь.

Кладбище стояло на пригорке. Небогатое, без пышных памятников, с деревянными крестами и решетками, сделанными из металлических отходов нефтяного оборудования.

Было пронизывающе жутко от царившей тут тишины. Шум моря, постоянно слышимый на острове, сюда не доносился. Впервые в жизни я ощутила дыхание будущего вечного одиночества и почувствовала счастье от того, что впереди у меня нескончаемо много принадлежащих мне лет.

Могила Васи Селезнева пышно выделялась грудой еще не помятых бумажных цветов.

Я сняла один венок в полном убеждении, что совершаю героический поступок. Они ждали меня возле клуба, уверенные в том, что я отсиделась где-нибудь за домами.

Я шла с торжеством человека, преодолевшего трудности. Став комсомолкой, я сразу же активно выступила против суеверия и невежества.

Но мои товарищи отшатнулись от меня с паническим, заражающим друг друга страхом. Я не могла подойти к ним. Они убегали гурьбой, скучившись как овцы.

— Чего вы боитесь? — кричала я. — Вы же теперь комсомолки! Вы не должны верить в загробную жизнь!

Храбрее всех оказалась Манька. Она вступила в разговор со мной. Но — издали:

— А с могилы ничего уносить нельзя. Он теперь будет к тебе являться.

— Глупости это!

— Ну да, ты одна умная! Вот теперь отнеси венок обратно, а то мы с тобой водиться не станем.

— И не нуждаюсь, — сказала я.

Венок я бросила в море. Наутро одна из девочек, забежав к нам, нанесла мне последний удар. Она сообщила, что Венечка Грушин сказал про мой героический поступок:

— Дуракам закон не писан.

\* \* \*

В свою последнюю школьную зиму я с увлечением ходила на литературные вечера и диспуты.

Их в ту пору было много: «Каким должен быть комсомолец», «О современном театре», «О поэзии».

Приезжали в Баку Маяковский, молодые Жаров, Безыменский и Уткин, поэт Василий Каменский читал стихи и играл на баяне. Из азербайджанских писателей чаще всех на наши занятия приходил в те времена еще совсем юный Сулейман Рустам. Помню, его уже тогда называли «Золотое перо».

Я вечеров не пропускала. Посещала городские залы и рабочие клубы. Под конец пребывания московских поэтов в нашем городе знала наизусть всю жаровскую «Гармонь», «Повесть о рыжем Мотэле» Уткина и «Емельяна Пугачева» Каменского. Неделя была заполнена ожиданием очередного вечера. Математика в школе запущена навсегда и непоправимо. Тетрадь с собственными стихами пополнялась с каждым днем.

На очередном заседании русской секции поэт Тарасов поучал:

— Задумайтесь, почему получила такое распространение песня «Кирпичики»? Потому, что в ней спаяно личное с общественным. Воедино связан рост страны с судьбами героев. В этом главная причина ее популярности. Вот о чем надо думать поэтам.

Это утверждение окрыляло на немедленный отклик:

Гремит ритмично молот,  
Я в хоре с ним пою.  
Пою о том, что молод,  
Гудит завод, и молот  
Кричит в пространство: «Бью!»

Вот это и нечто подобное стали писать молодые поэты.

Мы подвергались противоречивым влияниям. В литературном кружке университета неофициально возник семинар, которым руководил Федор Николаевич Барановский. Он читал нам свои стихи:

Белокурая маркиза  
С темно-серыми глазами,  
Чья любовь — лишь из каприза.  
Только сказка прошлых дней.  
Подарила мне на память  
Статуэтку из фарфора,  
Скрыв обидный холод взора  
Лживой нежностью речей...

Федор Николаевич открывал нам законы построения триолетов, сонетов, демонстрировал высшее постижение стихотворной формы — венок сонетов. Под его руководством мы, совершенствуясь в технике, писали стихи ямбом,

анapestом и амфибрахием, а также лихо наострились выдавать складные буриме на любые рифмы.

Михаил Юрин как-то побывал на наших занятиях и высказался примерно так: — Все эти ямбы и хорей, конечно, нужно знать, но только для того, чтоб как можно скорее их забыть...

И прочитал свои новые стихи:

Всему свой срок, всему своя пора,  
У каждой мелочи свое лицо и мета,  
Но если дорого историку «вчера» —  
Грядущее дороже для поэта!

Сонеты и триолеты — это было, конечно, прошлое, но расставаться с ним не хотелось...

\* \* \*

В Доме учителя, где был просторный зал, состоялся доклад критика и литературоведа Пира «О порнографии в современной литературе».

В печати к этому времени появились произведения Пантелеймона Романова «Без черемухи», Малашкина «Луна с правой стороны», роман Калининкова «Мощи». Их осуждали, ругали, но читали нарасхват. Роман Калининкова я так и не достала, о чем очень жалела.

Зал был переполнен. Я пристроилась у самой сцены на широком подоконнике. Докладчик — горбоносый, с густой черной шевелюрой — стоял в нескольких шагах от меня.

Он говорил, что нашему обществу не может быть безразличен вопрос о взаимоотношениях полов, поскольку данная проблема поглощает у пролетариата не только время, но и энергию. Новое общество должно по-новому переосмыслить эти отношения.

Докладчик сделал исторический обзор — от времен упадка Римской империи до Арцыбашева и Мережковского — и наконец, добравшись до современности, был вынужден признать, что в быте нашей молодежи имеют место нездоровые явления, но художник должен осторожно касаться этой важнейшей темы, чтобы искусство нигде не достигало крайностей и чтобы читатель чувствовал осуждающее отношение автора к упадочным явлениям, недостойным нашей эпохи. Он требовал создания светлых образов, по которым нынешняя молодежь должна будет равняться, и призывал аудиторию к освоению классиков марксизма.

Тут из зала выкрикнули:

— Марксизм от любви не спасает!

Все, кто выступали в прениях, начинали со скорбного признания, что в комсомольской среде — увы! — существует теория «стакана воды» и писатели верно, хотя и однобоко, отобразили действительность.

Михаил Камский, один из основателей русской секции, выступил в том смысле, что любить, в принципе, можно, смотря только за что любить, кого и как...

— И где! — крикнули из зала.

Меня все эти речи и выкрики оскорбляли. В двух комсомольских ячейках, которые я знала, не было и тени распутства.

Когда на острове хорошенькая, как кукла, Тося Аникина три танца подряд прокружилась с морячком, приехавшим к кому-то в гости, ее мать, оповещенная об этом событии, явилась в клуб и за руку вытащила Тосю из круга танцующих.

У нас в школе, где, несмотря на совместное обучение, в комсомольской ячейке было девяносто процентов девушек, юноши отваживались только на тайные записки с приглашением в кино.

Тех отношений, о которых были написаны книги и говорил докладчик, я не наблюдала. Поэтому, потребовав себе слово, я выступила в прениях, начав с категорического заявления:

— Я тоже комсомолка!..

Зал грохнул смехом.

Тут я растерялась. У меня не было слов. Передо мной лежала огромная аудитория — головы, головы, головы...

И среди них я не различала ни одного лица... Беспомощная, я обернулась к сцене и почти рядом с собой за столом президиума увидела Михаила Юрина. Выжидательно улыбаясь, он смотрел на меня, и я сказала, обращаясь непосредственно к нему:

— Честное слово, товарищ Юрин... Я знаю две комсомольские ячейки — на острове Артема и в школе... Ничего подобного там не бывало!

После этого вступления я успокоилась, припомнила заготовленные фразы и произнесла гневную речь против писателей, оклеветавших комсомол.

Докладчик в своем заключительном слове коснулся моего выступления с грустью в голосе:

— Тут товарищ комсомолка с юным пылом уверяла нас, что этого большого вопроса не существует. Слушать это было приятно, но, увы, этот вопрос есть и требует своего разрешения...

После диспута в фойе меня перехватили Юрин, Камский и Тарасов.

— Ты хорошо выступила, — сказал Юрин. — Я подумываю, не устроить ли нам персональное обсуждение твоих стихов...

Провожать меня пошел Тарасов. Нам было по дороге. Мы шли по широким и тихим приморским улицам. Он мне рассказывал, что каждой ночью, вернее, под утро Миша — так он называл Юрина — ходит встречать с работы свою жену. Она заведует рулеткой. Это такая должность, которую под контроль взять невозможно. Нечестный человек может нажить большие деньги. Туда могут назначить только безукоризненно чистого, проверенного работника. Нэпманы уже не раз грозились расправиться с мужественной и принципиальной женщиной, которая не дает им наживаться. И вот Мише приходится охранять жену.

Образ Юрина в моих глазах украсился романтическим ореолом.

В воротах нашего дома Тарасов прочел мне свои стихи:

Мне сорок лет, мне с лишком сорок лет,  
А я еще и комсомольцем не был,  
Не видел я весенних яблонь цвет,  
Не видел я сиреневого неба...

Ему действительно было уже сорок лет!  
Жалко человека...

\* \* \*

В университетском литературном кружке готовилось необычайное — выход стихотворного сборника. Назывались имена привлеченных к участию, посвященные в тайну загадочно молчали, кто-то был обижен, а мелкая шушера вроде меня томилась любопытством.

И вот вышел в свет «Многогранник» — маленькая продолговатая книжечка, отпечатанная на стеклографе университета тиражом в 500 экземпляров.

В сборнике приняли участие пять поэтов. На обложке вычерчен многогранник с фамилиями авторов на плоскостях граней и с изображением домов, вышек и еще чего-то неопределенного вокруг.

Оглавление состояло из газетных рубрик: «Передовица», «У станков и вышек», «Происшествия».

Под рубрикой «На литературном фронте» были стихи, называвшиеся «Поэт и песня». Они начинались так:

Когда песня  
Стонет в груди,  
Как кошка с переломленным хребтом,  
Когда тесно

На жизненном пути  
Мотаться лисьим хвостом...

Под рубрикой «Обо всем понемногу» другой поэт сообщал:

Многие пишут стихи хорошо,  
А я сверхгениально.  
Многие любят крюшон,  
А я — синеву хрустальную.

Но были в этой тридцатистраничной книжечке стихи, которые мне тогда нравились: «О морском тоскует растерявший ярость, временем изгрызенный Апшеронский ярус».

Пятеро поэтов, участников «Многогранника», были горды и довольны. Боюсь, что четверо из них первый и последний раз видели свои произведения опубликованными, хотя бы на стеклографе. Пятый сейчас известный сценарист и прозаик, не будем корить его порывами юности.

В первую же неделю после выхода «Многогранника» Федор Николаевич, человек небольшого роста, очень изящный и элегантный, пригласил к себе гостей, чтобы отметить это событие. В числе приглашенных была и я.

Федор Николаевич был женат на дочери известного профессора медицины. Жил он у тестя в одноэтажном особняке. Сразу из передней дверь вела в большой зал, где стояли обеденный стол и рояль.

Нас встретила жена профессора — статная дама в синем платье с пышным, как взбитый белок, кружевом у подбородка.

Народу за столом оказалось человек десять. Жена Федора Николаевича, хорошенькая и капризная, показала только на несколько минут. Она поэзию не любила. Мне запомнилась младшая сестра Федора Николаевича Ксения — девушка с длинными косами. Возле нее сидел грустный молодой человек.

— Влюблен безответно, — тихо сообщил мне Федор Николаевич.

Профессорская жена высилась во главе стола, величественно взирая, как мы уничтожаем бутерброды с ветчиной и паюсной икрой. Бутылку белого вина «рислинг» разлили по рюмочкам.

Потом принесли самовар, профессорша разлила нам чай и удалилась. Поэты читали стихи. Студентка консерватории играла на рояле Грига и Шопена. Федор Николаевич прочел свою поэму о душе, разделенной на две половины и тщетно ищущей свою половину для воссоединения.

В двенадцатом часу мы разошлись. Душа моя была полна стихами, музыкой и ожиданием прекрасного.

После этого мы собирались у Федора Николаевича еще два раза. Неизменными были бутерброды, бутылка вина, чай с инжирным вареньем и величественная фигура хозяйки. Изредка в столовую заглядывала жена Федора Николаевича. Один раз она под села ко мне и спросила:

— У вас есть шелковое манто? — И, не дождавшись ответа, зашептала: — Мне сегодня принесли от портнихи. Хотите посмотреть?

Под звуки рояля, на котором исполнялся «Танец Анитры», она снова появилась в широком черном манто, подбитом ярко-оранжевым шелком. Размахивая полами, как крыльями, жена Федора Николаевича являлась нам то черной, то оранжевой бабочкой.

— Да здравствуют поэзия, музыка и прекрасные женщины, — провозгласил Федор Николаевич.

\* \* \*

Тем временем грянула гроза. В газете «Бакинский рабочий» появилась большая подвальная статья под названием «Лисьи хвосты», где «Многогранник» был уничтожен за безыдейность и антихудожественность. Фамилии его участников не приводились. Говорили, будто автор статьи заявил, что не желает создавать им даже скандальную известность.

Федор Николаевич больше не приходил на собрания литературного кружка.

Остальные авторы «Многогранника» делали вид, будто ничего особенного не произошло, но стихов уже не читали.

Зато оживилась деятельность русской секции. В каких-то русских поселениях Азербайджана Юрин выискал даровитых, абсолютно безграмотных поэтов, и мы несколько вечеров подряд слушали их самобытные произведения и восхищались отдельными строчками.

— «Земля плачет, земля стонет, земля крови не берет» — это же глыба! — Рябоватое лицо Юрина сияло радостью. — Эта строка перетянет дюжину формалистических книжонок!

Он не называл «Многогранника», но все понимали, о чем речь, а автор замечательной строчки, уже немолодой самородок, продолжал бесконечную рифмованную историю гражданской войны:

Шагали белые бандиты,  
По их пути в наш красный плен...

— Поможем! — говорил Юрин. — Научим! Вырастим!

Впервые на литературном собрании мне стало скучно, и я попыталась уйти, но меня остановили стуком карандаша по столу.

— Я попросил бы вас остаться, — сказал мне председательствующий товарищ Тарасов.

Я осталась. Прочли новые стихи наши корифеи, после чего собрание закрыли. Подающие надежды гурьбой обступили Юрина и Тарасова. Чувствуя себя свободной, я двинулась к выходу, но, прорвав кольцо будущих светил, Тарасов проворно схватил меня за руку и повел к столу.

— Завтра, завтра, все вопросы решим завтра! — Он грудью оттеснил к дверям упиравшихся поэтов, и я одна осталась перед столом, за который сели Камский, Юрин и Тарасов.

— Ну что ж, комсомолка, рассказывай! — приказал мне Юрин. Из-под высокого купола лба его глаза смотрели холодно. — Рассказывай, как ты

докатилась до такой жизни!

Камский на меня не смотрел. Он положил большие рабочие руки на стол, и лицо его было мрачно.

Тарасов при словах Юрина горестно вздохнул.

— Что рассказывать? — не поняла я.

— Ну, про свою дружбу с этими лисьими хвостами. Как собирались, как веселились.

— Собирались у Федора Николаевича. Стихи читали.

— Стихи читали, — повторил Юрин и скорбно покачал головой. — И вино пили?

— Пили.

— Все ясно, — сказал Камский, — не об чем говорить.

— Ну, а еще что делали? — спросил Юрин.

— Ясно, что делали, — снова искривился Камский, — неужели еще не ясно?..

— Ах нет, — вмешался Тарасов, — я не могу допустить этой мысли...

Его прервал Юрин.

— Ты вот что скажи, — строго обратился он ко мне, привстав и откидывая ото лба легкие прямые волосы, — скажи прямо и честно: афинские ночи у вас были?

Я не собиралась лгать. Что я знала об Афинах? Греция, расцвет искусства, музыка, скульптура... Я вспомнила вазу с цветами посередине стола, стихи, «Танец Анитры». оранжево-черную фигурку...

Ответила убежденно:

— Афинские ночи были.

Брезгливо искривился Камский, сокрушенно взмахнул руками Тарасов. Юрин опустил на стул.

— Упустили мы тебя, комсомолка. Не ждал я этого. Эх ты! — И он горестно отвернулся.

\* \* \*

И вот спустя несколько десятилетий Михаил Юрин двинулся ко мне с протянутой для приветствия рукой, но я обняла его, уткнулась в насквозь прокуренный пиджак, ощутила его дрожащую руку на своих волосах.

— Видишь, встретились, — сказал он. — Я твое имя в печати вижу, радуюсь. Все ж таки моя ученица, хотя и прозаиком стала.

О чем можно было спросить и что узнать?

— Ну, как я живу? Я хорошо живу. Вот недавно у меня два стихотворения в один сборник приняли...

Он вдруг оживился:

— А помнишь, ты мне свои стихи давала? Детские стишки были. А надпись на тетрадке мне и сейчас помнится: «До двадцати лет пишут стихи все, после двадцати поэты, после пятидесяти — идиоты». Мне-то уж куда за пятьдесят. А все пишу...

— И сборник выйдет, — напомнила я.

По внезапно наступившей тишине стало понятно, что вечер начался.

— Иди, — сказал мне Юрин, — иди, читатели ждут...

Сидевшая рядом со мной армянская поэтесса Маро Маркарян сказала:

— Ты что, плакала? Вытри глаза...

Юрина я больше не видела.

## **Бессмертные**

В этот день произошло много событий. Началось с того, что перед третьим уроком в класс вошла француженка Алиса Ивановна и объявила:

— Собирать вещи и прочь-прочь домой...

Когда ученицы радостно взревели, она страдальчески заткнула уши:

— Без шум, без шум...

Никто не понял, в чем дело, но расспрашивать не стали. Все торопливо запихнули в сумки книги и тетради. По пустынному и тихому в этот час урока

коридору навстречу девочкам двигались люди в белых халатах с баллонами в руках, за ними шла школьная нянечка с ведром и тряпками.

Разъяснила дело изгнанная с урока ученица параллельного класса. Свободная и одинокая, она слонялась по школе и все знала.

— У вас случай скарлатины. Приехала дезинфекция. А в черном городе начался нефтяной пожар. С чердака видно.

Скарлатина могла быть у Жени Маясовой. Она уже четыре дня не ходила в школу. Эта новость никого не взволновала. Болезни были редкими и желанными. Пожары случались чаще. Город у моря баловал своих жителей великолепными фейерверками с заревом в полнеба. Горящий газовый фонтан гигантской свечой озарял Приморский бульвар. Световые эффекты сопровождалась музыкальным оформлением на низких зловещих нотах.

Два десятка благоразумных и нелюбопытных девочек разошлись по домам, а пятерым понадобилось лезть на чердак, чтобы определить направление пожара.

Замок на чердачной двери легко открывался головной шпилькой. Мимо изъеденных молью чучел зверей и птиц, истертых до деревянной основы классных досок, рулонов изорванных географических карт девочки добрались до треугольного окошка с торчащими остриями разбитого стекла.

С высоты пятого этажа они увидели на горизонте облако черного дыма с багровыми всполохами. Это выглядело особенно грозно при ясном блеклом небе поздней осени, при солнце, освещавшем бесконечные плоские крыши и сероватое пространство моря.

Пожар вздымался над черным городом, и знакомое гудение уже набирало силу.

Когда девочки добрались до промысла, толпа людей, сдерживаемая цепью пожарных, плотно окружала горящий фонтан. С высокого пригорка, куда вся компания стала проталкиваться, протискиваться — и наконец пробралась, пожар был виден, как сцена в театре из первого яруса.

Буровой вышки уже не было. С земли поднималось, опадало и снова

вскидывалось ревущее пламя. На секунду оно прикрывалось густым плюшевым дымом, но потом вновь возникали малиновые, алые, оранжевые отсветы.

Мусю прижали к боку пожарника, и она сквозь плотный чад нефти и горящего газа, сквозь запахи, извергаемые из глубины земли, ощущала, как пахнет его мокрая одежда куревом, потом и почему-то супом.

С силой отталкиваясь назад, пожарник отодвигал любопытных прочь, но Муся вцепилась в его кожаный пояс. Из-под вытянутой руки пожарного ей было видно, как вокруг огня стремительно носились люди, как толстыми голубыми змеями низвергалась к основанию огненного столба пенная жидкость, от которой пламя вздымалось еще выше.

Лена и Таня держались рядом, Фанни и Клару отнесло в сторону, но все они видели, как вдруг оранжево-ало засияли на закопченном небе две соседние вышки и, мелко задрожав, опустились на землю углями больших костров.

Рядом закричала женщина:

— Чего же они смотрят? Чего они думают? Мы же все погорим!

Неподалеку от буровых стояли невысокие дома с прокопченными деревянными галерейками, на которых толклись встревоженные жители.

— Мамиконова нет, — сокрушенно сказал мужчина. — Я тебя спрашиваю, почему Мамиконова нет? — сердито прокричал он прямо в ухо пожарному.

— Я над ним не хозяин, — зло огрызнулся пожарник.

Потом нехотя добавил:

— В Сабунчах газ горит...

Еще одна буровая, которая стояла в отдалении, вдруг от основания покрылась маленькими розовыми лепестками. Живые и трепетные, они бежали все выше и выше, обгоняя друг друга и оставляя после себя оранжевые прозрачные контуры буровой.

Мусю охватило неизведанное еще чувство ужаса и вместе с тем восторга. Она впервые была частицей многоликой монолитной толпы, подверженной приливам и отливам в зависимости от всполохов огненной стихии. Хотелось,

чтобы все это кончилось, и хотелось, чтоб не кончалось никогда.

А вокруг отовсюду зазвучало:

— Мамиконов, Мамиконов...

Это имя главного тушителя нефтяных пожаров знали все в городе. Говорили, что он закрывает горящие газовые фонтаны стальной плитой, говорили, что встречным огнем отрывает пламя от земли... Личностью он был легендарной и появился, как сказочный герой, сопровождаемый восторженным шумом толпы. Ярко-красный легковой автомобиль медленно проехал по коридору, образованному расступившимися людьми.

Усатый, смуглый, великолепный, он был далек от идеала, но в него можно было влюбиться, и Муся это поняла, потому что в душе начали сочиняться стихи:

И лепестками хризантемы

По черным брускам лез огонь...

— Мамиконов приехал? — спросила она, хотя спрашивать уже было незачем.

— Граздан Мушегович его зовут! — гордо сказал пожарный.

Все пришло в движение, круг расширился, людей оттиснули с пригорка.

— Ну, теперь на огонь смерть пришел, — радостно сказал старик азербайджанец, — кончал пожар, совсем кончал.

Муся внезапно ощутила, что кончается волнующий праздник.

— Горит еще! — строптиво возразила она.

— Кончал, кончал, не бойсь, — успокаивал старик, ласково кивая ей головой.

Сразу стало неинтересно. Временами огонь еще вздымался и подвывал, но сила его иссякла. Непонятно, как этого добился хитроумный Мамиконов, но пожар был задушен, оторван от земли или загнан под землю — кто знает.

Пятерых девочек, вышедших на трамвайной остановке, томила невысказанная неудовлетворенность.

Домой не хотелось.

— Предлагаю поехать на бульвар, пусть нас ветерком обдует, — сказала Лена. В переполненном трамвае они поехали на другой конец города. И конечно, никто из них, кроме Клары, не взял билета.

— Погубит тебя твоя порядочность, — сказала ей Ленка. — Не сберегла для общества нужную копейку.

— А у меня еще есть...

Клара виновато вытащила из кармана одну серебрушку и несколько медяков.

— Ура! — закричала Ленка. — Прибавляю свои двадцать. Кто больше?

У входа на бульвар они сосчитали деньги, которые не успели истратить, потому что школьный буфет открывался только после третьего урока.

— Семьдесят шесть копеек, почти рубль, — подытожила Ленка. — Что будем покупать?

Напротив бульвар, на набережной, в маленьких темных лавках торговали персидские купцы. Они продавали тонкий прозрачный рис, который назывался «ханским». В полотняных промасленных мешочках хранили зеленый изюм, пересыпанную кристаллами соли альбухару и сушеные абрикосы восковой ломкости. Там стояли мешки, наполненные крупными раскрытыми фисташками, соломенно-желтым арахисом и грецкими орехами с картонно-хрупкими скорлупками.

На многоярусных, выроставших одна из другой вазах возлежали невзрачные на вид серые лепешки первоклассной нуги, пласты фисташковой халвы и большие конфеты в ярких обертках.

Там было еще много неведомого — баночки с приправами и специями, склянки с благовониями, эссенции и эликсиры, которые продавались по каплям, по граммам и стоили баснословных денег.

Девочки ничего не могли здесь купить, кроме крепкого ароматного ириса, ценимого за то, что на один его квадратик приходилось почти полчаса удовольствия.

После дневного света они очутились в душистом сумраке. За маленьким низким прилавком сидел тощий старичок и читал книгу с желтыми

страницами, изукрашенными черной вязью арабского алфавита.

Он поднял глаза, вздохнул, оценив уровень платежеспособности покупателей, однако вежливо привстал с табурета и готовно вытянул в их сторону длинную шею.

— Полфунта ирисок, — независимо сказала Ленка.

Деньги были рассчитаны так, чтобы их хватило выпить еще по бокалу знаменитых «фруктовых и десертных вод Логидзе».

Из глубины лавки бесшумно возник человек в красной фетровой феске. Перебирая четки, он оглядел девочек и произнес короткую непонятную фразу, на которую старичок ответил быстрым покорным движением, приложив руку ко лбу.

Всех пятерых сковал оценивающий взгляд. Стараясь не замечать мужчину в феске, они все же косились в его сторону и видели лакированные остроносые туфли, шевиотовый костюм «индиго», пиджак которого, застегнутый одной пуговицей, еле сходился на сиреневой рубашке. Мужчина точно застыл, тяжелый даже рядом с тюками, мешками и ящиками. Двигались только длинные, темные пальцы, перебирающие янтарные бусы. И слегка раскачивалась черная кисточка, свешиваясь с фески.

В ту минуту, когда старичок снял с чашки весов покупку, человек в феске лениво сказал:

— Вы, барышни, называется... От барышни должно розой пахнуть, духами пахнуть. А от вас. — он глубоко вдохнул, — от вас копченой рыбой пахнет...

Онемели все, кроме Муси. Воспитывающая себя на образцах Прекрасной Дамы и Незнакомки, она не могла стерпеть поношения.

— Мы на нефтяном пожаре были... В черном городе пять буровых сгорело... Три часа фонтан потушить не могли... А вы говорите... Сам Мамиконов приезжал...

Фанни изо всей силы дернула ее за рукав. Старичок с поклоном протянул Ленке сверток, и девочки кинулись к выходу с чувством преодоленной опасности.

— Хотите верьте, хотите нет, он выбирал из нас гурию для своего гарема! — выпалила Таня.

— Гурии — это в раю, а в гареме одалиски, — поправила Клара.

— А Муська туда же: пожар, пожар... Ну, чего ты вылезла? В одалиски захотела? Для этого нэпмана наш пожар — дорогой праздник!

Фанни недавно приняли в комсомол. Она была проникнута классовым самосознанием.

— Доложила ему: пять буровых сгорело! На блюдечке преподнесла!

Муся чувствовала себя виноватой и даже не огрызалась.

Днем на бульваре было пустынно. Гулял ветер. Море кудрявилось и било волнами о стену парапета, так что брызги обдавали девочек, устроившихся на плитках. Лена сорвала тонкую обертку с лакированных ирисок. Их было много. Два больших тяжелых пласта.

— Девочки, — сказала Ленка, — нам подали милостыню!

— Нас купили, — уточнила Фанни. — Толстопузый взял нас на содержание.

— Ну и отлично! Дайте мне ириску, — потребовала Муся.

— Лично я этот ирис есть не собираюсь, — холодно сказала Фанни.

— Я считаю, надо сейчас же отнести ему деньги за лишний вес, — решила Клара.

— А где мы их возьмем?

— Можно домой сбегать.

— Ну и что докажем? Толстопузый к тому времени уйдет, а хитрый старик деньги прикарманит и скажет: «Спасибо вам, дуры!»

— Во всяком случае, я есть не буду!

— А я буду, — взорвалась Муся. — Дайте мне ириску!

— Одалиска ты, а еще поэтесса.

— Подумаешь, конфеты в принцип возвели...

Все стало плохо. Фанни злилась, Танька ворчала, Клара непреклонно сжала губы.

Лена задумчиво смотрела в море на темную глыбу острова Наргина, возле

которого, как всегда, не то стоял, не то шел пароход. Ее некрасивое, притягательное лицо стало задумчиво отрешенным. С первого класса она была отличницей, не зубрилой, но девочкой с разносторонними, обширными знаниями. У ее отца было революционное прошлое. Свет этого прошлого падал на Лену.

— Не бузите, девочки, — сказала она, — черт с ней, с этой подачкой...

Ленка привстала, размахнулась и швырнула ириски в воду.

— В набежавшую волну, — сказала она.

Фанни расхохоталась. У нее был особенный смех — басовитый колокольчик.

Клара одобрительно кивнула. Муся чуть не плакала.

— Ну и что? Зачем? — твердила она. — Теперь все бычки будут пахнуть сливочным ирисом...

— Забудем этот ирис, наплюем на бычков, будем жить на вершинах. Читай стихи!

Напрасно некоторым Лена казалась слишком рациональной. Нет, она понимала своих друзей!

Но в душе Муси kloкотало разочарование.

— Что мы этим доказали?

— Мы сохранили свое достоинство.

— Кто об этом узнает?

— Поэт! Ты сам свой высший суд! — сказала Лена.

Казалось бы, достаточно. Но Фанни потребовалось добавить:

— Вот и верно сказано: «Быть может, всех ничтожней он». Вот я теперь понимаю, почему декабристы Пушкина в свою компанию не взяли...

— Вон куда метнулась!

— Муська, не слушай ее, прочти про любовь, — кротким голосом попросила верный друг Таня.

Муся глубоко вздохнула.

Мне не дала моя любовь

Ни новых платьев, ни стихов,  
Мне принесла любовь моя  
Простую птицу — воробья.  
Его держала я в горсти.  
Он прочирикал «отпусти»...  
Разжала пальцы я. Прости,  
Прости меня, любовь моя!

— Вот тебе раз, — вскричала Лена. — Неожиданно! Это что-то новое!

— А кто — эта любовь? — заинтересовалась Фанни. — Это Шурик, который тебя по математике натаскивает?

— Муся творчески осваивает «танку» — японскую форму, — сердито объяснила Таня.

— Уже танки в ход пошли! — Фанни захохотала.

— Нет, в этом что-то есть. Давай читай еще, — потребовала Лена.

— Все вы дуры! В этом есть и поэзия и настроение. А вам лишь бы выяснить, кто прототип. Типичное мещанство!

— Про-то-тип, — веселилась Фанни. — А он вовсе даже и не студент, этот знаменитый Шурик...

— Ну, читай, читай...

Разметал в пролетах улиц  
Косы серые асфальт.  
Люди все в домах уснули.  
Мне уснувших жаль...

— Почему тебе их жаль?

— Жизнь проходит, — печально сказала Муся. — Они спят, а жизнь проходит.

— А ты сама не спишь, что ли?

— Никогда, — ответила она.

Муся не врала. Лежа в постели, она создавала в уме стихи и поэмы. Потом внезапно наступало утро. Ночные строчки воссоздать на бумаге никогда не удавалось, но оставалось ощущение прекрасного и совершенного. Так проходили Мусины ночи.

— И это у тебя от бессонницы щеки светятся, как помидоры? — ехидно спросила Фанни.

Клара молчала. С ней происходили чудеса еще и не такие. По вечерам, если она оставалась дома одна, к ней приходил Серый Человек. Он все понимал и все мог. Клара его ни о чем не просила. Он разговаривал с ней о жизни. Его появлению всегда предшествовал огненный кружок горящей папиросы. О его существовании знали только Таня и Муся.

Лена тряхнула головой:

— А я не жалею времени. Я его подгоняю. Мне не терпится поскорее узнать, что оно нам несет. А жизни нашей конца не будет!

— Будет, Леночка, будет. Вот послушай:

Однажды в срок взойдет заря,

Спадет листок с календаря

И засияет утро дня,

Но без тебя и без меня...

— Нет, я в это не верю!

Ленка вскочила на парапет. Ветер рвал ее клетчатую юбку, вздымал рыжие курчавые волосы.

— Девочки! Мы бессмертны! Ученые всего мира трудятся сейчас над нашим спасением. Рак и туберкулез нам привьют, как оспе. От всех болезней изобретут беленькие таблетки — вечером выпил, утром здоров. Я вам это обещаю! Я ручаюсь, верьте мне!

\* \* \*

— Верьте мне, девочки, — сказала Муся, — я это слышала от очевидцев. В Эстонии, вот только забыла, в каком городе, живет врач, который излечивает совершенно безнадежных. К нему едут со всего Союза.

Она приготовилась разливать кофе по трем чашечкам — Кларе, Тане и себе.

— Знаю я этих очевидцев! — усмехнулась Таня.

— Нет, не говори. Открытия носят в воздухе, — возразила Клара. — Мы же все слышали про биолога, который разработал диету — мел, тмин, отруби, травы. Тоже исцелял. Но против ополчились наши академики.

— Новое всегда подвергается гонениям. Муська, кофе мне только четверть чашки, остальное молоком долей...

— А мне молока совсем не надо, только кофе, — сказала Клара. — Что касается чудес, то я в них, к сожалению, не верю.

— Надо верить! — убежденно заявила Муся. — Без чудес нельзя.

— Смотри что считать чудесами, — Таня неторопливо помешивала в своей чашке едва окрашенные сливки.

— Для меня чудо — каждый наступающий день. Девочки, берите миндальные пирожные, они очень свежие. Я считаю, чудеса есть. Иногда вдруг вместо оплаченных двухсот граммов получаешь целое кило ирисок...

— И чаще всего бросаешь их в море, — сказала Таня.

— Верно! А когда это было, девочки? Вчера? Неделю назад? Год или вечность?.. Я сбилась со счета...

Они все сбились со счета, засмеялись.

А за дверью кто-то сказал:

— Вот веселятся, вот веселятся...

Вошла высокая тоненькая девушка, туго обтянутая джинсами и водолазкой.

— Здравствуйте, тетя Клара, здравствуйте, тетя Таня... Бабушка, за мной пришли, я ухожу...

— Надолго?

— Не знаю. Но ты не беспокойся. Если сильно задержусь, то позвоню.

Она улыбнулась и помахала на прощанье рукой.

— Прелестная девочка, — вздохнула Таня.

— На третьем курсе. — Муся тут же постаралась смягчить свою гордость. —

Кошмар какой-то! Моя внучка — математик!

— А ты, конечно, хотела передать ей эстафету?

— Ну, хотя бы иметь общий язык. В ее книгах я не понимаю ни строчки. Одни формулы.

— Для чего тебе понимать ее учебники? Ты должна понимать ее сердце. Мы с тобой всегда были тупые гуманитарии. А ее книги, если понадобится, тебе разъяснит Клара...

— Ну, не уверена. Я ведь технарь, а там высшая математика... Ленка бы разобралась...

— А помните Ленкины пилюли? Вечером выпил — утром здоров...

Ленки уже много лет не было на свете. Фанни умерла год назад.

Стало очень тихо, и они слышали сквозь шепот и приглушенный смех юный голос:

— Кейфуют старушки...

Потом хлопнула входная дверь.

Презрев все врачебные рекомендации, хозяйка засыпала еще один кофейник свеженамолотым кофе, и по комнате снова поплыл аромат, в котором рождаются воспоминания...

А на улице пахло сброшенными листьями и по-осеннему — хризантемами. Бесконечной дорогой, ведущей к чудесам жизни, шли наши внуки — еще молодые, еще бессмертные...

## Неродная дочь

— Я с тобой совсем разговаривать не буду, потому что, если хочешь знать, ты мне вообще никто, — сказала Аленка.

Алексей никогда не думал, что так могут ранить слова семилетнего ребенка.

Когда они с Марой решили пожениться, то о девочке как-то не очень думалось. Но вскоре Алексей обнаружил, что Аленка — существо с независимым характером, совсем не похожа на свою мать и полюбить ее не так-то легко.

Мара удивилась, когда он ей сказал:

— Ты совершенно не воспитываешь своего ребенка.

Девочка была ухоженная, хорошо одетая, вовремя говорила «спасибо» и «здравствуйте», знала наизусть множество стихов. Что еще нужно?

— Капризная она, недоброжелательная...

Мара огорчилась. Алексей не хотел этого. Но он считал, что девочка должна быть подготовлена к сложностям предстоящей жизни.

Конечно, Алексея радовало, когда Аленка визжала от счастья и скакала на одной ножке. Ему нравилось быть добрым — разрешать ей не есть суп, бегать во дворе, соорудить из ночной рубашки балетную юбочку. Разрешать было легко и весело. Но — опасно.

Аленка торжествующе кричала матери:

— Ага, ага, вот ты не позволила, а Леша разрешил!

— Я не знал, что мама не позволила, — отбивался Алексей.

Аленка отлично использовала сложности семейной иерархии. Кто решал вопрос в ее пользу, тот был в данный миг главнее и сильнее.

Алексею не приходилось общаться с детьми, и сейчас многое в девочке его удивляло. Ему казалось, что существуют рубежи, которые отделяют один этап детства от другого, что, например, когда приходит время учиться в школе, то девочки перестают заниматься куклами. Но в Аленкином углу все еще царил кукольный младенец, которого звали Шурик Владимирович Абрикосов. Потрепанный, с облупленным носом, с туловищем, набитым опилками, он лежал на игрушечной кровати, укрытый атласным одеялом, а две роскошные куклы с нейлоновыми волосами, возведенные в звание его нянек, восседали по обе стороны кровати. В этом углу Аленкой и ее подругой Ниной создавалась обособленная жизнь с крупными противоречиями, интригами и компромиссами. Предметом соперничества и особых забот были не

нейлоновые красавицы, а невзрачный Шурик Владимирович.

— Мой хорошенький, — голосом материнской любви ворковала Аленка. И тут же со вздохом сообщала: — Ему три года, а он у меня все еще не умеет говорить.

Нина, расчесывая волосы куклы Жанны, рассудительно отвечала:

— Наверное, он у вас debil или даун...

Ее мать, врач-педиатр, работала с неполноценными детьми.

— Сама ты debil! — взрывалась Аленка. — Не буду я с тобой больше играть!

Нина с мрачным достоинством отправлялась в переднюю. Аленка бежала за ней.

— Уходи, уходи, пожалуйста! — кричала она. Но когда за подругой захлопывалась дверь, заливалась отчаянным ревом.

— Почему ты такая неуступчивая? — спрашивала Мара. — Ну, успокойся, успокойся, завтра помиритесь.

— Не помиримся! — орала Аленка, захлебываясь рыданиями. — Она со мной теперь никогда в жизни не помирится!

Плакать она могла часами. Примолкнет, отдохнет и заревет с новой силой.

Мара боялась этих изнуряющих слез и шла на уступки.

— Мама, я буду стирать...

— Нельзя, ты простудишься.

— У Шурика все ползунки грязные...

— Перебьется твой Шурик.

— Да, ты небось свои колготки каждый день стираешь, а Шурику разве приятно в грязном ходить...

В голосе назревали слезы. Приходилось отступать.

— Делай что хочешь, стирай, простуживайся, не ходи в школу...

Начинался рев.

— Ну, что ты плачешь? Я же тебе позволила.

— Ты неласково позволила...

Ей не хватало душевного комфорта.

В такие минуты Алексею хотелось выдрать девчонку, но он знал, что не имеет на это права, потому что недостаточно ее любит.

Но чаще она была ему мила и интересна, он радовался, что между ними все больше устанавливается доверчивая близость.

Однажды она пришла из школы со своей первой отметкой в дневнике — взволнованная, напряженная. Спросила:

— Как ты думаешь, единица — это горе или неприятность?

С тех пор прошло много лет, но все невзгоды и неудачи Алексей теперь расценивал по этой шкале — горе или неприятность?

В первые годы совместной жизни молодой семье было не очень легко. Алексей еще не имел ни опубликованных трудов, ни научной степени. Мара каждый месяц сшивала книжечку из тридцати листиков и на каждую страницу закладывала денежную купюру — расходы данного дня. Светлой мечтой было что-нибудь сэкономить, но получалось иначе — к концу месяца последние листочки оказывались пустыми: распределять расходы равномерно никак не удавалось.

И все-таки Мара не хотела уходить с маленького заводика, где она работала сменным инженером, в солидный НИИ, хотя ее соблазняли возможностью защитить кандидатскую диссертацию. Рассуждала она вполне резонно:

— С семи до двадцати трех я училась, потом год ходила беременной и три года выхаживала Аленку. Теперь снова учиться, снова экзамены? На четвертом десятке защищусь — усталая, измочаленная. Нет уж, спасибо! Я хочу быть женщиной!

Когда в доме собрались гости и друг детства Алексея, молодой, но уже набирающий имя врач Сергей Сурский, спросил Аленку, кем она собирается стать, ответ прозвучал неожиданно:

— Женщиной! — твердо сказала Аленка.

Гости, замерев на какую-то секунду, заплодировали.

А какая уж из Аленки женщина. Маленькое бесплотное существо с прямыми палочками-ногами, с бледно-оливковым личиком, на котором только и видны

серые глаза. «Слишком много глаз», — подумал Алексей, когда впервые увидел Аленку.

В душе Алексея часто возникала досада, когда рядом с Аленкой была Нина, явно обещающая стать красавицей.

Дружба между девочками крепла, хотя Аленка часто подвергала ее тяжким испытаниям.

Приехавший из заграничной командировки сослуживец предложил Алексею в дар на выбор — газовую зажигалку или набор цветных фломастеров. Алексей вспомнил об Аленке и взял фломастеры, хотя его очень манила зажигалка «ронсон». Он был вознагражден радостным визгом и заявлениями о том, что такой прелести больше нет ни у кого в классе. Тут же по вызову явилась Нина, и началось опробование фломастеров. Никаких художественных способностей у девочек не было, но рисовать они любили и чаще всего изображали большеглазых безносых принцесс в немислимо ярких одеяниях, с желтыми коронами на голове. И вот теперь у ног очередной принцессы Нина увлеченно мазала бумагу краской, призванной изображать траву.

Аленка искоса поглядывала на ярко-зеленую полосу, грозившую распространиться на весь лист, потом, перестав рисовать, вытянулась на стуле и выждала несколько секунд.

— Ты очень сильно мажешь...

Увлеченная работой, Нина сопела от удовольствия.

— Она стоит в саду на траве.

— Фломастер портится...

— Ты тоже сильно мазала, когда небо рисовала.

— Я могу мазать, это мои фломастеры, а ты не можешь, потому что они не твои.

Алексей с интересом наблюдал за девочками из соседней комнаты сквозь приоткрытую дверь.

Покраснев и напыжившись, Нина сползла со стула и молча пошла в переднюю.

Аленка сперва скакала вокруг оскорбленной подруги с воплями: «Не уходи,

не уходи, я пошутила...», потом, когда, застегнув все пуговицы на пальто и натянув беретик, Нина непреклонно пошла к дверям, Аленка стала беспомощно задираться:

— Подумаешь! Ну и отправляйся, пожалуйста... Очень нужно, я не буду плакать... Все равно первая придешь мириться...

Но едва хлопнула дверь, зарыдала отчаянными злыми слезами, побежала в столовую, в ярости разорвала все рисунки, расшвыряла по комнате фломастеры.

Поднявшись с тахты, Алексей подошел к ней:

— Ну и что ты теперь плачешь?

Аленка зарыдала в голос.

— Сама обидела подругу, а теперь ревешь...

— Я не обидела, я только сказала ей: «Ниночка, пожалуйста, не нажимай так сильно на фломастеры».

— Я слышал, как ты сказала. Нетактично. По-хамски.

Из кухни пришла Мара. Руки у нее были в тесте, фартук в муке. Стоя в дверях, она молча переводила взгляд с дочери на мужа.

— Ты хоть на минутку поставь себя на место Нины. Как бы ты себя чувствовала? Вот подумай и скажи мне.

— Я тебе ничего говорить не буду!

— Почему?

Вот тогда-то и прозвучали эти слова:

— Если хочешь знать, я с тобой вообще разговаривать не буду. Потому что ты мне вообще никто!

Хорошо она его саданула! Полтора года усилий — и все напрасно, все пошло прахом!

— Ты паршивая девчонка, — закричала Мара, — подругу обидела, Алешу обидела... Я даже не знаю, как мне тебя любить...

— Пусть он забирает свои паршивые фломастеры!

— Давай их сюда. Ты совершенно не заслуживаешь, чтобы тебе делали

подарки.

— А ты меня давно уже не любишь! Тетя Ира сказала, кто любит своих детей, тот не приведет им чужого папу. А ты привела! Легкой жизни захотела!

Мара подняла измазанную руку к дрожащим губам. Алексей почувствовал, что пришла минута, когда вмешаться необходимо. Он подхватил невесомое тростниковое тельце Аленки, жмурясь от пронзительного вопля, потащил ее в коридор, оторвал ее от себя в темной ванной, запер дверь на задвижку и вернулся в комнату.

Мара стояла у окна и смотрела на серый двор. Алексей растянулся на тахте и демонстративно взял газету. Букв он не видел. Через две комнаты и переднюю рыдания доносились вполне явственно.

— Мамочка моя родненькая, мамочка моя дорогая, пожалей ты меня, заступись за меня... Мамочка моя родная...

После этой мольбы последовала выжидательная пауза.

«Если это ее примет и она побежит спасать своего ребенка — тогда вся наша жизнь насмарку. Поработит нас эта девчонка», — думал Алексей с тем большей горечью, что и его самого пронзил этот жалобный вопль, выраженный по всем канонам русских классических сказок.

Но Мара от окна не отходила. Что она там чувствовала, он представлял себе не очень отчетливо. В напряженной тишине он ждал от нее хоть одного слова, но она молчала. Тогда заговорил Алексей бодрым и ровным голосом:

— Пойду погляжу, может быть, хватит.

Открыв дверь темницы, он миролюбиво спросил:

— Ну как, кончила плакать?

Рев внезапно прекратился, и вполне деловитый, хотя прерывающийся голос ответил:

— Нет еще... приходи попозже... только недолго...

Мара прошла на кухню и принялась за свои дела. Она очень аппетитно месила на столе большой ком желтого теста. Алексей погладил ее по плечу.

— Ничего, ничего, Алешенька, все правильно, — сказала она.

В ванной было тихо и темно.

— Ну, теперь кончила?

— Кончила, — с глубоким всхлипом ответила Аленка и взволнованным жестом полной доверчивости протянула навстречу руки. На него пахло жаром разгоревшегося от слез лица. Он отнес ее на кухню, внезапно растроганный этой незлобностью до сжатия в горле, и чуть было не наговорил каких-то расчувствованных слов, но Мара трезво ввела их жизнь в нормальное русло:

— Я тебе оставила кусочек теста. Если хочешь, слепи Шурику пирожок.

— С яблоками или с вареньем?

Алексей не успел дочитать газету, как липкие от варенья руки обхватили его за шею.

— Я нечаянно сказала, что твои фломастеры паршивые. Они очень хорошие. Он не стал выяснять, было ли это скрытое извинение или просто страх потерять фломастеры. Он и Маре не позволил «поговорить по душам» с Аленкой.

— Лучше ничего не фиксировать. Это ведь не ее слова. Она их от кого-то слышала и носила в душе как занозу.

— Придумываешь ты, — сказала Мара. — Какая там заноза. Отлично знаю, кто при ней высказывается. Это Ирина Павловна, Ниночкина мамаша. Она героиня. Она своего ребенка воспитывает без всякой помощи. Носит свое одиночество, как орден. Между прочим, красивая женщина. А моей дуре пора бы уже понимать, что к чему.

Все-таки не стоило смиряться с тем, чтобы кто-то безнаказанно внушал девочке чувство ущербности. Изорвав несколько черновиков, Алексей написал письмо:

«Уважаемая Ирина Павловна! Я вас очень прошу никогда не высказывать мнений и суждений по поводу нашей семейной жизни в присутствии Аленки. Алексей Камнев».

Он отнес это письмо в дом, к которому раза два провожал по вечерам Нину, и

бросил его в дверную щель двадцать третьей квартиры. Ответа он не ждал, но Ирина Павловна ему позвонила:

— Я достаточно взрослый человек, чтобы кто-то мне делал замечания. А меньше всего — вы! — И хлопнула трубку, оставив последнее слово за собой. А почему, собственно, меньше всего он? Чем он хуже других? Алексей был уязвлен и ничего не сказал Маре ни о письме, ни о телефонном разговоре.

Случайно найденные «воспитательные методы» оказались действенными и были приняты на вооружение. Теперь, когда у Аленки случались истерические взрывы, достаточно было спросить: «Может быть, тебе хочется посидеть в ванной комнате?» — и девочка иногда сразу затихала, а иногда с вызовом орала: «Хочется, хочется!» Но едва Алексей сбрасывал ее с рук, раздавался вполне трезвый голос:

— Только поскорее приди и спроси — ты перестала плакать?

Алексею во что бы то ни стало хотелось завоевать душу этой девчушки, этой пигалицы, завоевать ее доверие, чтобы создать настоящую семью. Он верил, что любовь рождает любовь. На помощь пришел незначительный случай. Буфетчица выдала кое-кому в институте «из-под стойки» по коробочке сливочных помадок, ставших почему-то редкостью. Вечером Мара стала звать Аленку ужинать, и Алексей услышал из своей комнаты обычные пререкания:

— Я тебе приготовила бутерброды с сыром.

— Хочу котлеты.

— Ты отлично знаешь, что их сегодня нет. Будешь вареное яйцо?

— Хочу что-нибудь вкусное.

Тут Алексея осенило. Он сунул коробочку под ковер тахты и позвал Аленку.

— Хочешь, я наколдую тебе любую вкусную вещь? — спросил он таинственным шепотом.

— Как наколдуюешь? Ты, что ли, волшебник?

— А ты разве не знала?

— Ну, Лешенька, ты обманываешь! — А сама вся затрепетала от восторженного предвкушения.

— Ну давай, что бы тебе сейчас хотелось съесть?

— Солёный огурец, — твердо объявила Аленка.

— Нет, из сладкого.

— Холодок.

— На такую мелочь мы размениваться не будем.

— Мишку на севере.

— Выше! Редкостнее! — Алексей зажмурил глаза и повел взад и вперед растопыренными пальцами. — Я вижу кремовое и розовое с цукатами...

— Помадка! — взвизгнула Аленка.

— Значит, я так понимаю, что ты желаешь помадку?

— Да, да, помадку!

— Вейте, ветры, греми, гром, приди на помощь, колдовская сила! — Алексей произносил заклинания замогильным голосом, воздев руки к потолку. — Выдай сливочную помадку, — завершил он еле слышно. Потом опрокинулся на тахту и с усталым вздохом сообщил: — Колдовской дар уже здесь...

Взбудораженная Аленка озиралась по сторонам. Мара смотрела с веселым любопытством.

— Ну, чего вы ждете? Ищите где-то в районе тахты!

Когда Аленка вытащила из-под ковра конфеты, вид у нее был счастливый и растерянный. Но тут же она потребовала:

— Теперь хочу миндальное пирожное!

— Ну, знаешь, ты нахалка, — сказал Алексей. — Волшебная сила на сегодня иссякла.

За столом Аленка допытывалась у Мары:

— Мама, а ты знала, что он волшебник?

Правдивая Мара отвечала уклончиво:

— Предполагала.

— Попроси, чтобы он тебе сапожки наколдовал... Желтые на высоком каблуке... Хочешь, я попрошу?

Когда у Мары через какое-то время появились сапоги, правда не желтые, а

черные, Аленка была уверена, что они «наколдованы».

Но волшебная сила Алексея проявлялась далеко не часто. Аленка нетерпеливо спрашивала:

— Когда наберешь силы?

— К концу недели, может быть, появится...

В субботу у входной двери раздался длительный звонок. Алексей выбежал в переднюю. Но звонок был только предупреждением. Аленка открыла дверь своим ключом. За ней толпились девочки, заполнившие, как показалось Алексею, всю лестничную площадку.

Аленка завопила:

— Они не верят, что ты волшебник!

Девочки смотрели на него вытаращенными глазами.

— Ну, что уж так-то сразу, — растерялся Алексей.

Шесть девочек прошли в комнату и чинно уселись на тахте в ожидании чудес.

Мара на кухне давилась от смеха.

— Есть что-нибудь у тебя?

— Есть изюм и миндаль, купила к Новому году.

— Сойдет. Спрячь в передней на вешалке.

Алена ворвалась в кухню:

— Ну, иди, иди, нечего тут с мамой секретничать!

Она вела себя более развязно, чем обычно. Алексей понимал: ей хотелось показать свою власть над отцом, хотя при девочках она избегала прямого обращения. Папой она его никогда не называла, а по имени при подругах не хотела. Кроме Нины, вряд ли кто из них знал, что Алексей ее отчим.

Теперь, когда все было подготовлено, можно было немного покуражиться.

— Что-то не чувствую я в себе сегодня колдовской силы...

Девочки быстро переглянулись.

— Есть! Есть! — волновалась Аленка.

Вздыхнув, Алексей поднял глаза к потолку:

— Что желательно — твердое или мягкое?

Аудитория замерла.

— Говорите! — зашипела Аленка. — Он все может!

— Мягкое, — пискнула Нина.

— Твердое! — тут же потребовала Аленка.

Девочки вразнобой зашептали: «Мягкое», «Твердое», «Мягкое»...

— О, волшебная сила, как тут быть? — Алексей прислушался и закивал головой, словно получил ответ. — Хорошо, будет вам и мягкое и твердое, — пообещал он.

Заклинание было произведено по ритуалу: «Дуйте, ветры, греми, гром» — и далее все, что положено. Девочки смотрели на него с опасливым восхищением.

— Волшебные дары прибыли, но не знаю, где они. Ищите сами.

Сперва несмело, потом горячась и подзадоривая друг друга, девчонки переворошили всю квартиру. Но вот Нине понадобился носовой платок, который лежал в кармане пальто, и она нашла внизу на вешалке два пакета, перевязанные розовой лентой. Чтобы не было сомнений, на каждом была выведена надпись печатными буквами: «От волшебной силы». Твердый миндаль и мягкий изюм.

— Я говорила, а вы не верили, — удовлетворенно подвела итоги Аленка.

А вечером, усталая и притихшая, она прижалась головой к плечу Алексея и зашептала:

— Скажи мне правду, Алеша, ведь волшебников не бывает?

Ему не хотелось сразу все разрушать.

— Почему ты так решила?

— Потому что эту розовую ленточку я у мамы просила, просила, а она мне не дала.

— Может, это другая ленточка?

Она вздохнула:

— Та самая. Я от нее еще тогда потихоньку кусочек отрезала.

Нет, Алексей не был волшебником. Он не умел даже владеть своими настроениями. В институте повздорил с начальством, наговорил много лишнего. Справедливо, но с перебором. В лаборатории оставаться не хотелось, и он взял свои расчеты, чтобы закончить работу дома. В конце концов, должен быть у человека дом, нормальный тихий дом, где можно хоть иногда поработать.

Но дома не было, а был какой-то проходной двор, наполненный девчонками, мальчишками, портнихами, подругами. Непрерывно кто-то приходил и уходил, непрерывно кого-то кормили.

Мара сказала:

— К Алёнке пришли ребята выпускать школьную стенгазету...

Она увидела, что он поморщился.

— Это тебя совершенно не касается. Занимайся в своей комнате.

Но у него не такая работа и он не толстокожий бегемот, чтобы чувствовать себя хорошо в подобном бедламе. Нечто в этом роде Алексей высказал Маре, но она только передернула плечами:

— А что делать?

Он знал, что делать. Регламентировать эти вечные посещения, эту толчею в доме. Если уж на то пошло, все благосостояние семьи зависит от его работы. С этим надо считаться.

— Скажи, чтобы они там были потише.

— Но это же дети...

В соседней комнате кто-то закричал петухом, раздался хохот. Алексей рванул дверь.

— Неужели так трудно понять, что вы мешаете мне работать? Найдите для своей стенгазеты другое место или хотя бы другое время...

Сразу все замолчали.

Захлопнув дверь, Алексей остался в тишине, прерываемой легким шорохом шагов, чуть слышным шепотом и, наконец, осторожным щелчком дверного замка.

Теперь, когда стало абсолютно тихо, он почему-то не мог думать о работе. Ему надо было знать, где Аленка? Она стояла в комнате, покинутой ее друзьями, перед столом, на котором еще лежали обрывки бумаги, краски и цветные карандаши. Лица ее он не видел, потому что она стояла к нему спиной и не обернулась на его оклик.

Алексей пошел к Маре. Она встретила его молча, отчужденно.

— Что ты на меня так смотришь? Можно подумать, я в чем-то виноват!

— У ребенка должен быть дом.

— А у меня? — спросил Алексей.

— У тебя он есть, — по-прежнему непримиримо ответила она, — ты в нем хозяин, и это тебя обязывает. А девочка в какой-то степени от тебя зависима и потому должна чувствовать себя дома в твоём присутствии свободно... И вот как хочешь...

Он схватил с вешалки шапку, дубленку. Одевался уже в лифте, повторяя про себя все доводы своей безусловной, неоспоримой правоты.

Шагая без цели по каким-то неведомым доселе улочкам и переулкам, Алексей вел спор со своей женой. Да, он был прав. Но ожесточение, с которым он это повторял, угасало под натиском воспоминаний.

Еще как будто так недавно он, тринадцатилетний парень, тащил к себе домой друзей-одноклассников. Ему было очень важно показать им свою коллекцию спичечных коробок и набор столярных инструментов. Это было начало дружбы с новыми ребятами, которых влили в их класс. Алексей ясно помнил свое счастливое оживление в ту минуту, когда он нажимал кнопку звонка, а потом унижение и отчаяние, когда мать неприветливо сказала:

— Я только что полы вымыла. Натопчете. Пусть в другой раз товарищи придут.

Он очень любил свою маму, но до сих пор чувство стыда за нее живет в его душе...

И вот так же поступил он сегодня с Аленкой.

Он вспоминал все то, что было уже прочно завоевано, а теперь, может быть,

навсегда утеряно...

Как-то он лежал со своим очередным радикулитом, Аленка притащила ему затрепанную книгу.

— Алеша, тебе скучно? Хочешь, я тебе интересный рассказ прочитаю?

Он предпочел бы подремать, но выразил живой интерес.

Рассказ был о геологах, встретивших в горах человека, который обещал привести их к богатым месторождениям золота. На этом месте голос Аленки прервался, и она, заложив пальцем страницу, жарким шепотом сообщила:

— Ты ему не верь, не верь! Он врет, хочет их запутать. Но ты не беспокойся, все будет хорошо.

Дойдя до благополучного конца, она удовлетворенно сказала:

— Я тебя заранее предупредила, чтобы твоему нерву не было вредно.

Она слышала, что радикулит — это воспаление нерва.

...Поздним вечером Алексей вернулся домой. Он понимал, что Аленка уже спит, и это огорчало его, потому что он хотел как можно скорее восстановить мир и душевное равновесие в своем доме.

Но Аленка не спала. Едва повернулся ключ в замке, она очутилась в передней рядом с ним в длинной, до полу, ночной рубашке.

— Алеша, — зашептала она, — давай мы с тобой помиримся и вместе пойдем к ней и скажем, что помирились...

Он присел перед ней на корточки и спросил тоже шепотом:

— К кому пойдем?

— Ну к маме, к Маре, — нетерпеливо пояснила она. — Нисколько у нее голова не болела, а плакала она потому, что мы с тобой поссорились. Она плакала, как маленькая, просто ужас! Ты не сердись на меня, Васильев всегда кукарекает, такая у него глупая привычка...

За руку она привела его к матери и сказала, как взрослая:

— Видишь, мы уже совсем помирились, так что ты теперь спи спокойно и больше не плачь.

Сделав свое дело, она направилась к дверям — маленькая, мудрая, усталая.

Алексей перехватил ее по пути, поднял над головой и, бережно опуская на пол, шепнул:

— Я тебе куплю хомяка!

Это было воплощение давней мечты.

Нельзя давать неосмотрительные обещания и потом начисто об этом забывать. Аленка помнила и ждала. Она следила за каждым движением Алексея, ловила его взгляды, а он ничего не замечал, ничего не помнил. Жил своей отдельной взрослой жизнью.

Утром в выходной день, раскрыв книгу, которую необходимо было прочесть, чтобы не отстать от жизни, он услышал слабое шуршание и увидел конверт, вползавший под дверь из коридора в его комнату. В конверте было послание: «Дорогой Лешенька, прошу тебя, не сердись за то, что я тебе напоминаю, что ты обещал купить мне хомяка. Я очень боюсь тебя, но мне так не терпится, что я просто не могу, ну, ну просто больше не могу терпеть. Я знаю, что это уже нахальство с моей стороны, но ты, пожалуйста, не сердись на меня, очень тебя умоляю. Конечно, ты уже сказал, что купишь мне хомяка, большое-пребольшое спасибо тебе, но я просто не в силах больше терпеть, и если ты не... то я просто разорвусь... Я знаю, что на мою маму очень действуют такие записки, и надеюсь, что она подействует и на тебя. Я точно не знаю, но я так думаю. Хотя мама против хомяка. Подумай сам, если бы ты был ребенком на моем месте, тебе тоже не терпелось бы, если бы тебе сказали, что купят тебе осла, запряженного в тележку. Или какую-нибудь другую твою мечту. Если тебе не захочется, то ты ничего не говори, даже не выходи из комнаты, а если вдруг захочется, то выйди и скажи мне „да“...»

Последнее слово было подчеркнуто трижды. Паршивка помнила, как он рассказывал о том, что мечтал в детстве иметь осла с повозочкой. Она все помнила. Никуда не денешься. Алексей отворил дверь, торжественно сказал «да». И они поехали и купили золотисто-рыжего хомяка, которого тут же назвали Фомочкой. Купили против желания Мары, которая уверяла, что хомяк

это та же мышь. А мышей она не переносила.

— Мамочка, ну посмотри, какой он прелестный, какие у него щечки раздутые, он туда орехи напихал, ну посмотри, как он ручками сухарик держит и обгрызает...

Мара брезгливо отворачивалась и угрожала:

— Только малейший запах услышу — и прощайтесь со своим Фомочкой. Я его выброшу.

Но девочка была на высоте. Она каждый день чистила клетку, готовила крохотному зверьку разнообразную кормежку и выводила его гулять на поводке, словно породистую собаку. Фомочка вытеснил из ее сердца даже Шурика Владимировича, который теперь вместе с остальными игрушками был — по-видимому, уже навсегда, — заложен в ящик и отправлен на антресоли.

Но и это увлечение вскоре прошло. Наступали новые времена. Аленка теперь подолгу стояла на балконе, мечтательно смотрела на улицу. Однажды торопливо позвала Алексея и, приложив его руку к тому месту, где у людей находится желудок, таинственным и счастливым шепотом спросила:

— Слышишь, как у меня бьется сердце?

— А почему? — осведомился Алексей.

— Посмотри! По той стороне Лева Оранский идет!

— Ну и что?

— Я его люблю.

— Аленушка, — простонал Алексеи.

А она заговорила торопливо, стараясь объяснить ему, непонятливому:

— Мы его любим потому, что он красивый. Его все девочки из нашего класса любят. Первая его Динка Харламова полюбила, но скрывала, а потом мы узнали и тоже полюбили.

Алексей не нашел ничего умнее, чем спросить:

— А он?

Аленка вопроса не поняла.

— Он учится в девятом классе. Ты только представь, как его зовут. Лев

Моисеевич Оранский. Правда, красиво?

— Мне больше нравится Шурик Владимирович Абрикосов, — мрачно ответил Алексей.

Это все приходило и в свой черед уходило. Лев Моисеевич Оранский забылся. После него в фаворитах побывали волейболист Леня, артист Видов, на короткое время мальчик Женя из параллельного класса. Но с ним Аленка обошлась жестоко и порвала дружбу, едва она возникла.

— Бедный Женечка, — посочувствовал Алексей.

— Ничуть не бедный! Он мне сказал — как я впустил тебя в свое сердце, так и вышвырну оттуда!

При всем таком непостоянстве незыблемой оставалась одна привязанность — Нина. После бурных ссор и бурных примирений первых школьных лет они стали неразлучны. Нина выполнила все обещания детства — она росла признанной красоткой. За ней ухаживали даже студенты, и Аленке нередко приходилось покрывать ее вечерние отлучки перед Ириной Павловной.

— Понимаешь, Алеша, я врать не люблю, но приходится. Она вчера в кино на последний сеанс пошла, а мне велела: скажи маме, что мы с тобой занимались. Я же не могу ей отказать!

Но вот начались занятия в десятом классе, и вскоре Нина перестала появляться у них в доме. Выяснилось, что назрела глубокая ссора. Аленке надоело врать и покрывать Нинины грехи. Нине надоели Аленкины переменчивые настроения и капризы. Дело осложнилось вмешательством Ирины Павловны, которая, оказываясь, сказала:

«Если моя дочь помирится с Аленкой, я буду ее презирать!»

— А за что тетя Ира на тебя так взъелась? — поинтересовался Алексей.

— Она не переносит, если у меня хоть что-нибудь получается лучше, чем у Нины. Или хотя бы вровень с Ниной. В этом году у нас три девочки идут на медаль — Нина, я и еще одна из параллельного. Ирина Павловна из себя выходит — как это Аленка тоже может получить медаль!

— А ты получишь? — спросил Алексей.

— Конечно, получу.

— Ты у нас тщеславная, что ли?

— Ну, Алеша, не могу я хуже Нины учиться...

— Почему?

Она посмотрела на него большими серыми глазами:

— Тебе будет неприятно.

Несмотря на ссору, девочки продолжали сидеть на одной парте, не здороваясь и не разговаривая друг с другом. Одноклассники уговаривали их пересесть, они упорно отказывались, видимо все еще надеясь на примирение, но не умея сделать первый шаг.

Между тем эта пустячная ссора могла развести подруг на всю жизнь. Школьных дней им оставалось уже немного, затем Нина по решению своей матери пойдет в медицинский институт, Аленька же куда угодно, только не в медицинский. И дружба кончится.

Обо всем этом Алексей с тревогой стал говорить Маре, но она оборвала его:

— Охота тебе в такие дела вникать. Ссоры, примирения. Девочки сами разберутся.

— А если нет?

— Ну, знаешь, я в эти девчоночьи дразги вмешиваться не могу. Мне вон даже почитать некогда...

Но видеть, как мается Аленька, было тяжело. Она мыла посуду, вилки и ложки звякали в тишине. Это было совсем не похоже на ее обычную работу, всегда сопровождающуюся пением и болтовней.

Алексей не выдержал:

— Что с тобой, Аленька?

— Все хорошо, я сегодня пятерку получила.

— Что же ты не танцуешь? Хочешь, я тебе сейчас музыку наколдую?

— Ничего ты больше не сможешь мне наколдовать.

Руки у нее были мокрые, и она, наклонив голову, слегка боднула его в плечо и тут же отстранилась.

Приближался Новый год. Любимый праздник, который Аленка всегда проводила вместе с Ниной. Алексей намекнул на новые американские джинсы, которые, возможно, будут лежать под елкой.

— Не надо никакой елки, Алеша. От нее один мусор.

— А с кем ты будешь встречать этот Новый год?

— Ни с кем не буду. Я спать лягу. И не надо меня ни о чем спрашивать, прошу тебя...

Алексей шагал взад и вперед перед фасадом девятиэтажного панельного дома в нелепой надежде, что из пятого подъезда выйдет нужный ему человек и тогда все произойдет как бы случайно. Это могло бы снять неприятный и даже унижительный для Алексея оттенок предстоящего разговора.

Было морозно, и Алексей, не признающий теплой обуви, постукивал ногами и злился. Он злился потому, что Ирину Павловну видел всего один раз и, скорее всего, не узнал бы ее среди прохожих. А еще злился потому, что мог бы позвонить из будки телефона-автомата, вызвать Нину и объясниться непосредственно с ней. Это было бы и удобно и разумно, но он не имел права себе это позволить. У Ирины Павловны в этом случае был бы повод говорить о давлении на волю ее дочери.

Но очень уж не хотелось ему идти в этот дом, и он обрадовался оттяжке, когда рядом с тротуаром остановилась машина и из нее выглянуло озабоченное лицо его друга Сережи Сурского.

— Что ты здесь делаешь?

— Жду... Одно дело... — неопределенно ответил Алексей.

Сурский вылез из машины и закурил.

— А я еду от больного, — сказал он. — Человек молодой, а болезнь старая...

Помогу не помогу, попытаться надо... — Он забыл, что уже задавал этот вопрос, и еще раз повторил: — Что ты здесь делаешь?

Алексей коротко рассказал товарищу, зачем сюда пришел и чего ждет.

— Понимаешь, хочется все-таки помирить девчонок...

— Нет, это ты серьезно? — удивился Сурский. — Вот, оказывается, какие заботы терзают докторов наук!

— Иди к черту! — обозлился Алексей.

Сурский засмеялся и помахал на прощанье рукой.

В самом деле, со стыдом подумал Алексей, люди занимаются серьезными делами, а он бессмысленно торчит тут на улице. «Надо все это бросить или быстрее кончить, — думал он. — И никому ничего не рассказывать!»

Перескакивая через две ступеньки, он побежал по пролетам лестницы и надавил пуговку звонка. Надеялся, что дверь откроет Нина.

Резкий женский голос спросил:

— Кто там?

Первым побуждением было не отвечать и удрать.

— Алексей Георгиевич Камнев, — ответил он. Получилось слишком торжественно. А как он еще мог назваться?

На одну лишнюю секунду за дверью стало тихо. Потом дважды щелкнул ключ в замке, прогремела дверная цепочка и отодвинулся язычок английского замка.

— Входите... Только у меня не убрано, простите...

В стерильно чистой комнате он отметил блеск рояля и множество портретов Нины — во всех возрастах ее жизни.

Ирина Павловна нервно рвала на себе тесемки передника.

— Садитесь, пожалуйста...

Но сама стояла, взявшись руками за спинку стула, — сидящая женщина, которая, по-видимому, уже давно не думала о том, что она красива. В такой ситуации Алексей тоже не осмелился сесть и мял в руках шапку, которую забыл оставить в передней на вешалке.

— Вы, конечно, понимаете, что я пришел говорить о наших девочках...

Ирина Павловна слегка наклонила голову.

— Они дружили десять лет, и вот теперь, перед окончанием школы, их дружба обрывается из-за каких-то пустяков или глупых недоразумений. Хорошо ли

это? Может быть, мы с вами посодействуем их примирению?

Она промолчала.

— Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Могу только добавить, что в нашем доме все любят Нину и нам ее не хватает.

— Вы говорите — разошлись по пустякам, — пальцы Ирины Павловны нервно перебирали спинку стула. — Нет, это не пустяки; например, это совсем не пустяки, когда они договариваются пойти посмотреть фильм и моя Нина ждет Аленку, а потом, когда картина сходит с экрана, выясняется, что Аленка ее, конечно, уже успела посмотреть, а Нина осталась ни с чем. Это хорошо?

— Нехорошо, — согласился Алексей.

Он мог бы добавить, что Нина видела фильм в первый же день с одним из своих поклонников и Аленке пришлось принять удар на себя, чтобы выручить подругу.

— И всегда так. На контрольной Нина решает ее задачу, а свою не успевает кончить. Аленке ставят пятерку, и она идет на медаль, Нине — четыре. Моя дочь из-за этой истории заболела, Аленка в тот же день пошла на вечеринку. Даже не поинтересовалась, что с Ниной, почему ее нет. Я тогда сказала: «Смотри, ты для Аленки все делаешь, а чем она тебе платит?»

— Разве в отношениях между друзьями можно все взвешивать и измерять?

Но Ирину Павловну трудно было остановить.

— Когда в седьмом классе у Аленки была ангина, моя дочь две недели прямо из школы ходила к вам, и я ничего не говорила, хотя она могла бы заразиться. Но когда у Нины в прошлом году была простуда, то ваша жена не пустила к нам Аленку...

И в этих словах многое, очень многое было неверно и искажено. Но спорить было ни к чему.

— Так мы никогда не договоримся, — сказал Алексей, — невозможно разбирать каждый случай в отдельности. Я заранее согласен — одна девочка ангел, другая, допустим, плохая. Но они любят друг друга.

— Ну и что? Они в неравном положении. За спиной Аленки стоите вы, ваше

положение, ваш авторитет. Нина должна сама пробиваться в жизни. Ей не нужны неверные друзья.

Бешенство заполняло его, но он понимал, что не должен позволить себе ничего лишнего. Он пошел к выходу, но в это время увидел девочку. Нина стояла в дверях и, видимо, все слышала.

— Нина, — сказал он, — я пришел за тобой. Аленка очень тоскует.

— Я пойду, мама! — сказала девочка.

— Нина! — предостерегающе закричала Ирина Павловна.

Алексей не стал ждать, чем кончится спор. Он ушел.

Нина догнала его уже на улице.

— Аленушка, — сказал Алексей, — выйди-ка в переднюю, там тебя кто-то ждет...

Аленка в ванной комнате стирала какие-то пестрые тряпочки. С недовольным видом она стала вытирать руки полами своего голубого халата.

Сперва Алексей не услышал ничего. Потом раздался двухголосый рев.

— Только не смейте выяснять отношения! — крикнул он из своей комнаты.

Аленка вернулась домой поздно. Конечно, она провожала Нину, потом Нина Аленку — так они и ходили взад и вперед по улице и никак не могли расстаться.

Мара уже спала. Алексей сидел, одолевая один из романов Фолкнера. Ему нравилось решать ребусы каждой фразы этого писателя.

Аленка влезла коленками на стул и уперлась в стол локтями.

— Ну, чего тебе? — не очень любезно спросил Алексей.

— Лешенька, давай встанем завтра пораньше, чтобы выбрать хорошую елку.

— Ты же не хотела елку.

— Теперь хочу.

— Хорошо. Пусть будет как всегда.

Аленка покачала головой:

— Как всегда, наверное, уже больше никогда не будет...

Значит, миновал еще один жизненный рубеж...

— Ничего, — ласково сказал Алексей, — может быть, будет еще лучше...

## Договор

Николай Иванович Самосадов о себе говорил: «Я человек общежитейский». Так он определял свое существование на этой земле. Только до войны, до двадцати лет, он жил дома у родителей, стояли вокруг него родные стены и был свой закуток, где можно было схорониться от чужих глаз.

Все годы войны он ни часу не оставался один. В окопах, в походах, в госпиталях — всегда вокруг были люди.

После войны родительского дома не стало, старые умерли, брата и сестер жизнь раскидала по городам, они обзавелись семьями, и Николай Иванович стал искать для себя место в жизни. На руки свои он не жаловался. Они могли и дом собрать, и печь сложить, и машину водить. Война всему научила. Но по молодой глупости Николай Иванович не дал своим способностям развития. Знаний своих не углублял, учиться никуда не пошел, а так и остался не то столяром, не то плотником, не то шофером. Словом, на все руки мастер. Про себя-то знал, что мастер он невеликий, но люди не жаловались, начальство хвалило за добросовестность, опыту со временем прибавилось, и мог бы он жить не хуже людей — иметь дом, жену, детишек. Но не везло ему.

Вскоре после победы он женился на девушке из своей деревни. Тогда совсем не набалованные люди были. Радовались, что крыша есть над головой да кое-какая утварь. Он работал в колхозе по договору. Фаля в столовой при станции, голодные не сидели, денежки водились. Так еще один годик оторвался Николаю Ивановичу пожить вроде бы в своем доме, среди своих вещей.

Но все обернулось обманом.

В один день застал он на своей кровати молодого повара из Фалиной столовой. В первую минуту растерялся, не знал, что делать — то ли его бить, то ли ее. Даже что говорить, не знал, мычал что-то бессмысленное. Повар этот тоже волновался и от стыда никак не мог ногой в брючину попасть. Одна Фалечка

не растерялась:

— Ну и что такого необыкновенного? Не старое время. В жизни все бывает...

Повара быстро наладила, а мужу сказала ласково, будто ничего и не было:

— Ужинать будешь или как?

Николай Иванович от такой наглости еще больше растерялся, а Фаинка затрещала, заверещала:

— Подумаешь, какое дело! Теперь каждый человек — свободный. Вот и ты сходи хоть к кому, я слова не скажу... Столько вокруг хороших женщин после войны одинокие остались, так что ж им, пропадать, что ли? Теперь я перед тобой виновата, а ты сквитай. Я не против.

— Нет, так дело не пойдет, — сказал Николай Иванович. — У меня совершенно другие понятия насчет семейной жизни.

— А вроде культурный человек, до Берлина дошел, — укорила его Фаина. — Это вот и называется — пережитки прошлого.

Николай Иванович не стал больше ничего слушать, ушел в общежитие, и началась его одинокая перелетная жизнь. Везде койка, тумбочка, а все имущество — в двух чемоданах. Ребята вокруг сперва были его возраста, потом стали они молодеть, а он в лета входил. И все по общежитиям. Сначала работал больше по плотницкому делу — отстраивали целые села, поднимали разрушенное войной хозяйство. Потом Николай Иванович пересел на машину и теперь работал шофером, жил в городе Александрове в общежитии завода. Попробовал все же один раз уйти на квартиру. Показались ему не по возрасту вечная суэта общежития, молодежное веселье и озорство. Но ничего хорошего опять не вышло.

Порекомендовали ему снять комнату у одинокой женщины, на другом конце города. Ходить на работу далековато, но домик ему понравился — стоял в цветочно-ягодном садике, комната была чистенькая, хозяйка тихая, уже не молодая. Почему не жить?

Странно вели себя соседи. Свесившись через забор, старуха из соседнего двора спросила:

— Ты у Клавы жилец будешь или как?

Николай Иванович таких расспросов не любил, но дерзко никогда не отвечал.

— Да вот поживу пока, — сказал он неопределенно.

— Поживи, поживи, — заворковала соседка. — Клавочка, она женщина хорошая, а если что, так она сама себе, бедная, не рада...

Он не стал слушать бабьи разговоры. Клава по утрам кипятила чайник, и они вместе, по-семейному, попив чайку, расходились по своим делам. Обедал Николай Иванович в заводской столовой, по вечерам пил ряженку.

Механик, порекомендовавший эту комнату, при встречах с Николаем Ивановичем испытующе спрашивал:

— Ну как? — Вроде бы чего-то ждал.

Николай Иванович отвечал:

— Нормально.

И то, что на второй неделе они сошлись и стали жить, как муж с женой, тоже было нормально. Николай Иванович вырыл погреб, обновил забор, но оформлять отношения не торопился и особо перед Клавдией не открывался. Сберегательная книжка у него была заперта в чемодане, деньги он давал Клавдии только на ежедневные расходы, да и те она брать не хотела. Приносила из столовой что повкуснее, и по вечерам они пили чай с вареньем из черноплодной рябины, которая понижает кровяное давление. Жизнь вроде бы наладилась неплохая.

И только через месяц Николай Иванович понял и соседкины намеки и затаенный смысл вопросов механика.

В одну пятницу вечером Клаву, пьяную до потери сознания, привела домой какая-то тоже сильно выпившая женщина. Утром Николай Иванович не узнал свою хозяйку. Неприбранная, жалкая, она постучалась в его комнату и униженно стала просить поллитрочку, которая была у него в запасе. Он понял, что давать ей спиртное не надо, но она молила прерывающимся шепотом:

— Дай, миленький, душа горит... Дай, а то я что-нибудь над собой сделаю...

— И слезы текли по ее помятому серому лицу.

Десять дней Клава не выходила на работу и каждое утро выпрашивала у Николая Ивановича деньги на бутылочку. Ей было все равно что пить — водку, солнцедар, кислое натуральное, лишь бы выпить. И по вечерам он находил ее то одурманенную, сонную, то противно веселую, бесшабашную, беспамятную. Комнаты быстро запылились, замусорились. Николай Иванович уже собирался вернуться в общежитие. Он пил мало и редко, пьяных женщин совершенно не переносил. А Клава была ему особенно неприятна, когда на коленях вымаливала рублик на выпивку. Но уехать, пока она в таком состоянии, Николай Иванович боялся. Двери Клава не запирала, газ не выключала, и он каждый вечер со страхом в душе возвращался домой.

Все это кончилось в один день. В комнатах стоял свежий запах вымытых полов. Клавдия, гладко причесанная, умытая, встретила его слабой виноватой улыбкой.

— Коленька, миленький, здоровьем своим, жизнью своей клянусь — в последний раз... В жизни больше не притронусь, подумать даже тошно... Прости ты меня...

— Что тебе в моем прощении? Ты о себе подумай. С работой у тебя как будет?

— Коленька, меня в универмаг люди устраивают... Зарплата еще лучше... Я тебе с вечера готовить буду... Ты поверь — никогда больше не повторится! Николай Иванович поверил.

Соседка при встрече жалостливо сказала:

— Она, бедная, в себе не вольна. Не в первый раз. Вы от нее подружек отваживайте, они ее спаивают.

Клава во всем старалась ему угодить. Каждое утро он выходил из дома наглаженный, накрахмаленный. Компот его любимый в холодильнике не переводился. В доме порядок, садик ухожен, варенье на зиму наварено. Первую зарплату из универмага Клавдия всю перед ним положила.

— На что мне? — сказал Николай Иванович. — У меня своих хватает.

— У тебя целей будут.

— Не надо. Зубы себе лучше вставь, а то вон щербатая ходишь...

Почти два месяца так хорошо прожили, а потом все повторилось. Как увидел Николай Иванович — идет она от ворот пошатываясь, на лице потерянная, жалкая улыбочка, голос фальшивый выкликает: «Миленький мой, стой, меня высматривает... А я вот она! Иду, иду!» — так он больше ничего и ждать не стал. Покидал свои вещи в чемодан и ушел в общежитие. Неделю в коридоре спал, пока место освободилось. Несколько раз по утрам, до работы, приходила Клава — больная, бессмысленная.

Твердила одно: «Николая Ивановича мне». Да спасибо, ребята выручали, предупреждали вовремя, и Николай Иванович то отсиживался в мужской уборной, то убегал через комендантскую в гараж.

А недели через две Клава пришла в рабочее время, передала ему через уборщицу выстиранное белье, кое-какие забытые мелочи да в придачу пирог с яблоками. Так и кончилась эта история в жизни Николая Ивановича. Общежитие было верным, надежным приютом. А замдиректора обещал всем ветеранам войны в скором времени выдать ордера на однокомнатные квартиры.

Вроде уже успокоился Николай Иванович и ничего больше не ждал от жизни. Было ему сильно за пятьдесят, жизнь он повидал, на судьбу свою не жаловался. Но человек не знает, где его подстережет случай.

Получил он приглашение от младшей сестры из подмосковного города Ступино. Выдавала сестра замуж дочку, звала на свадьбу. И не так уж далеко, а давно Николай Иванович не видел родни, не бывал в тех местах под Каширой, где прошло его детство. И надумал он ехать. Снял с книжки сто рублей на подарок молодым, взял отгул и отправился.

Сестра, конечно, постарела, племянница выровнялась в красивую девушку, свадьба была богатая, поскольку жених — сын директора мясокомбината. Гостей человек пятьдесят, если не больше. Сперва в ресторане гуляли, потом у жениховой родни, потом у сестры догуливали. И вот тут подошла к Николаю Ивановичу женщина — крепенькая, круглолицая, — в которой он сразу узнал

Фалечку, Фаинку, — свою первую покинутую жену.

В нем и хмель свадебный бродил, и молодые воспоминания налетели, и баянист очень уж чувствительно играл. Взволновался душой Николай Иванович и весь вечер не расставался со своей первой зазнобой.

— А все ж таки как ты живешь? — спрашивал он у Фаинки.

И она отвечала, что живет хорошо, в Москве у нее отдельная однокомнатная квартира, под Москвой домик с участком, квартиру она сдает, а домик сейчас перестраивает, оборудует, но работать не бросает, хотя и пенсию уже оформила.

Николай Иванович и слушал и будто не слышал. Он все сжимал в руках ее крепенькие пальцы, смотрел в живые карие глаза и снова спрашивал:

— Ну а все ж таки как она, жизнь?

Фаинка вытащила его танцевать, и он танцевал с ней и под баян и под магнитофон, и радовался, что надел свой самый лучший серый костюм и новую полосатую рубашку.

Он думал повидать ее на другой день, но она уехала первой электричкой.

— Я на работе, мне прогуливать нельзя! — А какая работа, не сказала.

Николай Иванович провожал ее на станцию уже протрезвевший, но взволнованный этой встречей.

— На кой тебе сдался деревенский дом, участок? Жила бы в Москве и горя не видела.

— Я землю люблю, Коленька. Жить без земли не могу. Посажу яблоньку, а на другой год она выпустит листики изумрудные, цвет розовый — не налюбуеться...

— А зимой-то в город на работу ездить...

— Ну и что? Выйдешь морозным утром, елочки снегом одетые стоят. Как невесты. А чуть солнце покажется, бриллианты да алмазы вокруг засверкают... Красота неописанная!

Прощаясь, Фаля дала ему свой адрес:

— Может, еще в жизни свидимся. Напиши мне, если вздумаешь.

А дома сестра подбавила:

— А сошелся бы ты, Николай, с Фалечкой. Она женщина самостоятельная. С кем-то жизнь доживать надо. Чего тебе одинокому мыкаться? В молодости всякое бывает, чего уж вспоминать... А я с ней еще с тех пор знаюсь...

Так и вышло, что задумал Николай Иванович начинать новую жизнь.

Он написал Фаине письмо. Обычными простыми словами ему было трудно высказать свои намерения. Поэтому он кончил письмо стихами, наполовину где-то слышанными, наполовину придуманными:

Ты одна, и я один,  
Мы несчастны оба,  
Так давай же, поженившись,  
Будем жить до гроба.

Ответ от Фаины пришел быстро. Она звала его приехать на субботу и воскресенье для окончательного разговора. Закончила свое письмо, как женщина культурная, более красивыми, чем у Николая, стихами:

При встрече с вами все бывшее  
В моей душе проснулось вновь,  
И наше время молодое,  
И наша первая любовь...

В ближайшую пятницу Николай Иванович собрался ехать.

В эту пятницу Фаина встала очень рано, может быть часа в четыре. Но солнце уже всходило и радостно орали птицы. Как всегда, по утрам, она, стоя на крыльце и дыша свежим загородным воздухом, делала осмотр своему хозяйству — дому и участку. Работы предстояло еще много — обшить дом, подвести под фундамент терраску, подготовить почву под ягодники. Но

многое было и готово. Только что кончили складывать в доме две печи, возвели перегородки. Под видом горбыля удалось достать на лесопилке грузовик хороших досок, — правда, стоило это сверх всего две поллитровки, но уж тут жаться и считаться не приходится. Еще за литровку сверх положенной оплаты привезли ей со скотного двора две машины навоза, и теперь он горой высился в углу участка, согревая хозяйское сердце радостью. Молоденькие яблоньки дали первый цвет. Его предстояло безжалостно общипать, но Фаина решила сделать это завтра, при Николае Ивановиче, чтобы дать и ему полюбоваться бело-розовой красотой.

Если бы он мог взглянуть на это не доведенное еще до ума хозяйство ее глазами, он увидел бы рай на земле — чистоту и красоту в комнатах, могучий расцвет природы на земле, обеспеченной всем возможным уходом по правилам агротехники. А увидев — проникся бы желанием осуществить идеал, то есть приложить к этому делу свой труд. Все ж таки мужские силы с женскими не сравнить. Перед собой Фаина всегда была честна, а перед людьми не отчитывалась. Приезд Николая Ивановича был для нее одним из праздников, которые посещали ее в эти годы не часто. А кроме того, она связывала с его приездом надежды на изменение своей жизни.

В Москву она обычно ездила три раза в неделю поездом, который отходил с платформы в семь пятнадцать. Вообще-то ей хватило бы пенсии и того, что она получала за свою московскую однокомнатную. Были у нее и сбережения. Но с достройкой и оборудованием загородного дома расходам не было конца, и Фаина уже третий год ездила в небольшую профессорскую семью помогать по хозяйству. Об этой ее работе не знала и не должна была знать ни одна живая душа. Даже сестре своей, жившей в соседнем поселке, она не открывалась. Работа, и все тут. А где да что — никого не касается.

Конечно, мало приятного возиться с пылесосом, полотером и тряпками. Зато она получала моральное удовлетворение, когда под ее руками начинал блестеть паркет и прибавлялась в сумочке пятерка, которую не надо было тратить на еду, потому что в день работы она ехала домой, уже пообедав. А

кроме того, общение с Петром Григорьевичем и Ниной Яковлевной очень обогащало Фаину в культурном отношении. В личной библиотеке у Фаины рядом со сборником русских песен и объемистым томом «Американская новелла» стояла тоненькая книжка Петра Григорьевича «Применение интерполяционных сплайнов в обработке треков на фильмах пузырьковых камер».

Эту книжку написал сам Петр Григорьевич, ему привезли, наверное, штук сто, и они с Ниной Яковлевной готовили список — кому ее надо подарить. Фаина, конечно, потребовала свою долю. Петр Григорьевич посмотрел очень удивленно и спросил:

— А на что она вам?

Фаина даже обиделась:

— Как это на что? Вы уж меня совсем за темную принимаете... На досуге как-нибудь почитаю...

И он ей написал: «Фаине Васильевне с наилучшими пожеланиями от автора». Читать, конечно, у Фаины времени нет, но от жизни она не отстает, потому что у нее «спидола» — замечательная вещь. Стираешь и слушаешь лекцию, сводку погоды, пьесу, критику. А уж если ты в курсе дела, то, допустим, что и недопоймешь, так можно у Петра Григорьевича или у Нины спросить:

— Вот как вы думаете, это правда, что Лев Толстой непревзойденный в мире писатель?

Петр Григорьевич в технике разбирается лучше, чем в литературе. Насчет Толстого он как-то растерялся и со всей определенностью не смог ответить. «Таких, говорит, критериев точных не существует, в каждом времени, говорит, свои гении, но в каком-то смысле, пожалуй, это так...» Скорее всего, сам не знал. А Нина Яковлевна подтвердила вполне определенно: да, великий, непревзойденный.

Иногда у Фаины нет времени дослушать интересную передачу, и она при случае спрашивает:

— Расскажите своими словами, чем произведение «Фауст» заканчивается?

Неужели он снова старым становится? А она куда девается?

Нина Яковлевна все это рассказывает. Иногда упрекает Фаину:

— Такие вещи надо знать.

Фаина в долгу не остается:

— А вы знаете, какое расстояние от Земли до Луны? Нет? А это тоже культурному человеку знать надо!

Но в общем они люди неплохие. Фаина к ним привыкла. Приходит и начинает в доме хозяйничать как хочет. Нине Яковлевне только нужно, чтобы полы блестели и окна были чистые. В мелочи она не вникает.

Как женщина она очень отзывчивая, и Фаина с ней кое-чем делится. В эту пятницу рассказала, что приедет первый муж, просто повидаться и поговорить. Нина Яковлевна очень заинтересовалась, дала Фаине свежий огурец для салата, баночку шпрот из своих запасов и раньше времени отправила домой.

— Очень важно, чтобы рядом с женщиной был друг, опора. Ради этого многим можно пожертвовать.

У Нины Яковлевны понятия высокие, но не жизненные. В наше время не так оно все просто.

По расчетам Фаины, Николай Иванович должен был приехать только к вечеру, и она еще успела заскочить в парикмахерскую и сделать укладку, а по дороге домой, глядя в окно электрички, все любовалась прекрасной подмосковной природой, исполненной в этот день особого смысла.

Дома она как заводная, едва ступила на порог, принялась за работу. Оттирала полы после печников, варила картошку на салат, надевала чистые наволочки на подушки. Только успела надеть голубую вязаную кофточку, как вот он, Николай Иванович, идет от калитки к дому мимо цветущих яблонь — представительный, высокий, в хорошем костюме, в руках чемоданчик.

Они встретились по-культурному, без поцелуев, без лишних слов. И хозяйство свое на ночь глядя Фаина гостю не стала показывать. Когда сели за стол да чокнулись рюмочками, всколыхнулось все старое, забытое. И только

«спидола» подвела — нет бы какой-нибудь романс или подходящую песню, а передавали какую-то длинную симфонию, а потом детскую запевку: «Это мы не проходили, это нам не задавали».

Николай больше двух рюмок не выпил. Не переменялся с молодости. А ел хорошо, с аппетитом, видно наголодался по столовкам.

Им обоим не легко достался этот день. Оба устали. Фаина стала взбивать подушки, спросила с усмешкой:

— Ну, как стелить будем? Вместе или как?

— Это тебе решать, — ответил Николай Иванович.

— А мы ведь с тобой женаты были, — сказала Фаина, — мы и юбилей справить можем.

— Ну тем и лучше...

Он себя во всем правильно повел. Главное — ни о чем не спрашивал. Целая жизнь между ними пролегла — разве расскажешь? Совсем ни к чему. Тем более что врать Фаина не любила, а правда была не очень-то прекрасная.

А так — получилось, будто и не расставались.

Когда она проснулась, Николай Иванович уже тюкал во дворе топориком — подправлял забор, поваленный бульдозером. Но Фаине надо было воспользоваться случаем и перенести этот забор метра на два, чтобы выгадать грядки под огурцы. Потому она подхватила и выскочила на участок в одной сорочке.

Николай Иванович послушно перебил колышки и отнес забор подальше. Только за завтраком он спросил:

— А на кой тебе, Фалечка, вся эта хреновина? Может, ты выдумала, что у тебя квартира в Москве?

— Не веришь? — засмеялась Фаина. — Есть квартирka со всеми удобствами на Ташкентской улице. Метро «Ждановская», две остановки троллейбусом. И жировку показать могу.

— Ну и жила бы. Люди в Москву стремятся, а ты из Москвы.

— А я природу, Коленька, обожаю. Я без земли жить не могу. Знаешь, с каким

трудом я этот домик приобрела? На Васютку, племянника, оформила. А то бы никак.

— Видишь, и дело получается незаконное. Да в Москве людям государственную площадь сдаешь и с них деньги берешь. Нехорошо.

— А что плохо? Я и людям добро сделала, и государству помогла. Молодые специалисты, жить негде — я их в свою квартиру пустила. Опять же дом строю, он, может, двести лет простоит. Государству от этого вред? Польза! Землю бросовую в порядок привела. И торфом, и навозом, и хлопковым орешком. Она у меня как пух стала. Мне, что ли, одной от этого прибыль? Например, я в прошлом году и огурцов, и помидоров собрала, не знала, куда девать.

— Продавала небось?

— Продавать я небольшая охотница, но кое-что и продавала. А ведь приятно как красоту выращивать! У меня прошлый год гладиолусы по два метра вымахали. Я в метро еду, букет везу — все внимание обращают.

— На базар возила?

— Нет, ошибаешься. Гладиолусы я знакомым профессорам возила. Они очень цветы обожают. И то — посмотришь на цветок «оскар», он темно-рубиновый, лепесточки алые, бархатные. Красота! Тут у хороших хозяев парники есть, так в апреле можно огурцы собирать... Пойдем, я тебе покажу, где думаю парники приладить...

За два дня он ей устроил большой навес для хранения всякого строительного материала, что лежал на открытом воздухе. Работали весело, радостно. Николай не дал ей ни одного тяжелого бруска поднять. Это было так непривычно для Фаины, что слезы навертывались. Ведь привыкла она к чужим нанятым людям, которые непрерывно кричат: «Пошевеливайся, хозяйка! Поднеси досок! Подбрось кирпича! Подбавь раствору!» А Коля все отстраняет ее: «Отдохни, это не женское дело».

В воскресенье к вечеру оборвали розовый цвет на молодых яблоньках. Только один крупный цветущий букетик не велел трогать Николай.

— Пусть хоть два яблочка вырастут.

Работал он исправно, но уж и ел как настоящий мужчина. В воскресенье на ужин только и оставалась у Фаины картошка да баночка рыбных консервов. Соленые огурцы в подполе лежали еще с прошлого года, они все сделались мягкие. Но Николай ел не разбирая. «Это хорошо, что он непривередливый», — думала Фаина, потому что стряпать она не любила и не очень-то умела.

За чаем Николай Иванович посерьезнел и сказал:

— Ну, вот такие дела, Фаля. Что было, то было. Про это вспоминать не будем. Теперь нам надо думать, как жизнь доживать.

— Ой, как ты рассуждаешь! — игриво засмеялась Фаина. — Я думаю, нам еще и пожить не грех.

— Умирать никто не собирается, но ведь нам не по двадцать лет и не по тридцать. Такие года, что все приходится делать с умом. Я так рассудил, что мы с тобой сладимся. Вот прямо хочу тебе сказать — у меня на книжке трудовых сбережений три тысячи рублей.

Николай Иванович вынул из кармана пиджака затрепанную сберегательную книжку.

— В твои руки отдаю. Пусть она у тебя хранится. А поживем, может, еще доберем и машину купим, хотя бы не новую... И давай все по закону — в загс сходим, без лишнего шума, конечно...

Он ожидал, что она обрадуется, удивится. Но Фаина задумчиво размазывала варенье по блюдцу.

— Чего ж ты замолчала?

— Книжку ты свою возьми, Коля. Пусть она у тебя и будет. А в остальном я тебе так скажу — человек ты для меня подходящий, но сам сказал, что в эти годы жить надо с умом. Завтра мне на работу, а приеду — тогда у нас и будет с тобой окончательный разговор...

В этот вечер «спидола» не подвела. Передавались все любимые песни Фаины: «Гори, гори, моя звезда», «Течет Волга»...

Как молодые, Фаина и Николай посидели на скамеечке перед домом, а

июньское небо все не темнело — сияло над ними, будто освещенное прожектором. По времени года в ближнем лесу должен бы щелкать соловей, но Фаине не хотелось выключать «спидолу», она с удовольствием пела вместе с артистами знакомые песни. Николай Иванович подтягивал.

В понедельник Фаина наскоро сварила геркулесовую кашу, вскипятила чайник.

— Я к обеду продуктов привезу, — пообещала она. — А если ты надумаешь чего-нибудь поделать, так под терраску фундамент подвести надо. Да газ зря не жги, его в баллоне мало осталось, когда теперь привезут...

Она совсем уже собралась — в сереньком костюме, загорелая, на коротких ножках. Как белый грибок. На нее приятно было смотреть, и Николай Иванович бессознательно улыбался.

У калитки Фаина обернулась к нему:

— В холодной комнате на столе я тебе бумагу оставила. Ты почитай, Коля, что там написано.

— Ладно, — сказал он благодушно, — стишки небось накорябала...

Он проводил ее и за калитку, остановился и смотрел, как она идет по нежно-зеленому полю к темному сосновому бору, за которым была станция. Глядя на ее удаляющуюся фигурку, он представил себе эту же дорожку, занесенную снегом, мрак и холод зимнего предутреннего часа... «Нет, — подумал он, — этого я не допущу! Тут уж надо либо работу бросать, либо в город насовсем подаваться. Для какого случая так себя изматывать?»

Он потянулся, сладко разминая суставы и чувствуя, как свежий душистый воздух наполняет легкие. Потом обошел участок, прикинул возможности сегодняшней работы. Перед началом трудового дня надо было позавтракать. Поел уже заклекшую овсянку. Чайник остыл, но Николай Иванович, помня наказ Фаины, газовой плитой воспользоваться остерегся.

Оставалось начать приятную зовущую работу, все оборудовать и приладить, чтобы удивить Фаинку быстротой и добротностью сделанного. У Николая Ивановича был свой метод. Для предстоящего дела он сперва подготавливал

все до мелочи, сосредоточивал весь материал и располагал вокруг в той последовательности, в какой он мог понадобится. Иногда эта тщательная подготовка занимала множество времени, но была всегда оправданна. И сейчас, подтащив к терраске все материалы — тесину, кирпич, цемент, — он прошел в холодную половину дома, где Фаина хранила кое-какой инструмент. Только тут, увидев на чисто выскобленной столешнице раскрытую школьную тетрадь, он вспомнил слова Фаины и, не касаясь листков грязными руками, чуть отстраняясь от бумаги, потому что был без очков, прочитал первую строчку, выведенную крупными буквами: «Договор о совместной жизни между Фаиной Петровной Матвеевой и Николаем Ивановичем Самосадовым». Дальше буквы были помельче, и тогда он вымыл руки, достал из футляра очки и присел к столу.

«Пункт первый. Деньги держать отдельно и не интересоваться, у кого сколько.

Пункт второй. На питание складываться поровну. Продукты покупать Николаю Ивановичу Самосадову, готовить еду Фаине Петровне Матвеевой.

Пункт третий. Стирку белья и постельного, и нательного производить Фаине Петровне Матвеевой, кроме мужских верхних сорочек и брюк, которые стирать и гладить самому Николаю Ивановичу Самосадову.

Пункт четвертый. Деньги, добытые продажей продуктов, выращенных совместным трудом с будущих парников или полученные от сдачи внаем вновь достроенных комнат, делить поровну.

Пункт пятый. Совместную жизнь в загсе не оформлять.

Пункт шестой. Быть друг с другом взаимно вежливыми.

В чем и подписываемся».

Подпись Фаины уже стояла на тетрадном листочке — крупная, четкая, разборчивая.

Когда Николай Иванович кончил читать этот документ, вокруг стояла мирная деревенская тишина и только далеко-далеко стучал трактор и в лесу куковала кукушка.

Хоть ученая, хоть неученая, а женщина всегда остается женщиной! Нина Яковлевна и переодеться не дала Фаине — принялась расспрашивать, как прошла встреча с бывшим мужем, о чем разговаривали, до чего договорились? Фаина сказала, что все прошло по-хорошему, осталось утрясти кое-какие мелочи. Может быть, Николаю Ивановичу стоит пожить еще немного у себя в Александровске, задержаться какое-то время на старой работе, поскольку ему там квартиру обещают.

— Господи, да на что вам эта его квартира, — вскинулась Нина Яковлевна. — У вас и в деревне дом и в Москве комната. Скорее надо все оформлять. Хорошее дело — оформлять! Вот одна знакомая сошлась с человеком, он ее в загс потащил, а через год себе молоденькую нашел. И пожалуйста — все имущество пополам. И дом, и участок, и все нажитое. Нет уж, Фаина так глупо не поступит.

А Нина Яковлевна все сокрушается:

— Неужели он не хочет жениться?

Фаина ничего ей объяснять не стала. Свои мысли и соображения лучше держать при себе.

После работы она купила мясо и рыбу окунь, выстояла в очереди за творогом и сметаной, хлеба московского набрала. Подумала поллитровку взять, но отказалась от этой мысли. Ни к чему среди недели.

По существу, настоящий жизненный разговор у них должен был состояться сегодня. Условия она ему предложила богатые. Все доходы пополам, ни с того ни с сего гребни денежку. А труд в семье должен быть разделен поровну, об этом и в газетах пишут. Может, редко у нас семейные отношения оформляют договорами — так это отсталость наша, которая в дальнейшем будет ликвидирована, потому что во всех культурных странах брачные договора существуют. И ничего тут обидного нет. Его денег Фаине не надо, у нее свои есть. Жизнь у них может получиться очень хорошая, потому что мужчина в доме нужен.

На этот раз Фаина даже не полюбовалась зеленым шелковым ковром полей и бархатными лесами, мимо которых мчалась электричка.

Ей хотелось, чтобы Николай Иванович догадался встретить ее на станции. Но его не было. И навстречу он ей не вышел. И у калитки не ждал.

Она решила, что он заработался, пошла по дорожке тихо, чтобы удивить и обрадовать его. У терраски были набросаны бревна, кирпичи, стояли ведра с сухой известкой. Дверь была заперта, а ключи спрятаны не тайно, не по-хозяйски — наполовину торчали из-под половика.

Фаина положила кошелки возле крыльца и пошла по комнатам. Дух недостроенного дома стоял под ее крышей. Тетрадка, где были записаны условия договора, лежала на столе.

Вещей Николая Ивановича не было — ни чемодана, ни зубной щетки.

Фаина вышла на свой участок — еще пустой и голый. По краю дорожки зеленели молодые яблоньки, и только на одной из них белел один пышный букетик, заключающий в себе будущие плоды...

## **Вина непрощенная**

Иван Ногайцев умирал. Его жена Ольга говорила в клубе:

— Ой, надо нам, девчата, торопиться. Доктор Ване не дает больше десяти дней. Значит, если пятнадцатого спектакль сыграем, восемнадцатого Ваня умрет, а уж двадцатого я уеду.

Никого это не удивляло, потому что все привыкли и к Ольгиным разговорам и к болезни бывшего директора леспромхоза Ногайцева. Еще полгода назад врачи сказали, что жить ему осталось не больше недели.

Ольга тогда уже распродала всю хозяйственную утварь.

— На что мне все это? Уеду в родной Ростов.

Женщины осуждали Ольгу, но украдкой бегали к ней покупать посуду и барахло.

Доторговалась Ольга до того, что не в чем было вскипятить Ивану Семеновичу

молоко.

Соседка Ногайцевых Варвара Федотовна укоряла мужа:

— Друзья, товарищи, а как дело дошло — и нет вас. Собрались бы проведать Ивана Семеновича. Уморит ведь его Ольга.

— А я что сделаю? — хмуро отвечал Федотов. — Там не очень сунешься помогать.

Но он сговорил Рябова, Свободина, Первова. Это все были старые работники леспромхоза. Они давно знали Ногайцева, работали и с ним рядом и под его началом. Для них он был и Иваном Семеновичем, и Ванькой, смотря по обстоятельствам.

Все они побрились, надели новые костюмы и долго топтались, вытирая ноги перед крыльцом маленького домика Ногайцева. Такие особнячки строили для рабочих в годы первых пятилеток. В поселке вытянулась длинная улица этих домиков с палисадниками, в которых росли высокие, ядовито-розовые мальвы и лиловые граммофончики. Зеленели грядки с укропом и редиской. В редком дворе не было пристройки для поросенка или отгороженного закутка, где бродили куры с цыплятами.

В палисаднике у Ногайцева не росло ни травинки. Серая земля была крепко прибита. «И при Анне Захаровне так было, — подумал Федотов, — нехозяйственные все бабы ему попадались».

В передней их встретила Ольга. Видно, собралась уходить из дому. Губы крашенные, на волосах капроновый шарфик.

— Ой, Ваня! — крикнула она в комнату. — Смотри-ка, гости к тебе!

Федотов вошел первый. Он увидел, как метнулся на кровати Иван Ногайцев, резко поднялся, сел, опираясь руками на матрац. Глаза его, прежние, острые глаза, вскинулись навстречу Федотову, устремились поочередно к Рябову, к Свободину, к Первову. И когда все они уже вошли, неловко толпясь у порога, Иван Семенович еще смотрел на дверь, а потом, поняв, что ждать больше некого, подломился в руках и сполз на подушки.

— Вань, Вань, тебе доктор не велел подниматься, — заверещала Ольга,

втаскивая новые, свежеструганные табуретки — черт знает, где она их взяла, комната была совершенно пустая, только кровать да тумбочка у изголовья.

Иван Семенович обессилел от своего минутного порыва. Он лежал с черными провалами у глаз и у носа, плоский под зеленым плюшевым одеялом.

— Вы садитесь, садитесь, — суежилась Ольга, подтягивая табуретки к кровати. Гости по очереди подошли, осторожно подержали большую, вялую руку больного.

— Птица, ты нам сообрази, — хрипло распорядился хозяин, но Федотов предостерегающе поднял руку и отрицательно мотнул Ольге головой.

— Они не хотят, — сказала Ольга, — они с тобой так посидят, а я в клуб сбегаяю.

— Иди уж, иди...

Мужчины проводили ее глазами и молчали, пока не хлопнула входная дверь.

Федотов сказал:

— А не лучше тебе обратно в больницу, Иван Семенович? Там все-таки медицина.

— Налезался я в больнице, — медленно, с расстановками ответил Ногайцев, — от одного запаха помрешь. Мне только уколы помогают, а уколы Ольга умеет.

Гости молчали. Иван Семенович уловил в этом молчании неодобрение.

— А на кой мне надо, чтоб надо мной раньше времени слезы лили? Она молодая, пусть живет как хочет. Наплачется еще.

«Как же, заплачет она по тебе, жди», — подумал Федотов, но согласно закивал головой.

Дальше повелся обычный разговор. Поругали нового директора леспромхоза, человека чужого, присланного. Ругать его было не за что, но и хвалить при Иване Семеновиче казалось неудобным. Один простодушный Рябов высказался, что в отношении лесопосадок Мокеев вроде подвинул дело, но на него дружно накинулись:

— А работа? Так ли работали в прошлые годы...

Говорили напряженно, неискренне. Каждый боялся сказать лишнее слово.

Свободин начал было:

— А вот в будущем году... — и замолчал. Мог ли Ивана Семеновича интересовать будущий год?

Но он сам сказал:

— Эх, лет через пяток да при мне бы... Большие я дела замысливал.

Пугаясь своих слов, Федотов утешил его:

— Встанешь еще.

— Хорошо бы. Я в двадцатом году так же в тифу лежал. Думал — ну, все. А там день за днем — и пошел. Сегодня вроде полегче, завтра, глядишь, еще полегчало...

— Это бывает, — сказал Свободин.

Рябов убежденно доказывал:

— Сюда бы мою бабу, покойницу, она бы тебя враз на ноги подняла. Такая бабка была, всякую болезнь рукой снимала.

Помолчали. Все знали, что Ногайцев по целым дням лежит один, но уйти, не дождавись Ольги, было невозможно. Она пришла, когда уже совсем стемнело, притащила конфет, печенья, зашумела, завертелась, заставила гостей выпить по стакану чая.

Потом, переминаясь с ноги на ногу, каждый на прощанье говорил:

— Ну, поправляйся.

— Будет тебе лежать.

— Подымайся.

Иван Семенович устало закрывал глаза в ответ и едва улыбался темными губами. Но когда посетители, осторожно ставя ноги, выходили из комнаты, он забеспокоился, заметался, сбивая подушки, и прохрипел:

— Федотов, Гриш...

Федотов вернулся.

Комкая руками одеяло, обдавая наклонившегося к нему Федотова тяжелым

дыханием, Иван Семенович с трудом говорил:

— Друг, прошу, Уварову Николаю Павловичу скажи — пусть придет на час. Я прошу. Мол, дело есть. Непременно. Сходи. А?

Федотов попробовал успокоить его:

— Ну что ты, Иван Семенович, какой труд! Конечно, схожу, не сомневайся. Но больной все метался и, уже не глядя на Федотова, повторял:

— Главное, скажи, что дело есть. Ждать буду. Непременно...

Ольга набирала в шприц лекарство, ласково приговаривая:

— Ванечка, ты только не волнуйся, тебе доктор не велел волноваться...

Дома Федотова допрашивала жена:

— Ну как там у него? Подушки-то хоть есть? Белье на нем чистое?

Федотов отвечал угрюмо:

— Есть подушки.

Варвара сердилась:

— Слова от тебя не добьешься. Расскажи толком — что вы там делали?

— Что, что... Ну, говорили, чай пили.

— Эх, у тебя спрашивать! Ты даже того не увидел, что из своего стакана чай этот пил. Ольга-то сюда прибежала. И стаканы ей дай, и заварку займи. Как хочешь, а я Аннушке писать буду.

— Пиши, пиши. Он тебе спасибо скажет.

— Может, и скажет. Не чужая она ему. Двадцать лет жили. А делить ей с Ольгой нечего. Теперь ему жена — земля.

Федотов отмахнулся.

На другой день он пошел в механическо-ремонтные мастерские. Ему повезло. Уваров сидел в своем закутке. Вокруг было полно людей, но легче переждать, чем бегать за главным механиком по всей территории.

Николай Павлович приветственно приложил руку к сидящей голове и спросил:

— Ко мне?

— Ты кончай, кончай.

Федотову неловко было передать просьбу Ногайцева на людях. И когда механик всех отпустил, он тоже не сразу изложил все дело.

— Вот, понимаешь, пошли мы проведать Иван Семеныча...

Уваров слушал, положив кулаки на стол. Григорий не мог передать тоскливое волнение Ногайцева. У него не было в запасе таких слов. Он только повторял:

— Непременно велел прийти. Наказывал не медлить. Совсем плох.

Уваров сдвинул брови, стал искать что-то на столе, посмотрел на часы.

— Значит, передам, что зайдешь, так?

Николай Павлович встал.

— Зря не обещаешь.

Федотов изумился:

— Ты что?

— Я к Ногайцеву не пойду.

— Это как же не пойдешь? Помирает он, Николай Павлович. Перед кончиной тебя желает видеть.

— А я не желаю. Все.

Уваров сосредоточенно и угрюмо смотрел в сторону.

— Николай Павлович, ты, может, не понял...

— Разговору об этом больше не будет, — сухо отрезал Уваров.

Анна Ногайцева никому не сообщила о своем приезде. С маленьким чемоданом в руках она шла по улице поселка к своему дому. Варвара как посмотрела в окно, так и ахнула. В чем была выскочила на улицу, обхватила Анну руками, заплакала. Так они стояли обе, покачиваясь, преодолевая волнение. Анна Захаровна первая отстранилась и спросила, глядя в сторону:

— Живой?

— Живой еще. Не сегодня завтра. Врачи надежды не дают. Ты-то как, Аннушка? И не изменилась совсем.

— Она там?

Варвара вытерла слезы.

— Не больно она там сидит. Бегает, поди, где-нибудь. То в клуб, то еще куда. С утра поставит ему стакан молока: «Я, Ванечка, в сберкассу пойду, ты уж без меня не помри». И закрутила хвост. Все подчистую продала, размотала.

— Ладно, — оборвала Анна, — пойду я.

Она подошла к крыльцу, открыла калитку. Все было как восемь лет назад. Разболтанная щеколда, сучок в деревянной перекладине. Отсюда вынесли гробик с ее покойным сыном. Здесь она прощалась с мужем, уходившим на войну, здесь встретила его после победы. А в последний раз, уезжая в гости к сестре, у этой калитки давала Ивану наставления, как жить месяц без нее. И не знала, что вдогонку ей полетит письмо:

«Сознаю, что я перед тобой подлец. Прости, не вини, если можешь... Я тебя глубоко уважаю и ценю как человека и товарища, но любовь между нами кончилась и никогда не вернется».

Она думала доживать с ним жизнь тихо, строго, по-стариковски. А ему в сорок пять лет еще нужна была любовь.

У двери Анна помедлила. Вдруг ослабели ноги. Она постучала, никто не отозвался. Тогда ей показалось обидным стоять у порога и стучать в двери своего дома. Она рванула створку.

Громко и гулко отозвались ее шаги в пустой кухне. Анна поставила чемодан на холодную печку, сняла пальто, размотала платок с головы, провела ладонями по седоватым, затянутым в тугий пучок волосам.

До сих пор, в поезде, в машине, Анна крепилась и старалась не думать о том, как она встретится с Иваном. Долгие годы она не позволяла себе думать о муже. Только иногда, в бессонные ночи, на ум приходили горькие и тяжелые слова, которые ей хотелось бы сказать ему. Но никогда ничего не писала она Ивану. Первое время он посылал деньги. Анна брала. Ей надо было освоиться в новой жизни. Потом устроилась на работу, отослала очередной перевод обратно. Она и думала о нем как о двух людях. Первый — Ванюша, верный друг ее молодости. Он всегда был немного у нее в подчинении, всегда тянулся за ней, всегда она была у него на первом месте.

А потом незаметно, понемногу он переменялся. Похоронили мальчика. Появились у обоих седые волосы. Анна горевала тяжело и долго. А ему все некогда. У него лесхоз на руках. Он в командировку в краевой центр, он в Москву на совещание. У него жизнь заново открылась...

Анна постояла, решительно вышла в коридор и отворила дверь в комнату. Ногайцев лежал на спине, согнув ноги. Из-за поднятых колен не было видно его лица.

— Птица, ты что, вернулась? — спросил он, и Анна испугалась его натужно-хриплого голоса.

Неслышно ступая, она быстро подошла к кровати, жадно глядя на мужа. От его измученного лица, от глаз, видящих и невидящих, все перевернулось в ее сердце. Ушли и обида и гнев. Единственный родной, дорогой человек лежал перед ней. Анна опустилась на край кровати.

Иван Семенович уже плохо видел. Его глаза точно возвращались издалека. Он пристально рассматривал жену.

— Смотри-ка, Анюта, — тихо сказал он.

Не отвечая, она кивнула головой.

— Анюта, — еще раз назвал он ее именем далеких молодых лет. Потом спросил: — Прощаться приехала? Хоронить меня?

— Будет тебе, по делам приехала. За справками. Пенсию хлопочу.

— Похоже и на правду, — Иван закрыл глаза, — только врать ты и тогда не умела.

Она отпустила его руку. Иван Семенович точно проснулся.

— Ты не уходи. Скоро Ольга придет. Это ничего. От нее вреда нет. Люди плетут, будто она за мной не смотрит. Брехня это. Она уколы умеет делать.

На крыльце застучало, затарахтело. Вбежала Ольга.

— Ой, вы уже здесь! А мне сказали, что вы приехали, я на автостанцию кинулась — да оттуда бегом, бегом.

Анна привстала. Она не смотрела на Ольгу. Отчужденно сказала:

— Я еще дорогу домой не забыла.

Ольга ответила с обезоруживающей простотой:

— Я боялась, что вы у кого другого остановитесь. А зачем же? Места много.

— Птица, — позвал Иван Семенович, — человек с дороги.

— А ты молчи, молчи, Ванечка. Лежи себе. Мы сейчас все сами.

Только когда они сидели в кухне за чаем, Анна Захаровна разглядела Ольгу. Совсем еще молодая. Легкие, светлые кудерьки, глаза голубые, навывкате, нос круглый, стан прямой, точно сбитый.

Вот она, Ванина любовь.

Женщины в поселке лесхоза судачили о том, что живут у Ногайцева две жены, спят на одной кровати, одним одеялом укрываются. Где это видано?

Допытывались у Ольги:

— Ну, как вы там ладите?

Ольга охотно отвечала:

— Ой, Анна Захаровна такая культурная женщина! Ванечка очень доволен, что она приехала. Ему даже легче стало.

Бабы посмеивались:

— Тебе тоже, поди, полегче?

— Конечно! — соглашалась Ольга.

А по существу для нее ничего не изменилось. На другое утро после приезда Анны Захаровны Ольга предложила:

— Я сбегая в магазин, возьму мяса, а вы сготовьте.

Анна спросила:

— Иван что ест?

— Ванечке ничего, кроме молока, нельзя. Кашку жидкую и то не принимает.

— Ну и мне ничего не надо. Я смолоду от кастрюль бегала, а сейчас и вовсе разучилась. Чаю попью — и ладно.

Она подолгу сидела у кровати мужа и, надев очки, ровным голосом читала ему газеты. Больной никогда не прерывал чтения, лежал с полузакрытыми глазами, и было непонятно — слушает или нет.

Когда, тяжело всхрапывая, Иван забывался, Анна вставала и бродила по пустому дому. Из окон была видна улица и горные склоны, покрытые лесом. В поселке многое изменилось. Виднелись многоэтажные белые корпуса. Маленький домик отделения связи, где Анна проработала почти двадцать лет, исчез с лица земли... Над одним из высоких домов блестели золоченые буквы «Почта, телеграф».

Это был новый поселок, которого Анна не знала. Но ей и не хотелось посмотреть, каким он стал. Пройдешь по улице, встретишь знакомого, начнутся расспросы. А что отвечать? Здешние люди связаны с ее отошедшей жизнью, а она хоронила эту жизнь восемь лет.

Был здесь один человек, который сам должен был прийти.

Больше чем дружба, больше чем родство связывало их троих — Анну, Ивана, Николая. Они были первыми комсомольцами поселка, первыми работниками лесхоза. Вся молодость прошла рядом, одни мысли, одни желания.

— А Уваров не проведывает Ивана?

— Это какой, механик? — переспросила Ольга. — Грубый он человек.

И, по ее словам, Анна поняла, что эта старая дружба разорвалась.

Каждое утро Ольга меняла Ивану белье, обтирала его высохшее тело. Делала она все быстро, ловко и при этом всегда весело болтала.

— Некоторые такую глупость выдумали — жалеют меня, что я свою молодость гублю. А я за Ваней всегда должна ухаживать, потому что он мне много хорошего сделал. Мы дома совсем бедно жили, поверите, у меня платьишка сменить не было. Иван Семенович меня в одну минуту по своему вкусу как картинку одел. И куда мы с ним только не ездили! И в Москву, и в Сочи. Ведет он меня, бывало, в ресторан, я только глазами хлопаю, а он меня все учит, как ступить, как сказать. Сам такой представительный, жена молоденькая, все на нас внимание обращали. Как же мне теперь его бросить? Это совсем неблагодарной надо быть!

Она трещала, расчесывая серые волосы больного, вкатывая под него чистую простыню, обмывая лицо.

По временам спрашивала:

— Ведь правда, Ванечка? Верно я говорю?

Анна никогда не была ни в Москве, ни в Сочи. Никогда ни одной нитки не купил ей Иван по своему вкусу. Это он, бывало, заглядывал ей в глаза, спрашивая: «Так ли я сказал? Так ли сделал?»

Когда за Ольгой захлопнулась дверь, Анна подошла к кровати. Она уже привыкла к переменам в муже. Темные тени и худоба не мешали ей снова видеть знакомое широкоскулое, губастое лицо. Ей захотелось сказать что-нибудь обидное, но она сдержалась и только спросила:

— С Колей-то чего не поделили? Или при новой жене и друзья не нужны стали?

Иван повернул к ней серые с желтизной глаза.

— Анна, — голос его прозвучал громко, совсем по-прежнему, — сходи за ним, он тебе не откажет.

— Это зачем? Захочет, так и сам придет.

— Не придет. Приведи Николая, прошу. Одно мне осталось — повидать его. Анна, недостойн я тебя просить, пойдя. Тебя он послушает...

Иван Семенович затосковал. Он отбрасывал одеяло, перекатывал по подушке большую голову. Анна взяла его руку с бледными ногтями.

— В чем не поладили? Да пойду я, ладно, пойду.

Поселок и вправду сильно вырос. Раньше все здесь знали Анну и она всех знала. Новый человек был приметен. А теперь она шла мимо больших белых домов, вокруг сновал народ, и Анна никого не узнавала. Появилось много молодых парней, девчат. Воскресное утро — все на улице. Изредка кто-нибудь останавливался: «Анна Захаровна...» Она кивала головой и проходила мимо.

Уваров жил в собственном доме у самого леса. Анна не любила его жену. В девках та была слишком бойкой, а потом быстро обабилась, раскисла.

Анна сдвинула брови, готовясь встретиться с Таисией. Та уж обязательно слезу уронит. Но дверь раскрыла молодая женщина с удлинённым смуглым лицом и светлыми волосами.

— Верочка, что ли? — У Анны дрогнул голос. — Забыла меня? Не помнишь тетю Аню?

— Тетю Аню? — неуверенно повторила Верочка. — Ногайцева тетя Аня? — вдруг радостно вспомнила она и неловко ткнулась головой Анне в грудь. Вера была на год моложе умершего сына Анны. Раньше ее в шутку звали «Митина невеста».

— Как живешь-то? Замужем уже, поди?

Вера кивнула. Анна удержалась от слез.

— Мать дома?

— Ой, мама в город уехала!

Больше Анна ни о чем не спрашивала. В дверном проеме показался хозяин.

Гостья отстранила Верочку и пошла ему навстречу.

— Тебя и время не берет...

Голос ее прервался.

Николай Павлович неумело раскинул руки.

— Анна, Анна...

Он повел ее в свою комнату и усадил в жесткое креслице у стола.

— Приехала, значит? Мне говорили...

Крикнул дочери:

— Вера, чаю нам подай.

Анна воспротивилась:

— Не надо ничего. Я ведь за тобой, Коля.

Уваров точно не расслышал. Темными пальцами скрутил папиросу.

— Все у сестры живешь?

— Давно уже перебралась. Комнату мне дали. Одной лучше.

Он согласился:

— Свой угол всего дороже.

Анне надо было спросить про Таисию, про детей, про здоровье. Но она молчала. Вдруг почувствовала усталость от бессонных ночей, от напряжения духовных сил, в котором жила все эти дни.

Все здесь было ей знакомо, все напоминало прошлое. В комнате по-прежнему пахло табаком и металлической пылью. Так же, со строгой мужской аккуратностью, были сложены журналы на столике и инструменты на подоконнике. Даже голубоватое, истонченное временем пикейное одеяло на узкой кровати то же, что и много лет назад.

Сколько раз она бывала в этой комнате с Иваном!

Анна сказала:

— Что же ты о дружке своем не спросишь? Или не интересуешься?

Уваров скороговоркой ответил что-то нескладное, вроде «будет уж тебе, будет», и спросил с наигранным оживлением:

— Поселок наш видела? На город тянет!

— Не заговаривай меня, Николай, — жалобно попросила она, — устала я. Собирайся лучше, пойдем.

Уваров встал.

— Не зови. Разошлись наши дороги с Иваном и никогда не сойдутся.

— Кончилась его дорога. Забывать надо старые счета.

Она подождала, но Уваров ничего не ответил.

— Высоко себя ставишь, Николай. Ты оглянись на меня. Уж наши ли дороги не разошлись? А я вот здесь. Так неужто твоя обида больше моей?

— Не в обиде дело. Я хотел бы и вовсе забыть, что он есть на свете.

Тяжело падали его слова. Вконец измученная Анна крикнула:

— Да что он такое сделал? В чем его вина непрощенная?

Николай Павлович смотрел в окно. Он слишком все хорошо помнил. В глазах точно живой стоял Иван, как, бывало, взбегал он по крутой дорожке к этому дому.

Бежал, прятал глаза и все же не мог не идти.

Смолоду это было у Ивана. Натворит что-нибудь — и нет ему покоя, пока не вырвет у друга признания или, на худой конец, прощения своему поступку. Убедит, улестит, уговорит.

И когда приехал он из отпуска с новой женой, в тот же вечер явился.

Таисия увидела его в окно.

— Идет... Хорошо, один догадался. А с ней не пустила бы, ни за что не пустила бы. Прямо от двери поворот бы дала. Аннушке-то, Аннушке каково...

— Хватит! — прикрикнул Николай Павлович и ушел в свою комнату.

Минут через пять дверь без стука открыл Иван Ногайцев.

— Судишь? — спросил он сдавленно-счастливым голосом.

Уварову показалось, что Иван выпил. Но он был трезвый. Сел на табурет, полы его шинели разошлись, брюки на нем были новые, серые в голубую полоску.

— Коля, друг, пойми, я Анне уже не нужен. Для нее это лишняя нагрузка — сготовить, постирать. Рассказываешь ей что-нибудь — никакого интереса.

Сейчас ее удовольствие — книжку почитать, радио послушать. А материально я ее всегда обеспечу.

Уваров рассердился.

— Тебя послушать — осчастливил ты Анну. А это надо у нее спросить. Ты лучше о себе скажи.

— А я себя виноватым не считаю. Что, мне доли на земле нет? Или про любовь только в книгах пишут?

Вот этим он и сшиб своего дружка. Николай Уваров и вправду думал, что о любви больше пишут в книгах. И этих книг он читать не любил.

— Не поздно о любви-то?

— Не поздно, — твердо ответил Ногайцев. — Ты точно с Анной спелся. Она тоже — чуть что: «Нам не по восемнадцать лет». А в восемнадцать лет люди как кутята глупые. Ничего понимать не могут.

И пошел, понес Иван про море, про пароходы, про чаек, про пальмы.

Таисия сперва стояла в дверях, потом очутилась в комнате.

— Шубу это ты ей купил? Хвалилась она в булочной. Дорого, поди, отдал?

— Не дороже денег.

— Панбархату на платье набрал, верно?

Любопытная Таисия все выпрашивала. Иван отвечал охотно, как всегда немного бахвалясь.

Уваров не мог поговорить с другом как должно. Ему мешало счастливое возбуждение в голосе Ивана, в блеске его глаз, в залихватом смехе.

— Бесноватый какой-то, — проворчал хозяин, когда Ногайцев вышел из дома и побежал, прыгая с камня на камень.

— Вот закрутила его баба, вот захороводила, — с завистливым восхищением причитала Таисия, — денег-то, денег сколько на нее извел!

И уже рассудительно оправдывала Ивана:

— И то — дома у него чисто могила была. Анна и патефон в клуб отдала. На что, мол, нам после Митеньки. А Иван все же не старик. Живое о живом думает.

Не с этого ли времени начался разлад между друзьями? Нет. Если уж все вспоминать, то надо начинать много раньше, еще с войны.

Темной ночью первого военного года часть, где служили старший политрук Уваров и лейтенант Ногайцев, отошла за реку Сомную и укрепилась в наскоро вырытых окопах. Пользуясь затишьем, усталые люди заснули.

Уваров сидел в пещерке, оборудованной под временное жилье. Настроение было тяжелое, и много душевных сил уходило на то, чтоб скрывать это от бойцов, от товарищей, от самого себя. Потом эти дни вспоминались как самые трудные за всю войну.

От непривычной тишины стали путаться мысли. Уваров еще не спал, но был на той грани бодрствования и сна, когда пробуждение особенно болезненно.

Ему показалось, что в пещеру вкатился огромный темный клубок. Уваров очнулся.

На полу лежал человек в серой шинели. Он обхватил голову обеими руками. Лица его не было видно. Над ним, большой и плечистый, стоял Ногайцев.

— Мразь, гадина...

Человек на полу еще больше наклонил, прятал голову.

— Выхожу, понимаешь, я на него с берега, из камышей, а он бросает оружие

— и от меня. Испугался, думал, что немцы реку перешли. А если бы и вправду немцы... Трус, паскуда...

Ругаться Иван умел.

Политрук сказал хриплым от дремоты голосом:

— А ну, встань.

Боец поднялся на ноги. Парень совсем молодой, курносый. Губы от страха белые.

— Фамилия как? Имя?

— Красков Алексей.

Уваров задал еще несколько вопросов и приказал:

— Ступай пока.

Парень скрылся в темноте. Ногайцев не мог успокоиться.

— Воюй с такими. Как шарахнется от меня! И винтовку бросил. Я, мол, думал

— немцы. Дезертир!

— Необстрелянный, молодой, — неохотно отозвался политрук, — однако трибунала не избежать.

— Сукин сын, — охотно подтвердил Ногайцев, — а насчет трибунала — ты это, Николай, брось.

Уваров молчал.

— Брось. Сам видишь — мальчишка. Целый день под огнем был. Легко это? Ну?

— Как сказал, так и будет. Не такое время, чтоб нянькаться.

— Колька, — угрожающе сказал Ногайцев, — кто тебе это рассказал — я? Ну так вот знай, что я отопрусь. Не было ничего. Слышишь? Не было...

— Ты дурака не валяй, — устало отмахнулся политрук, — ты лучше ляг отдохни, пока музыки нет.

— Коля, я тебя как друга прошу. Ну, поучили, пробрали. Ты думаешь, он забудет? Никогда! Я за него ручаюсь. Мое слово знаешь? Мне веришь?

И пошел, и пошел. Битых полчаса говорил. Слюна на толстых губах кипела.

Договорил до того времени, когда грохнула вражеская артиллерия.

Выбегая, Ногайцев споткнулся о мягкое. Алексей Красков лежал у самого входа в пещеру. Иван легко поднял его за ворот и крикнул прямо в ухо:

— За мной следуй. Чтоб на моих глазах был! Чтоб я тебя каждую секунду наблюдал!

С тех пор Лешка Красков всюду следовал за Ногайцевым. И войну прошли они вместе, и в леспромхоз Иван привез его за собой. У обоих грудь в орденах, оба целые, невредимые.

А Уварову не повезло. В том бою у реки Сомной его тяжело ранило в грудь. Простреленное легкое не дало дослужить до победы. Года за полтора демобилизовался.

При первой же встрече Иван похвастался Лешкой:

— Каков крестничек?

И еще добавил:

— А ведь это Красков тебя тогда в медпункт доставил. По моему приказу, конечно.

Лешка, раскормленный, чистый, затянутый в ремни, губ не мог свести от улыбки.

Встречу праздновали у Ногайцевых. Красков со стаканом вина подсел к Николаю Павловичу.

— Вы, так поглядеть, сухощавый, а на деле тяжелый. Я вас тащил, думал — не дотащу. И так прилажусь, и этак. Если бы вы еще в сознании, а то никакой помощи от вас. Все ж дотащил. Доктор сказал: чуть бы позже — и конец.

Немного пьяный, он значительно тарашил большие голубые глаза.

— Еще бы немного — и пиши похоронную.

Уваров сдержанно благодарил:

— Ну, спасибо.

Дочка Вера, ей тогда только семнадцать исполнилось, открыв рот глядела на парня. Еще бы — отцов спаситель!

Иван кричал с другого конца стола:

— Ты хвали, хвали его, Лешку, он это любит. Он за ласковое слово в огонь полезет.

И все же не лежала душа у Николая Павловича к Лешке.

Назначенный директором леспромхоза, Ногайцев сделал Алексея начальником Затонного участка, самого богатого строевым лесом. Работал парень весело, не придерешься, но при встречах с ним Уваров отводил глаза и в беседу не вступал. А встречаться приходилось частенько. То прохаживался Лешка возле их дома, то бежал по тропинке от крыльца, а раза два заметил его Николай Павлович со своей Верой.

Он сказал дочери:

— Рано начала с кавалерами ходить. Не об этом надо думать.

Впервые Вера посмела возразить отцу:

— Он не кавалер вовсе.

— Кто б ни был. Нечего ему у дома околачиваться.

На время Лешка исчез. Месяца через два Николай Павлович снова увидел его с дочерью. Не прячась, не таясь, оба стояли у дома. Уваров молча прошел мимо, но Вера побежала за ним.

— Пап, погляди-ка. Здесь про Алексея Васильевича пишут.

Она сунула отцу под нос газету.

Лешка стоял напыжившись от удовольствия. Пришлось позвать его в дом. Не читать же на холоде.

За столом Алексей старался держаться скромно.

— Я считаю — про меня преждевременно написали. Действительно, это было мое предложение, что на опушках и после порубок сразу корчевать и засаживать. Ну, меня здорово поддержали. Иван Семенович поддержал, ученые приезжали. Главное, я обращал внимание на посевной материал. Другим все равно, что в землю ткнуть. А я выбирал семена от лучших экземпляров. Это дело, конечно, совсем меня не касалось, но я его на себя взял. Тут это все описано.

Вера тут же хватала газету и торжественно читала строчки, подтверждавшие Лешкины заслуги.

И все равно, когда люди стали плохо говорить о Краснове, Николай Павлович слухам поверил.

Первую весть принесла Таисия:

— Лешка-то Красков затонного леса продал на большие тысячи. Иван в отпуску, вот у него руки и развязаны.

— Что же он, дурак, что ли? — усомнился кто-то из домашних.

— То-то, что и не дурак. Лес был какой-то незаприходованный. Объездчик Рябков сказывал: «Слышу, говорит, машины гудят, гляжу, говорит, волковцы лес возят. „Откуда?“ Молчат. А лес-то приметный. Затонный лес. И ехать машинам больше неоткуда». Теперь Ногайцева ждут.

Потом у себя в мастерских Уваров слышал, как люди говорили о Краскове:

— Тысяч пять в карман положил.

— Гляди, не десять ли...

А Лешка не таился. Ходил посмеивался. Вечерами провожал Веру из кино. Николай Павлович вышел ночью к калитке, подождал, пока они появились на дорожке. Веру шугнул домой, а у Лешки спросил:

— Что это про тебя люди болтают?

Ничуть Алексей не смутился.

— Не слушайте вы людей, Николай Павлович. Никто и ничего не знает. Кроме меня, конечно. И как это у людей получается: чуть что — деньги взял! Будто уж лучше денег нет ничего. Не понимают!

— Не доросли еще, ты всех умней, — сказал Уваров. — Лес отпустил? Не вилай только!

— Вот и вы тоже! Ничего сейчас сказать не могу. Время придет, все откроется. Ушел он, весело насвистывая. А Уваров впервые в жизни не знал, что ему думать о человеке.

Из отпуска Ногайцев приехал с молодой женой. О Краскове на время забыли. Не до того было.

Вера на зимние каникулы уехала с экскурсией в Москву. С тех пор Лешка не показывался. Увидев его у крыльца, Николай Павлович отмахнулся:

— Не приехала, не приехала еще.

— Мне с вами поговорить надо, — попросил Алексей.

Прежней веселости в голосе не было. Он похудел, осунулся и сразу стал похож на того парня, каким его увидел Николай Павлович первый раз в землянке.

В комнате Красков опустился на стул.

— Вы один можете, — сказал он, — внушите Ивану Семенычу — пусть он оформит лес, обелит меня.

Он замолчал, ждал вопросов. Но Уваров не стал ему помогать. Лешка глубоко вздохнул.

— Он мне по междугородному телефону позвонил, когда в отпуску был, чтобы я волковцам лес отпустил. Без документов. По одному слову. Я вам скажу: у нас еСТЬАКОЙ лес, заготовленный на случай, если план не выполним, чтобы пополнить. Незаконно, но все же не преступление, сами видите, из лесу бревна тайно не вывезешь. Вот из этого фонда.

— Деньги брал?

Уваров слушал нахмуясь.

— Ни копейки, — твердо ответил Лешка. — Я от вас и не ожидал, Николай Павлович, что вы такой вопрос мне зададите. Я вам...

— Ладно, — почему-то чувствуя неловкость, оборвал его Уваров. — Что ты плакаться пришел? Иди к директору. Он что, отказывается от своего приказа?

— Не отказывается он. «Ладно, говорит, завтра оформлю». А потом — опять «завтра». А сам недовольный. Мне уже говорить неловко. Каждый день в глаза ему засматриваю. Конечно, у него дела, но ведь люди на меня валят.

— Заяви куда следует.

— На Иван Семеныча? — вскинулся Лешка. — На командира своего? Как это можно? Вы сами знаете, чем я Ивану Семенычу обязан.

И уже тише добавил:

— А не захочет он, кто мне поверит? Ведь ни бумажки, ни записки. Один словесный приказ по телефону.

— Так что ж, ты думаешь, что Иван деньги взял? Смотри, Красков!

— Они ему тогда нужны были, — просто сказал Лешка, — он Ольгу по свету возил, удивлял.

— Уйди, — приказал Уваров, — я ему скажу.

Разговор с Иваном был короткий. На улице.

— Ты кончай эту историю с Красковым. По дружбе советую. Грязь к тебе липнет.

— Да нет там никакой истории, — поморщился Иван, — одни сплетни.

Что теперь Ногайцеву советы друга! Теперь он не мальчишка, своим умом живет. Очень возгордился ты, Уваров, думая, что по одному слову послушает тебя директор.

А о Краскове заговорили все громче. Почтальон, старый знакомый Уварова, вручая ему газету, сказал:

— Повестку сегодня Краснову отнес. Прокурор вызывает. А не блуди, не воруй...

В этот же день Алексей Красков выстрелом из охотничьего ружья покончил с собой, оставив записку: «Я ни в чем не виноват. Жить виноватым не могу».

...Дверь открыла Ольга. Уваров оттолкнул ее плечом и прошел в комнату.

Иван обедал. Отодвинув тарелку, расплескал борщ, встал навстречу Уварову.

— Слышал? Эх, Лешка, Лешка, что наделал! С собой покончил, а?

Сдержавшись, Николай глухо сказал:

— Это не Лешка с собой покончил. Это ты его убил.

Он увидел, как испугался Иван. Серые кошачьи глаза его округлились, толстые губы обмякли, кожа на щеках задрожала.

— Николай, опомнись, ты что...

Говорить было нечего, оправдываться нечем, хватался за пустые слова. Но, взглянув на лицо Уварова, напряженное, яростное, крикнул не своим, сдавленным, тонким голосом:

— Кабы не я, ты б его десять лет назад кончил. Ты его трибуналом судить хотел.

Не слушая, Уваров спросил:

— Сколько ты на Алексеевой смерти заработал?

Иван замахнулся. Может, и ударил бы, но открылась дверь, заглянула Ольга.

В шубе, в новых ботах.

— Вы здесь беседуйте, а мне это неинтересно. Я пойду погуляю. Ладно, Ванечка?

И наставительно сказала Уварову:

— А все же невежливо, когда мужчина с женщиной не здоровается. — Она кокетливо помахала варежкой на прощанье.

Ее приход будто придал Ивану силы.

— Кому Алексея больше жаль — мне или тебе? Он мне вместо сына был.

— Замолчи! — крикнул Уваров. — Я сюда шел — думал, в тебе хоть зерно коммуниста осталось. А ты вор и убийца, и я это докажу.

Иван усмехнулся:

— Не горячись. Ничего ты не докажешь. Лешку теперь не поднимешь, а смерть, она все спишет.

И тогда, задушенный ненавистью, Уваров медленно и отдельно сказал бывшему другу:

— Деньги, что украл, вернешь. Все до копейки. Десять дней сроку даю. А дальше имя мое забудь, как я твое забуду.

Кровь шумела в ушах.

Вышел — чуть не упал.

А Ногайцеву, видно, суждено удивлять людей. Восемь тысяч, как одну копеечку, внес за своего дружка Краскова. Так и объявил: «Вношу, чтоб очистить его память». Вот он какой, Иван Ногайцев!

Восемь лет прошло с тех пор! И вот зовет старый друг.

Анна последний довод приводит:

— Перед смертью все грехи человеку прощаются.

— Нет, — твердо сказал Уваров, — не позволено жизнь на земле пачкать. Жить надо светло.

Опустила голову Анна.

Он сказал еще:

— Все будем умирать, и ты и я. Смерть прощения не дает.

## Золотая масть

Мальчиков туго привязали к лошади мохнатой шерстяной веревкой. Дядя ни разу не спросил: «Удобно ли вам, дети?» Он ни разу не пошутил, не засмеялся.

Младший попробовал захныкать, но бабушка испуганно и жалобно сказала:

— Не плачь, дитя мое, терпи, турок услышит, беда будет...

Летняя кочевка снималась торопливо и тревожно. Прошел слух, что за Карадзором турки напали на армян, перерезали мужчин, а скот и женщин угнали на свою сторону. Бабушка хлопала себя по коленям и беззвучно причитала: «Горе нам, горе нам!..» Жалобно блеяли овцы.

У дяди дрожали руки, а лицо было покрыто крупными каплями пота. Вокруг стояли тихие горы. Огромный вишап — черный камень, похожий на большую рыбу, — четко вырисовывался на вечернем небе.

Лошадь шла, покачивая головой; младший брат все время тыкался в спину; веревка больно врезалась в тело. Овцы, как мягкие серые клубки, катились по дороге.

Оганес дремал, падая на гриву лошади, и, просыпаясь от толчков, ничего не мог разглядеть в темноте. А когда он еще раз проснулся, вокруг был редкий лес и тени деревьев лежали на ярко-желтой земле. Над лесом стояла большая круглая луна. Бесшумно двигались вперед овцы, и слышно было чье-то прерывистое, трудное дыхание.

Впереди кто-то испуганно вскрикнул. Смешалось стадо. Остановились повозки. Тревожно задрожало внутри у Оганеса. Все замерло. Неподвижны были узловатые, невысокие дубы. Навстречу обозу вышел чужой человек, ведущий под уздцы коня. Человек смотрел прямо перед собой, как будто не было рядом неподвижно замерших людей, повозок, скота. Лошадь его ступала легко, почти бесшумно. Она была светло-желтой масти, с пышной золотой гривой и длинным золотым хвостом. Лошадь вышла на полянку, озаренную

луной, и вся засветилась. Оганес видел золотое сияние, исходящее от ее разбросанной гривы, изогнутой шеи и удлинённого туловища. Шагая, лошадь высоко поднимала тонкие ноги. Оганес знал, что она легко может оторваться от земли и полететь над лесом. Он видел, как она неслышно перенеслась через большой чёрный пенёк. Это была чудо-лошадь, конь Джалали из бабушкиных сказок.

— Не уходи!.. — умолял Оганес. Ему хотелось и плакать, и смеяться. Кончились все страхи. Ничего плохого не могло случиться в эту ночь.

Потом разом, точно вздохнул, заскрипел, задвигался и тронулся обоз кочевки. Как они шли дальше, как добрались до своего села, Оганес не запомнил. Это было давно, лет сорок тому назад.

Председатель колхоза «Заря коммунизма» всегда что-нибудь выдумывал. Главное, очень трудно было угадать, что из его выдумок обернется на пользу, а что во вред. Например, ранние овощи, выращенные в парниках, — сколько было забот и мороки с этими парниками! — дали колхозу триста тысяч чистой прибыли. А с новыми домами для колхозников получилась неприятность.

Дома были хорошие — на высоких фундаментах, с погребами, с большими печами. Председатель объявил, что ни в одном доме не будет тондира. Вселяйтесь, живите, но без тондира. Сперва женщины смеялись и спрашивали: — А где будем печь лаваш?

— Никакого лаваша. Пеките хлеб в духовках. Что такое тондир? Печь, вырытая в земле. Пережиток старого. Наши бабки и прабабки в такой печи готовили пищу. Должны мы от них отличаться? Надо переходить к высоким ступеням жизни.

Даже секретарь партийной организации Овсеп Азатян поддался этому красноречию. Женщины тоже согласились, но, въехав в новые дома, первым делом стали рыть тондиры.

Председатель с суровым лицом обходил дворы. За ним бежали мальчишки с лопатами и закидывали землей вырытые ямы. Два дня шла война. На третий

день председателя и секретаря вызвали в райком. Вернулись они к вечеру. Неизвестно, как узнали на селе, о чем был разговор в райкоме, но на перилах всех балконов остывал свежий лаваш.

Колхозница Шушан, мать большой семьи, уважаемая на селе женщина, сказала Оганесу:

— Ладно, не сердись ты на нас, Оганес, трудно нам от старого обихода отвыкать. А в новом доме хорошо жить, это ты правильно придумал, спасибо. Сейчас у Оганеса опять новая затея. Овсеп Азатян уже два дня думает, что получится из механизации горной фермы. Если уж это затевать, то лучше здесь, на селе. Автопоилки, грузоподъемники, кормозапарники и в других селах есть. А в горах? Где это видано, кто это делал? Непривычно! И во сколько это обойдется? Конечно, раз в банке завелись деньги, Оганесу не терпится их растрясти. В горах у стада вода под рогами, еда под ногами, для чего такой расход? Окупит он себя?

Овсеп хотел с кем-нибудь посоветоваться. Дело серьезное. А советоваться надо с человеком, который сведущ в деле и хоть иногда возвышает голос против Оганеса. Словом, надо идти к зоотехнику Арус.

Арус вышла к Овсепу в длинном халате, с распущенными волосами.

— У меня дело, — сказал Овсеп, глядя в землю, — приходи в сельсовет.

Арус пожала плечами, но послушалась, оделась быстро и догнала Овсепу на улице.

Стоял предвечерний голубой час, когда и звезды на небе и огни на земле еще неуверенные, неяркие. Село лежало у подножия большой горы, на пологом склоне. Новое здание сельсовета было выстроено на самом высоком месте.

Остановившись у изгороди, Овсеп сверху видел ряды новых, крепких домов, поставленных на высокие каменные фундаменты. Внизу, у реки, под красной крышей белело здание школы. На другом конце, где тарахтела молотилка, стояли высокие холмы еще не обмолоченного хлеба. Откуда-то тянуло сладким дымком.

— Черт знает, как серо у нас! — недовольно сказала Арус, останавливаясь

рядом с Овсепом. — Зелени мало, цветов нет. Некрасиво живем.

— Цветов на лугах много, — строго оборвал ее Овсеп, — и перед клубом цветы есть! Где надо, там они есть.

— Не пойду я в сельсовет, — заявила Арус. — Скажи здесь, что тебе надо.

— Оганес ферму в горах затевает, — помолчав, ответил Овсеп, — механизированную. Строительство далеко, осень подходит. Успеем, не успеем — неизвестно. В механизацию большие деньги вложить надо.

— Это ты все «против» сказал. Теперь «за» скажи.

— Положительные стороны тоже есть, — неохотно отозвался Овсеп, — зимой и летом скот в горах, корм на месте. Оганес хочет целину поднять, там же кормовые культуры сеять. Сырзавод при ферме.

— А энергия откуда?

— Не знаю еще. Завтра хотим с Оганесом на место ехать.

— Я с вами поеду! — решила Арус.

И будто разговор был окончен, Арус кивнула секретарю и ушла.

Овсеп посмотрел ей вслед недовольным взглядом. Слишком просто все решают люди, которые вчера пришли в колхоз. Если бы они так же, как он, по горсти зерна, по одному барану собирали, создавали хозяйство! Если бы так же, как он, голодали, мерзли, боролись за каждого работника, тряслись над каждым рублем, — легко ли было бы им швырять сотни тысяч то на хлев, то на клуб, то на какие-нибудь цветы?

Быстро темнело. Окна в домах стали светлыми и приветливыми. Куда идти Арус? К себе? В комнате пусто и тихо. Не настолько она устала, чтоб лечь сейчас на тахту и радоваться покою. Лучше всего зайти к Оганесу, поговорить о той же ферме. Ведь и в технике, и в механизации она понимает больше председателя.

Арус свернула в переулок, к высокому дому, и тут же представила себе усмешку, с которой встретит ее Афо — жена Оганеса. Всего понемногу в этой усмешке: и довольства, и превосходства, и снисхождения.

Презрительная враждебность к этой женщине возникла в Арус с того момента,

когда она впервые увидела Афо.

Арус тогда только что приехала в село, никто ее не знал. Первым делом она отправилась на почту. В комнате с грязным выщербленным полом было пусто. Только возле будки с междугородным телефоном сидели на скамейке женщина и старик. Вид у них был очень унылый.

За наглухо закрытыми окошечками фанерной перегородки раздавался низкий хрипловатый женский голос:

— Нет, я правду говорю, что во мне люди находят, я просто не понимаю. Нос у меня ничего особенного собой не представляет, рот большой, сама черная. Ну, глаза... Только глаза и хороши.

— Ладно, ладно, Афо, не прикидывайся... Сама знаешь, что красивая.

Арус постучала в фанерное окошко.

— Подождите. Нет еще Еревана на линии! — резко ответили из-за перегородки, и разговор продолжался.

— Что красота! Ты другое скажи. У кого из председателей жены образованные? А я? Хоть один день я дома сидела? И никогда не буду сидеть! На почте работаю, политзанятия посещаю, книги из библиотеки беру, с любым человеком могу поговорить. Ты вот это скажи!

Арус стукнула в окошко кулаком.

— Кто это там? Терпения не имеете?

В распахнутое окно высунулась женщина с угольно-черными глазами и крутыми завитками стриженных волос. Выглянув, она сразу замолчала и с откровенным интересом оглядела просторный серый плащ, замшевые туфли и сумочку Арус.

— Можно дать телеграмму?

Открылось и другое окошко. Телефонистка с наушниками тоже уставилась на Арус.

— Простите меня, — сказала черноволосая улыбаясь, — вы жена полковника Заминяна, что к отцу приехал?

— Нет, — сухо ответила Арус. — Мне надо дать телеграмму.

Женщина подперла рукой подбородок и вздохнула.

— Может быть, вы жена нового директора школы?

— Нет.

Женщина опять помолчала, не сводя с Арус взгляда.

— А чья вы жена?

— Ничья. Я зоотехник. Приехала на работу.

— А-а-а... — протянула Афо и добавила небрежно: — Ты телеграмму завтра дашь. Бланки заперты, а ключи у меня дома.

Несколько раз потом Оганес говорил Арус:

— Ты с моей женой ближе сойдись. Она у меня городская, культурная.

Арус с горечью думала: «Как плохо мужчины разбираются в своих женах! Всю жизнь рядом, а ничего не понимают».

Арус старалась посмотреть на Афо глазами других людей. На торжественном вечере в честь Первого мая Арус и Афо сидели в первом ряду и хлопали докладчику. Оганес с приезжими из города гостями был в президиуме, на сцене. Арус видела, как один из гостей наклонился к Оганесу и с улыбкой сказал ему что-то, кивнув на Афо. Оганес довольно усмехнулся и взглянул на жену. Афо заметила это. Она захлопала еще громче, подалась вперед, тряхнула кудрявой головой. Блестели ее большие черные глаза, ее белые зубы, блестел шелк пестрого платья, блестели серьги в ушах. Она была яркая, как жар-птица. Арус и на себя посмотрела со стороны — сухощавая, невысокая женщина в гладком синем костюме, загорелая, незаметная...

Арус подошла к дому Оганеса и, когда уже собиралась подняться по лестнице, услышала песню.

Низким гортанным голосом Афо пела:

Лунная ночь... Что мне делать с собой?

Не идет ко мне сон, не идет ко мне сон...

Скажет прохожий, встретясь со мной:

«Знать, бездомный он, знать, бездомный он...»

Арус тихо прошла мимо дома председателя.

С гор возвращались уже под вечер. Оганес ехал недовольный. Откладывать строительство до весны ему очень не хотелось. Оганес ничего не любил откладывать. Ферма в горах должна была принести колхозу огромную прибыль. Ведь даже такой пустяк, как автопоилка, сразу повышает удои молока на тридцать процентов.

— Не такой уж пустяк сделать эти автопоилки. Кстати, где ты возьмешь воду?  
— спрашивала Арус.

Неужели Оганес такой дурак, что даже этого не предусмотрел? В широкой ложбине, куда сбегались три горы, булькал родник.

— Надо исследовать запасы. Родник может иссякнуть, — заявила Арус.

Овсеп помалкивал. Он знал, что не может иссякнуть родник, который существовал еще тогда, когда они совсем маленькими детьми приезжали сюда в горы на кочевку. Сколько раз приходят к этому роднику стада, даже из Азербайджана приходят. А вишап? Вот он стоит, черная каменная рыба. Всем известно, что вишапы в старину ставили охранять воду. Значит, родник существует с древних времен.

— Вишап, конечно, сильное доказательство, — холодно ответила Арус. — А энергия откуда? — тотчас после этого придирчиво спросила она.

Оганес хозяйским жестом указал на линию передачи, уходящую за горы.

— С подстанцией я договорился. Ток дадут, — сообщил он.

Овсеп посмотрел круглым птичьим глазом и недовольно сказал:

— Еще ничего не решили, а ты уже договорился!

— Значит, по-вашему, не строить?

— Строить, — сказала Арус, — только не этой осенью. Не успеем.

— Значит, не поддерживаете?

— Пока не поддерживаем.

Поехали обратно. Копыта коней звонко цокали по каменистой дороге. Горы

возвышались одна над другой, как окаменевшие волны. Местами кудрявились на склонах леса. Небо густо синело, и только в просвете между горами, куда ушло солнце, тянулась нежно-зеленая полоса. Въехали в лес, и сразу стало темно. Шелестели осенними листьями невысокие кавказские дубы. Их шишковатые корни, вылезая из земли, в крутых местах были как ступени лестницы, по которой осторожно сходили лошади.

Арус казалось, что она понимает сейчас все, что происходит в сердце Оганеса. Конечно, в эту минуту он ненавидит и ее и Овсеп. Потом это пройдет, но сегодня он будет жаловаться жене: с какими тупыми, трусливыми людьми ему приходится работать! И Афо участливо скажет: «Душа моя, черной завистью завидуют они тебе. Плюнь на них...»

«Почему я не могу сейчас подъехать к нему и сказать, что нет у него большего друга, чем я?» — спрашивала себя Арус. Хорошо бы сказать об этом простыми словами, но так, чтоб он понял и навсегда поверил.

Оганес резким движением остановил свою лошадь. Остановилась серенькая кобылка Арус и пегаш Овсеп.

Навстречу им на поляну вышел невысокий старичок. Он вел лошадь с золотистой гривой и длинным хвостом. Лошадь была очень светлой масти, и ее шерсть, казалось, отражала желтый свет луны.

Арус привычным глазом оценила удлинённые формы коня, втянутый живот, маленькую головку, небольшие сторожкие уши. Но главное в лошади были не формы, а цвет. Она казалась золотой, вся блестела, а грива ее вздымалась, как пышное светлое облако.

Старичок наклонил голову и приложил руку к сердцу, приветствуя встречных.

Он прошел дальше, и еще долго в темных кустах колыхалось светлое пятно.

Оганес не трогался с места.

— Вот чудесная лошадь! — вздохнула Арус.

— С азербайджанских кочевков. Они такую масть любят, — равнодушно сказал Овсеп.

— Первый раз в жизни такую вижу!

— А я видел, — неожиданно сказал Оганес. — Я видел...

Лес кончился. Широкая дорога повела по полям. Внизу, как нанизанные на нитку, ровными рядами тянулись огоньки села.

— Вы езжайте, я сейчас... Я потом... — невразумительно проговорил Оганес и, хлестнув своего коня, поскакал обратно к лесу.

— Куда он? — растерянно обернулась Арус к Овсепу.

— Ты что, Оганеса не знаешь? — махнул рукой Овсеп. — Кто скажет, что взбрело ему в голову!

Ночью Оганес сидел на кошме у костра. Далеко в горы забралась азербайджанская кочевка. Среди больших каменных глыб и гладких валунов пристроились палатки.

Несмотря на поздний час, Оганеса угостили хорошо. Под костром, прикрытый слоем земли и золы, испекся молодой барашек. Старик отгреб красные угли, разрыл землю и вытащил дымящиеся куски мяса.

Оганес знал, что сразу говорить о деле неприлично, но ему не терпелось.

— Ты меня знаешь? — спросил он у старика.

— Знаю, товарищ Амирян, — отозвался старик, — мы не первый год сюда скот гоняем.

— У вас председатель Кязимов? Я его тоже знаю, — сообщил Оганес, доставая измятую пачку папирос и протягивая ее старику. Потом без всякой подготовки он приступил к делу: — Эта лошадь, что я сегодня видел, — колхозная лошадь?

— Это мой конь, — ответил старик.

Оганес обрадовался. С человеком можно быстрее договориться, чем с колхозом.

— Ничего лошадь, — небрежно похвалил он, — светлая только очень...

— Хорошая лошадь. Породистая — кяглан. Золотая масть.

— Я не говорю, плохая.

Оганес сам чувствовал, как фальшиво звучит его голос. Ничего на свете не

было для него желаннее этой лошади.

— Ты ее не продашь? — спросил он сразу.

Старик посмотрел на Оганеса и вздохнул:

— Нет! Я ее не продам.

— Продай, — попросил Оганес.

Афо всегда говорила: Оганес покупать не умеет. Если ему что нравится, он это сразу показывает. Дорого, дешево — цены для него не существует.

— Продай! Я хорошо заплачу! — убеждал Оганес.

— Нельзя ее продать, — неохотно сказал старик.

— Почему нельзя? Какая причина? Пойдем, я посмотрю коня.

— Что его смотреть, — сказал старик, но поднялся с места.

Когда они проходили мимо шатра, женский голос окликнул: «Ильяс!» Старик остановился. Его разговор с женщиной был похож на ссору.

— Видишь, и жена не хочет продавать, — недовольно пояснил он, подходя к Оганесу.

— С каких пор ты жены слушаешься? — подзадорил Оганес.

Стреноженный золотой конь пасся за камнями.

У Оганеса забилося сердце, когда он положил руку на его тонкую переносицу и коснулся светлеющей в темноте пышной гривы. Ему казалось, будто сбился давний сон, будто что-то недостижимое далось наконец в руки, и теперь только надо удержать, не упустить, иначе проснешься с чувством острого разочарования.

— Продай! — умолял он. — Нужен мне этот конь!

— Дорого стоит, — наконец решительно проговорил старик.

— Сколько?

— Дорого, — упрямо повторил Ильяс. — Двенадцать больших баранов стоит.

Цена была невозможная.

— Много хочешь.

— Много хочу, — легко согласился Ильяс. — Не стоит покупать. Айда, спать пойдем.

— Ну, десять баранов! По рукам?

Оганес не знал, есть ли у него десять баранов. Он и не думал об этом. Ходят какие-то его бараны в стаде. Не хватит — он их докупит. Торговался он потому, что так полагалось.

— Нет, — упрямо сказал старик, — двенадцать больших баранов.

— Ладно. Забираю лошадь.

Ильяс был раздосадован. Он пробормотал какое-то ругательство и крепко ударил животное по ребрам. Лошадь зафыркала и запрыгала в сторону.

— Баранов доставишь — заберешь, — угрюмо сказал старик.

Оганес ехал горными дорогами под звездным небом, радостный, как в день своей свадьбы. Он видел табун золотых коней; кони паслись на зеленых склонах, гривы их под солнцем точно костры. Оганес не ощущал холода горной ночи, не чувствовал, что роса ложится ему на плечи. Он ехал по горам под звездным небом и пел:

Лунная ночь... Что мне делать с собой?

Не идет ко мне сон, не идет ко мне сон...

Скажет прохожий, встретясь со мной:

«Знать, влюбленный он, знать, влюбленный он!»

Пастух Мартирос сидел на камне, томился и ругал себя. Что такое коробка спичек? Пустая вещь, копейка! И видишь ее во всех подробностях, и слышишь, как в ней спички тарахтят, а нет ее, нет ее в руках! И ведь лежит где-то, никому не нужная, на печке, на столе, лежит где-то, а вот здесь, где она нужна, нет ее, сатаны! Папироска обсосана до самого табака, ночь длинная — что будешь делать? Жди до завтра, пока со стоянки придет напарник!

Овцы сгрудились в кучу. За ними не доглядишь — вся отара перелезет на свежие участки. Но Мартирос не уснет. Отоспался за день. И Топуш не заснет.

Огромная чернобелая кавказская овчарка лежала у ног пастуха, наострив обрезанные уши.

«Не взял я эти спички или потерял?» — с тоской думал Мартирос, натянув бурку на плечи и десятый раз хлопая себя по карманам. Вдруг Топуш повел ушами, поднял голову и залаял.

— Э-ге-гей! — крикнул чей-то голос.

Вот редкая, небывалая удача! Сейчас Мартирос закурит!

— Э-ге-гей! — отозвался он.

— Спишь? — громким голосом спросил Оганес, подходя к пастуху.

— Дай закурить, — ответил Мартирос.

Они оба закурили и молча стояли, жадно затягиваясь и глядя, как желтело небо, как явственней открывались вокруг синие горы.

— Плохой у тебя характер, Мартирос, — сказал наконец председатель, — даже спросить не хочешь, зачем я к тебе ночью приехал. Может, случилось что?

— Плохого не случилось, — невозмутимо сказал Мартирос. — Ты веселый приехал.

Оганес засмеялся.

Уже совсем рассвело. Овцы зашевелились, и сейчас было видно, как их много.

Они покрывали весь склон горы.

— Сколько тут моих гуляет? — спросил Оганес, махнув в сторону отары.

Мартирос недоуменно посмотрел на него.

— Каких? — переспросил он.

— Ну, моих собственных, — нетерпеливо пояснил Оганес. — В прошлом году пять овец, что ли, было. Приплод какой-нибудь тоже, верно, есть.

Мартирос так же недоуменно покачал головой.

— Нет твоих, — сказал он. — Той осенью Афо трех ягнят забрала, к зиме опять пару взяла. Двух ягнят я ей этой зимой пригнал. Ты со счету сбился, председатель. Спроси у жены...

Оганес почувствовал себя неловко.

— Я в эти дела не вхожу. Она хозяйка. Взяла, — значит, ей надо было.

— Может, ты мне не поверишь — спроси у нее. Осенью трех забрала, к зиме еще двух. Это точно... Как же так...

Оганес тяжело опустился на камень. Золотой конь не давался в руки. Все отодвигалось, все становилось неверным. Пока купишь по одному этих баранов... Старик и так не хотел продавать коня, потом и вовсе раздумает. И ведь всего двенадцать баранов, двенадцать из этого моря, из этих тысяч! Да он их возьмет, в конце концов, — и всё! Чьими руками это создано? Не его, Оганеса, руками? Что имел колхоз, когда Оганес стал председателем? Сто чесоточных овец имел...

Оганес сорвал с головы фуражку, с досадой швырнул ее на землю.

— Двенадцать баранов мне сейчас нужно, — сказал он хриплым голосом.

— Оганес, — тихо ответил пастух, — одного, ну двух я могу. Незаконно, но я твоё желание уважу. Потом оформишь. А двенадцать я не могу.

— Ты и одного не можешь, — с горькой досадой сказал Оганес. — Я у тебя самовольно возьму. Получай мою расписку, и все!

— Нет, — вздохнув ответил пастух, — не соглашаюсь я, товарищ председатель.

Оганес молчал. Пастух сбоку заглянул ему в лицо.

— На что тебе бараны, Оганес?

— Лошадь я думал купить. На азербайджанских кочевках. Золотая масть. Идет — блестит!

— Видел я, — вздохнул Мартирос. — Двенадцать баранов хотят! Совесть имеют?

Оганес злился на себя, что не мог переступить какую-то запретную черту и своей властью взять этих баранов. Что ему мешало? Он брал их не для забавы, не из прихоти. Будущее великолепие и богатство колхоза видел перед собой Оганес. Табун золотых коней на пастбищах. А на пути к этому стоял осуждающий и требовательный глаз Овсепы и собственная трусость. Иначе Оганес не мог назвать чувство, которое мешало ему сейчас забрать овец.

И, думая так, он сердился на себя, на Мартироса, на стадо.

— Этого коня я, конечно, видел, — повторил Мартирос, глядя на отару, — орел конь, джейран конь...

— А если их табун вывести? Человек глазам не поверит. Это еще невиданное на земле будет.

Мартирос слушал молча, сдвинув брови. Потом он скинул бурку и нырнул в глубь отары. Раздвигая овец сильными руками, рассматривая их одну за другой, пастух вытолкнул на дорогу кучку животных с тяжелыми, трясущимися курдюками.

— Пять моих собственных, — сказал он, подходя к Оганесу, — четыре брата моего, три — племянника.

Оганес встал.

— Я в роду старший, — сурово продолжал Мартирос, — имею право распорядиться. Только не знаю, как брат и племянник пожелают — или ты им деньгами отдашь, или баранов взамен купишь. Это уж их дело, этого я не знаю.

— Я тебе расписку оставляю.

Оганес непослушными от холода и волнения руками полез за блокнотом.

— Плевал я на твою расписку! — зло сказал Мартирос. — Спички оставь!

Оганес видел, что Афо лжет и выкручивается. Неестественным было ее многословие, суетливость и манера, с которой она изумленно поднимала брови.

— Я просто не понимаю: куда делись наши бараны? Не может быть, чтобы мы остались без баранов... Давай всё проверим. Помнишь, ты сам сказал: «Отправь пару в город, пусть мама твоя себе каурму на зиму сделает». Помнишь? Ты мне так сказал!

Оганес ничего не помнил. Он сумрачно кивнул головой.

— Одного, правда, я дяде отвезла. Когда он сына женил, на свадьбу. Ты тогда не поехал. Как мой дядя обиделся! Разве можно родственников обижать? Нехорошо ты сделал, что не поехал на свадьбу. Вообще ты моих родственников не любишь...

— Ладно, — сказал Оганес, — довольно тебе!

Афо зорко следила за Оганесом. Не из-за баранов же он рассердился! На всякий случай Афо решила сама высказать свои обиды.

— О баранах ты спрашиваешь, — слезливо заговорила она, — а у меня ты спросил: «Здорова ты, жена? Ела ли ты? Пила?» Что я передумала, когда тебя всю ночь дома не было! Глаз с дороги не спускала. Овсеп приехал, эта ящерица Арус приехала, а тебя всю ночь нет. Для того я замуж выходила, чтоб всю ночь на дорогу смотреть?

— Разве я первый раз в горах ночую? — неохотно ответил Оганес.

— И всегда мое сердце болит, — подхватила Афо. — Смотри, на кого я похожа стала. Дома у отца я такая была? Соседи моей матери говорили: «У вас Афо веселая, как собачий хвостик». Где мое веселье? Люди глаза проглядели — завидуют тебе, что такую жену имеешь. А ценишь ты это?

— Хватит! — сказал наконец Оганес. — Теперь, раз баранов нет, мне деньги нужны.

Афо перестала плакать. Она подняла голову и посмотрела на мужа угольно-черными глазами:

— На что тебе деньги?

— Лошадь я купил, — ответил Оганес. — Пойдешь в сберкассу, снимешь с книжки что там есть.

— Ты что, меня за сумасшедшую считаешь?

— Афо, — сдерживая себя, проговорил Оганес, — послушай меня: я двенадцать баранов у Мартироса взял. Мне расплатиться надо. Я слово дал.

— Слово ты дал? — завизжала Афо. — Ветру свое слово отдай! Нет у меня денег. Об этом ты подумал? Я должна восемь часов на почте спину гнуть, работать, копейки собирать, а ты их в одну минуту развеять хочешь? Ты со мной, с женой, советовался, когда слово давал? Или я в этом доме ничто? Нет! Кончились те времена, когда женщина с завязанным ртом ходила. Ты меня старому не заставишь жить.

— Замолчи, — прохрипел Оганес и отшвырнул стул ногой, — чтоб я голоса

твоего больше не слышал!

— Убей — не замолчу, убей — не замолчу! — надсаживалась Афо. Она взвинтила себя до истерики, била кулаками по голове, растрепав свои жесткие кудри.

Оганес, тяжело ступая, вышел на улицу.

Овсеп недавно пришел с поля. Он сидел у своего стола, разминая в руках крупные зеленые листья табака. Рядом с ним стоял бригадир Серго Гамбарян. Секретарь и бригадир раздумывали, как повесить сортность сдаваемого табака, когда в комнату вошла возбужденная и шумная Афо.

— Куда вы ездили с Оганесом? — со слезами в голосе спросила она, облокотившись руками на стол.

— Оганес вернулся, я видел. — предупредительно сообщил Серго, — лошадь с собой пригнал. Такую красивую лошадь! — Бригадир покружил головой и зацокал языком.

— Разрушила мой дом эта лошадь! — со злостью крикнула Афо. — У Оганеса разум унесла эта лошадь. Двенадцать баранов из стада отдал он за нее! Это поступки разумного человека? Я к тебе пришла, Овсеп. Ошибся Оганес, очень ошибся. Растолкуй ему ошибку, поправь дело.

Овсеп сморщил лицо.

— Ты ступай, — сказал он Серго, — мы потом все обсудим.

Он поднялся и закрыл за Серго дверь, но в комнату, помимо желания его, протиснулась Арус.

— Ах, Афродита, Афродита, — сказала она, — не очень уважаешь ты своего мужа! На все село слышно, как кричишь о его ошибках!

Арус часто называла жену Оганеса полным именем, которое ей дали при рождении. Афо при этом всегда настораживалась. Сейчас она с удовольствием ответила бы: «А ты, ничья жена, сперва сумей заполучить себе хоть какого-нибудь мужа, а уж потом учи других!» Но Афо знала, когда надо сдержаться, и сдержалась.

— Я не куда-нибудь пришла, — ответила она с достоинством, — я к старшему партийному товарищу пришла за советом. Человека поправлять надо. Пусть Оганеса в райком вызовут, пусть ему внушение сделают.

— Где, говоришь, он баранов взял? — угрюмо спросил Овсеп.

— У Мартироса, на кочевке, — охотно ответила Афо.

— Нет, Афо, милая, тут не внушением пахнет, — опять вмешалась Арус. — Тут дело серьезное. Хорошо, если только с председательства снимут, а если под суд отдадут? Будешь мужу в тюрьму передачи носить?

Арус и мысли не допускала, что Оганес в чем-то виноват. В его поступках не могло быть ничего корыстного, недостойного. Это Арус знала твердо. Все остальное не имело для нее значения. Но ей доставляло удовольствие дразнить Афо. Арус с усмешкой наблюдала, как испуганно глянули черные глаза, как щеки и шея Афо покрылись красными пятнами.

— А что ты думаешь? За такие дела и жена отвечает, — продолжала она, не обращая внимания на то, что Овсеп предостерегающе строго сказал ей: «Брось, Арус!» — и не замечая, что дверь за ее спиной открылась и вошел Оганес.

— Моего мужа в тюрьму? Чтоб у тебя язык отсох! — не выдержала наконец Афо. Она растерянно огляделась и, увидев Оганеса, бросилась к нему: — Ты слышишь, что она говорит?! Ты слышишь!

— Какие у тебя здесь дела? Ступай домой!

— Почему у меня не может быть здесь дел? Я тоже на государственной работе, — огрызнулась Афо. — Смотри, Овсеп, он слова не дает мне сказать!

Овсеп поднял глаза и коротким движением головы указал Афо на дверь. «Я тут как-нибудь улажу твое дело», — расшифровала Афо этот жест и, скорбно опустив голову, вышла из комнаты.

Арус шагнула к стене и опустилась на стул с тяжелым чувством непоправимости того, что произошло.

Оганес, не глядя на нее, подошел к столу Овсепа.

— Вот так, Овсеп, — сказал он, — живешь рядом с человеком, работаешь

вместе не день, не два. Думаешь, он тебе товарищ, опора твоя в трудный час. А выходит, чуть что не так, этот товарищ первый кричит: «В тюрьму его!» За твоей спиной кричит. Ты мне скажи, Овсеп, можно свой труд делить с таким человеком?

Начал он тихо, а последние слова почти кричал. Что Арус могла ему сказать? Как объяснить? С трудом она встала со стула и вышла из комнаты.

— Это ты напрасно, Оганес, — тихо сказал Овсеп. — Совсем тут другое дело было.

Оганес будто не расслышал. Он подошел к окну и стал смотреть вниз, на село.

— Ты что, лошадь купил? — спросил Овсеп.

— Купил. Дальше что? — вызывающе ответил Оганес.

— Твое дело. Только каких овец за нее отдал? Афо говорит, из стада взял.

Оганес невесело усмехнулся.

— Эх, Овсеп, Овсеп! — с горечью сказал он. — Кто у меня спросил, о чем болит мое сердце? Жена спросила? Друг спросил? Всю жизнь мы с тобой рядом. Чего ты боишься? Думаешь, колхозных овец я забрал? Не бойся, мне Мартирос своих дал.

— Нет у Мартироса двенадцати овец.

— А ты все знаешь? И сколько у кого овец знаешь?

Овсеп молча наклонил голову.

— Он мне и Мисака овец дал, и Каро овец дал. Считай, считай! — устало сказал Оганес.

Овсеп вытащил из кармана потемневший деревянный портсигар и достал папиросу. Долгое время мужчины молчали.

— Ай, Оган, — проговорил наконец Овсеп, затушив папиросу, — теперь ты сам скажи: разумно это? У нас столько дел, столько забот, а ты увидел блестящую игрушку и все забыл...

— Что я забыл? Ничего не забыл, — ответил Оганес. — Эта лошадь не игрушка. Породистая лошадь. Золотая масть. Как картинка, она красивая!

— Красивая, — повторил Овсеп. — Погнался ты один раз за красотой, что

хорошего увидел? — Он вздохнул, посмотрев на понурую фигуру Оганеса, и опять заговорил своим негромким, глуховатым голосом: — А лошадь должна быть лошастью. От нее работа требуется — хоть от черной, хоть от золотой. Разве она лучше будет бежать, быстрее повезет тебя оттого, что золотая? — Никак она меня не повезет, — горько ответил Оганес, — не может она везти. Больная лошадь. Задыхается. Запал у нее.

Афо знала, что в конце концов она все уладит и все будет, как ей угодно. Недаром отец Афо, лучший в городе специалист по ремонту керосинок, говорил про свою дочь: «Моя Афо троих сыновей стоит. Глубокий разум имеет...»

То, что Оганес вторую ночь не ночевал дома, — тоже к лучшему. Афо знала, что он ночевал в табачной сушильне. Урона для жены в этом нет, а Оганес теперь настолько виноват, что у него на голове хоть орехи коли. Зато когда вечером явился с кочевок пастух Мартирос, Афо поговорила с ним с глазу на глаз.

Мартирос принес в дар Афо связку форели. Пастухи ловили ее в горных реках руками. Он сокрушенно справлялся, точно ли помнит Афо, сколько баранов у нее было и сколько она забрала. А то председатель задает вопрос: сколько в стаде его баранов? А пастух как потерянный стоит перед ним. Очень неудобно получилось!

— Ты передо мной спектакли не разыгрывай! — раздраженно накричала на пастуха Афо. — Неудобно ему было! Ты не за этим пришел. Ты за деньгами пришел, а денег не получишь. Если ты честный, порядочный человек, то сказал бы: «Не покупай, Оганес, лошадь». А ты перед председателем в хорошем свете хотел себя выставить, баранов ему отдал. Вот теперь пожалеешь.

— Что лошадь! — вздыхал Мартирос. — Лошадь хорошая, почему не купить? Ну, мое имущество — черт с ним! Я о своем не думаю. Там Мисака и Каро бараны были...

— Откуда Оганес возьмет деньги? Нет у нас таких денег. Вон Овсеп говорит, что он за эту лошадь в тюрьму сядет.

— Кто в тюрьму? Оганес? О чем ты говоришь, женщина?

— Что я знаю? — плакала Афо. — Рухнул мой дом. Только одно средство есть. Ты сделал ошибку, ты сам исправляй. Съезди на кочевки. Скажи: совесть надо иметь. Пусть не губят человека, пусть вернут баранов и заберут свою лошадь. Мартирос даже не переночевал дома, в тот же вечер отправился обратно в горы. Но не было Афо покоя от этой лошади. Утром председателя разбудили ребяташки. С самой зари вертелись они около сарая, где была заперта лошадь. Ловкие, как кошки, ребята карабкались по стене, добирались до окна и восхищенно визжали. Когда разгневанная Афо выскочила во двор, мальчишки хором потребовали:

— Покажи коня Джалали!..

Афо швырнула в них полынным веником.

— Ай, ханум, ай, красивая ханум, зачем так сердиться? — сказал за ее спиной невысокий старичок. Он вошел во двор, широко улыбаясь. Низко поклонился Афо и спросил Оганеса.

— Скоро, скоро придет председатель, — заторопилась Афо.

Она выглянула на улицу: не видно ли баранов? Баранов не было. Афо поняла, что ей придется пустить в ход все свое красноречие. Она ввела старика в дом, усадила его за стол. «Вина азербайджанцы не пьют, они чай любят», — решила про себя Афо, достала прошлогоднее засахаренное ежевичное варенье, коробочку рахат-лукума и налила гостю чай — темный, как виноградный мед. Старик все улыбался спокойной, благодушной улыбкой и живыми глазами осматривался вокруг.

— Хорошо живет председатель Амирян, — любезно сказал он.

— Э-эх!.. — вздохнула Афо. — Кто сочтет наши заботы? Из долгов не вылезает.

— Наш народ говорит: «Если твой долг перевалил за тысячу, кушай плов с курицей!» — весело отозвался старик.

— Плов кушать вы будете, — не выдержав, сказала Афо. — За одну лошадь двенадцать баранов брать — можно плов кушать.

Старик снова улыбнулся:

— Я тебе так скажу, ханум. Вот весной я в городе был, костюм себе покупал. Был в магазине костюм — очень мне понравился. Посмотрел я на цену, вижу, дорогой костюм. Не могу столько заплатить. Ну, я этот костюм не купил. Кто меня может заставить?

— А все-таки, вот у кого хочешь спроси, нехорошо сделали, — игриво-обиженно заявила Афо. — Каждый год на кочевки к нам приезжаешь, скот на нашей земле пасешь, нашу воду пьешь, — можно было бы один раз и нам уважение оказать.

— Ай, ханум, — покачал головой старик, — все учитываешь: и землю, и воду, и солнце! Трудно нам будет с тобой сосчитаться.

Афо к этому и подводила. Тут она и хотела сказать: «Верни баранов, забери своего коня — и квиты!» Но в это время совсем некстати появился Оганес. Пришел он пыльный, встрепанный, в помятой гимнастерке.

— Здравствуй, Ильяс, здравствуй!

Двумя руками потряс руку старика, а на жену даже не взглянул.

— А мы тут без тебя, товарищ Амирян, сильно кутили, — посмеивался Ильяс, — чай пили, папиросы курили, папиросы курили — чай пили.

Оганес оглядел угощение.

— Собери на стол! — коротко приказал он жене.

— А как же, а как же, только тебя ждала! — заторопилась Афо.

Она поставила на стол желтую персиковую водку, форель и потонувшую в масле глазастую яичницу. Она металась от стола к шкафу, бегала в кухню, спускалась на огород за зеленью. Расширенными глазами она ловила каждое движение мужа, но Оганес не смотрел в ее сторону.

— Выпьем, отец, за честь. Хорошая вещь — честь! — сказал Оганес, поднимая рюмку.

— Обижаясь на меня, товарищ Амирян? — тихо спросил старик.

— Что обижаться! У нас говорят: «Если тебя обманул свой глаз, не держи обиду на чужой глаз!» — рассмеялся Оганес.

— Хорошо говорят, — согласился Ильяс. — У вас еще говорят: «Лучше потерять глаз, чем имя». Я твоих баранов пригнал, председатель. Они у пастуха Мартироса во дворе стоят.

— Ты знал, что конь больной?

— В ту ночь, когда мы встретились, я от ветеринара возвращался. Разве я хотел продавать коня? Я тебе и так говорил «Нет!», я тебе и по-другому говорил «Нет!». Цену назначил огромную, уступку не сделал. А ты был на все согласен...

— Так для чего ты теперь обратно баранов пригнал?

Старик усмехнулся:

— Это две жены виноваты. Две! — Он поднял вверх указательный и средний пальцы маленькой коричневой руки. — Одна моя — ну, старая, глупая женщина. Целый день говорит, говорит: «Почему ты больного коня продал? Плохо ты сделал, что этого коня продал». Голова у меня заболела! А другая — твоя жена, она большой ум имеет. Человека прислала, плачет: «Муж чужих баранов взял, денег нет, мужа в тюрьму посадят!» Пожалел я тебя, председатель.

Оганес поднес руку к лицу и на секунду закрыл ладонью глаза. Потом он сразу выпрямился и рассмеялся, широко раздвинув губы над крупными белыми зубами.

— Зря, зря ты пустых бабьих разговоров послушал, Ильяс! Погонишь своих баранов обратно.

— Это почему, председатель?

— Продано — кончено. Выпьем, вспырснем куплю-продажу!

Резко хлопнула входная дверь. Афо выскочила из дома и побежала на улицу.

— Товарищ Амирян, — очень серьезно сказал Ильяс, — весь этот разговор в сторону отставим. Забери баранов, отдай лошадь!

— Ни за что не отдам! — смеялся Оганес. — Я вашего председателя через

несколько лет в гости позову. Табун золотых коней у меня гулять будет. Пусть любитесь. Тогда пару вашему колхозу на развод продадим. Дешево уступим, как близким соседям. По двенадцать больших баранов возьмем. Выпей, Ильяс! Дверь распахнулась без стука. Открыла ее Афо, но сама быстро спряталась за спины мужчин. В комнату вошли Овсеп, кузнец Аслан Заминян и один из бригадиров, Никол Тотоян. Гости поздоровались за руку с Ильясом и, хотя все трое уже виделись с Оганесом, поздоровались за руку и с ним. Афо поставила на стол стаканчики, тарелки. Оганес разлил водку.

— Ну, будем здоровы, — коротко сказал он.

— Твое здоровье! Будь здоров! Будь весел! — степенно ответили гости и выпили.

— Что замолчали? За вином говорить надо, — объявила Афо.

— Пришли — помешали немного. Гость гостя не любит, — сказал Заминян и подмигнул Ильясу.

— Какие мы гости! — возмущенно запыхтел Никол. — Я от молотилки шел пыльный, грязный. — Он взялся за борта своего выгоревшего, рыжего пиджака. — Разве так в гости ходят? Афо встретила, говорит: «Иди скорей к нам. Оганес для колхоза коня покупает». Ну, я за этим и пришел.

«Членов правления собрала», — подумал Оганес.

— Посмотрим, посмотрим коня, — сказал Заминян. — Оганес плохого торговать не станет.

Конь стоял в сарае, высоко подняв маленькую сухую голову и наострив уши. Широкая солнечная дорожка тянулась от окна, прорезанного под крышей, и падала на пышную гриву. Тщательно расчесанная шерсть лоснилась, и каждый волосок отливал металлическим блеском.

Оганес подошел к коню, вздохнул и провел рукой по морде с чуть вздернутым кончиком носа.

— Араб, — тихо сказал он.

— Кяглан-конь, — подтвердил Ильяс.

Оганес посмотрел на него и сказал громко и твердо:

— Однако у этой лошади запал. Ездить на ней нельзя, работать нельзя. Я думаю, мы с этим конем ферму создавать будем.

Только теперь Оганес посмотрел на лица своих спутников. Равнодушно смотрел на лошадь Овсеп, восторженно-радостно кузнец Замянян, а Никол поворачивал голову то к Овсепу, то к Замяняну, то к Оганесу.

— Такого коня испортить, ах! — с досадой выругался Замянян. — Какая ему сейчас цена после этого?

— Двенадцать баранов стоит, — коротко сообщил Оганес.

— Погубили коня, а? — не успокаивался Замянян. Он обошел лошадь со всех сторон, осмотрел ноги, проверил подковы, заглянул в рот. Конь отфыркивался и мотал головой.

— Дорого, — сказал Никол, посмотрев на Овсеп. — Очень дорого! — быстро добавил он. — Над нами люди смеяться будут, что за больную лошадь такую цену дали.

— Совсем напрасно говоришь, товарищ, — вмешался Ильяс. — Мой отец за одну собаку овчарку десять баранов отдал — никто не смеялся.

Овсеп нахмурился, а Никол быстро подхватил:

— Овчарка! Овчарки бывают, что волка один на один загрызают. За такую овчарку можно десять баранов дать. А в этой больной лошади какой толк?

— Если ты в ней толку не понимаешь, товарищ, я тебе объяснить не могу, — сдержанно сказал Ильяс. — Ты не обижайся. Дедушка Крылов такую басню писал: «Петух и одна жемчужина». Не слышал? А коня я не продам. Я его обратно заберу.

— Куплен уже конь, — вдруг неожиданно сказал Овсеп. — Что зря говорить? Теперь надо думать, какую пользу он может дать.

— Пользу! — закричал Замянян. — Я на него смотрю, у меня душа радуется — уже мне польза! Спасибо, председатель, хорошо сделал, что купил. Такой конь по селу пройдет — людям праздник сделает.

— А я что сказал? — оправдывался смущенный Никол. — Я тоже говорю: праздник сделает. Только двенадцать баранов — дорого. Уступить надо.

— Ничего! Сделаем уважение соседям. Сколько просят, столько дадим. Наш колхоз выдержит отдать двенадцать баранов! — горячился Заминян.

Овсеп не переносил таких необдуманных заявлений.

— На правлении решим, — закончил он, натянув на голову черную фуражку.

— Работать надо. Пошли! — И первый вышел из сарая.

Когда Оганес вернулся в дом, Афо стояла посредине комнаты. Ее лицо было взволновано ожиданием.

— Ну что? Заплатят? — спросила она, едва Оганес закрыл за собой дверь.

— С грязью смешала ты имя своего мужа, женщина! Как мне теперь смотреть на твое лицо? — с гневным презрением сказал ей Оганес.

Арус ехала на бричке и плакала. У нее не текли слезы и лицо оставалось спокойным, но сердце содрогалось от рыданий. И Арус все больше растревляла себя, вспоминая, как презрительно говорил о ней Оганес, как, виновато опустив голову, вышла она из комнаты. Кто она была для него? Зоотехник Арус. А сейчас он на нее и смотреть не захочет. А что она для других? Пройдут ее лучшие годы, и для всех она будет зоотехник Арус. Никто и не заметит, что у нее маленькие, красивые руки, никто не узнает, какое у нее преданное, верное сердце. А рядом с ним будет всегда Афо. Афродита! И ничего не сделаешь, ничего! Как жить?

На окраине села Арус соскочила с брички. В послеобеденный час улица была пустынной. Опустив голову, Арус медленно шла к себе. Ее окликнул глуховатый голос Овсеп. Он стоял на дороге в своем обычном синем пиджаке и защитного цвета брюках, заправленных в пыльные сапоги.

— Ты вот что, сходи сейчас к Оганесу. Определи, что с этим конем. Опоен он, что ли? Посмотри, можно его лечить? Годен он на племя?

— Я не ветеринар, — сухо ответила Арус.

— Ветеринар в горах. Ты понимаешь не хуже его.

— Спасибо за высокую оценку моих знаний! — ядовито сказала Арус. — К Оганесу я не пойду.

Овсеп внимательно посмотрел на нее. Невысокий, невзрачный, он был такой простой, такой земной, что при нем невозможно было страдать о недостижимом.

— Он меня обидел, — пояснила Арус.

— Пустое! Оганес про это давно забыл. Ты сходи.

— Я не забыла. У меня хорошая память.

Арус быстро пошла по дороге, но Овсеп зашагал с ней рядом.

— Ты хорошую память береги на хорошие дела. Что за обиды в общем деле?

— У тебя все слишком просто, Овсеп!

— Я человек простой, — согласился Овсеп. — Плохого в этом не вижу.

— Это Афо опоила коня? — спросила Арус.

— Почему Афо? Такого купил. Не смотрел. Хозяин обратно баранов пригнал. Оганес не отдал лошадь.

— Оганесу все можно, — с горечью сказала Арус. — Ему все прощается.

— Ничего Оганесу не прощаем, — тихо сказал Овсеп. — Мы его строго любим.

— За что? — почти крикнула Арус. — За что ты его любишь?

— Оганес — хороший человек, — твердо сказал Овсеп.

— А-а! Хороший, плохой — что это значит? Ты хороший? А я какая?

— Хороший — значит хороший, плохой — плохой, — спокойно пояснил Овсеп. — На кого сердисься? Лишнее это. Был я моложе, сам немного сердился. А потом подумал: одно дело делаем. Если Оганес далеко видит, я буду под ноги смотреть...

— А я не хочу под ноги смотреть! — вызывающе сказала Арус.

Овсеп негромко засмеялся.

— Ты тоже вперед смотри, — разрешил он, останавливаясь у перекрестка, и добавил серьезно: — Значит, определи, какой толк этому коню дать. Люди очень интересуются. Приходят один, другой. Красивый, говорят. Было время — всякому радовались. Теперь красивого людям нужно. Что сделаешь? Это хорошо. Пусть будет красивый...

Арус распахнула дверь сарая и вывела коня во двор.

— О чем ты думал? Двое суток держал такую лошадь без движения! — строго выговаривала она Оганесу.

Конь обрадовался воздуху и солнцу. Широко раздувая ноздри чуть вздернутого носа, он переступал с места на место тонкими ногами, будто собираясь танцевать. Ребятишки, весь день караулившие у двора, осмелели и пробились в ворота. Сперва они, притихшие от восхищения, держались на расстоянии, но, быстро поняв, что их не собираются гнать, обступили коня и заверещали:

— Дядя Оганес, это конь Джалали?

— Дядя Оганес, я поеду на нем? Один раз, один раз, можно?

— Это племенной конь нашего колхоза, золотая масть, — важно отвечал Оганес. — Когда будем вас женить, у колхоза табун таких коней будет. За невестами поедете на золотых конях. Кто таким женихам откажет!

— Поведем коня к речке, — предложила Арус.

Они шли по селу, окруженные ребятишками.

Оганес взял коня под уздцы.

— Если к этому цвету и осанке прибавить выносливость наших горных лошадок... какой конь будет, а? Какое дело сделаем! Получится, Арус? Как ты думаешь?

— Будем добиваться, — отвечала Арус.

Полчаса назад она входила во двор Оганеса, сдерживая волнение. Сперва думала завернуть домой, переодеться, умыться. Потом на все махнула рукой, заторопилась и пошла как есть — в короткой юбке, помятой блузке, пыльная, растрепанная. У самого дома председателя она спохватилась, вынула из кармана пудреницу, но тут же раздумала: ни к чему.

В дом Арус не вошла. Она сразу направилась к сараю. Дверь была полуоткрыта. Оганес сидел возле коня на какой-то деревянной рухляди и что-то жевал. Он не сразу узнал Арус, а когда присмотрелся, вздохнул и поднялся,

вытирая руки о брезентовую куртку.

— Оганес, — сказала Арус, — все было не так... Ничего плохого я о тебе...  
Никогда! — и она замолчала.

Она могла заплакать, если бы он не сказал просто и очень искренне:

— Бывает, Арус, ошибается человек. Это ты хорошо сделала, что пришла. —  
И тут же попросил: — Посмотри коня. Хорош?

Будь этот конь самой последней клячей, он показался бы Арус прекрасным.  
Она осмотрела и выслушала его.

— Ездить ты на нем не будешь, — определила она, скрывая за деловитостью  
беспричинную радость. — На племя мы его пустим. Золотая масть — первый  
приз сельскохозяйственной выставки. Нравится это тебе, председатель?

Оганес улыбнулся. Он и сейчас улыбался, ведя лошадь по деревне. Он  
радовался тому, что люди останавливались и долго смотрели вслед...

— Завидный конь, — сказала матушка Шушан. — Только слух есть, что  
обманули нас. Болезнь у него, работать не может. Верно это, Оганес?

— Что мы его, для работы брали? — гордо сказал Оганес. — Мы его на племя  
брали. Нас легко не обманешь.

Когда они подошли к речке, солнце уже садилось. Широкие лучи, как  
развернутый сноп, вырывались из-за волнистой линии гор. Блестела река. По  
одну ее сторону лежало село, по другую тянулись поля — желтые там, где  
сняли хлеб, темно-зеленые там, где стоял табак.

Оганес и Арус стояли на берегу и смотрели, как золотой конь, вытянув шею,  
ловил губами быструю воду.

Ребята расположились у самой воды, влезли по колено в реку; более взрослые  
уже купались, поднимая фонтаны брызг.

С пригорка к реке бежал во всю прыть маленький мальчуган.

— Опоздал, — засмеялась Арус.

Но мальчишка добежал до Оганеса, сосредоточенно пыхтя, снял с головы  
шапку и достал из нее белый листок.

— Телеграмм! — нахмутив брови, сообщил он.

Оганес развернул телеграмму.

— Завтра утром геологи приедут запас воды в горах определять, — сказал он.

— Что в комнату геологам надо. Арус? Ты знаешь.

Арус беспричинно засмеялась.

— Я телеграмм нес, — сердито сказал мальчик. — Я на лошадь сяду.

Оганес подхватил мальчонку и посадил его на коня. Мальчик вцепился в пушистую гриву и блаженно замер.

Солнце уже совсем ушло за горы; розовый свет лежал на реке, на полях, на смуглых телах ребятишек, на золотом, пышногривом коне.

А Оганес вдруг почему-то увидел черные тени деревьев на желтой земле, услышал тяжелое дыхание бегущего скота и тягучий скрип арбы. Тревогой и страхом было охвачено все вокруг. А потом на лесную поляну вышел золотой конь и скрылся в лесу, перелетев через черный пенек.

Оганес тряхнул головой и улыбнулся.

— Держи его крепче, малыш! — крикнул он. — Крепче держи!.. Теперь мы его уже не упустим!..